

**РОБЕРТ
СТИВЕНСОН**

СЕНТ-ИВ

Роберт Льюис Стивенсон

Сент-Ив

«Public Domain»

1897

Стивенсон Р.

Сент-Ив / Р. Стивенсон — «Public Domain», 1897

«В мае 1813 г. я имел несчастье попасть во вражеские руки. Благодаря знанию английского языка на меня возложили тяжелую обязанность, и это было причиной моих бед. Хотя, мне кажется, солдат не может отказаться от даваемых ему поручений, не имеет права стараться отделаться от той или другой опасности, – быть повешенным за шпионство дело далеко не привлекательное, и я вздохнул с облегчением, когда сделался военнопленным. Меня поместили в Эдинбургскую крепость, которая стоит на крутой скале. Туда же заключили несколько сотен таких же несчастных пленников, как я, таких же рядовых солдат. Почти все они были людьми простыми и невежественными...»

© Стивенсон Р., 1897

© Public Domain, 1897

Содержание

Глава I	6
Глава II	14
Глава III	18
Глава IV	24
Глава V	29
Глава VI	34
Глава VII	40
Глава VIII	44
Глава IX	48
Глава X	55
Глава XI	61
Глава XII	67
Глава XIII	73
Глава XIV	79
Глава XV	83
Глава XVI	92
Глава XVII	97
Глава XVIII	102
Глава XIX	107
Глава XX	113
Глава XXI	119
Глава XXII	124
Глава XXIII	129
Глава XXIV	135
Глава XXV	140
Глава XXVI	144
Глава XXVII	149
Глава XXVIII	155
Глава XXIX	163
Глава XXX	170
Глава XXXI	176
Глава XXXII	182
Глава XXXIII	187
Глава XXXIV	193
Глава XXXV	198
Глава XXXVI	206

Роберт Стивенсон

Сент-Ив

St. Ives: Being The Adventures of a French Prisoner in England. 1897

* * *

Глава I

Ползущий Лев

В мае 1813 г. я имел несчастье попасть во вражеские руки. Благодаря знанию английского языка на меня возложили тяжелую обязанность, и это было причиной моих бед. Хотя, мне кажется, солдат не может отказаться от даваемых ему поручений, не имеет права стараться отделаться от той или другой опасности, – быть повешенным за шпионство дело далеко не привлекательное, и я вздохнул с облегчением, когда сделался военнопленным. Меня поместили в Эдинбургскую крепость, которая стоит на крутой скале. Туда же заключили несколько сотен таких же несчастных пленников, как я, таких же рядовых солдат. Почти все они были людьми простыми и невежественными.

Знание английского языка, вовлекшее меня в беду, теперь помогало мне переносить мое положение. Я пользовался множеством преимуществ. Нередко меня заставляли играть роль переводчика, передавать приказания или жалобы, и таким образом у меня завязывались сношения с дежурными офицерами, иногда шуточные, иногда почти дружеские. Один молодой лейтенант предложил мне играть с ним в шахматы; я был очень искусным игроком и, конечно, согласился; мой противник угощал меня превосходными сигарами. Майор, батальонный командир, брал у меня уроки французского языка, и так как я приходил к нему в то время, когда он завтракал, мой ученик бывал иногда так любезен, что предлагал мне закусить вместе с ним. Этот майор Чевеникс был резок как тамбур-мажор и себялюбив как англичанин, но он учился добросовестно и отличался крайней прямоотой и справедливостью. Мне и в ум не приходило, что его шомполообразная фигура и застывшее лицо станут преградой для исполнения моих самых задушевных желаний; что благодаря этому точному, исполнительному, холодному как лед и пропитанному духом солдатчины человеку, все мое счастье окажется на краю гибели. Он мне не нравился, однако я верил ему и, хотя это может показаться мелочью, всегда радовался, видя его табакерку с душистым бобом внутри.

Странно, до чего взрослые люди и опытные солдаты способны снова делаться детьми. Пробыв очень недолгое время в тюрьме (которая больше всего напоминает детскую), они погружаются в самые жалкие ребяческие интересы, и сладкий бисквит или щепотка табаку превращаются для них в предметы, о которых они мечтают, о которых вспоминают с удовольствием!

Мы, пленники, оставшиеся в замке, представляли собою довольно жалкое зрелище. Нашим офицерам предложили уехать из крепости на честное слово; они этим воспользовались и почти все поселились в предместьях города, в скромных семействах. Пленные офицеры пользовались свободой, стараясь насколько возможно спокойнее выслушивать постоянно приходившие дурные вести об императоре.

Благодаря случайности, я был единственным дворянином между оставшимися в замке рядовыми солдатами. Большая часть моих товарищей по заключению состояла из итальянцев, служивших в том полку, который так жестоко пострадал в Каталонии; остальные прежде занимались хлебопашеством, виноделием, рубкой леса и совершенно внезапно, не по доброй воле, покинули мирную жизнь для более благородного военного ремесла. Только одно занятие создавало для всех нас общий интерес: каждый пленник, обладавший некоторой ловкостью пальцев, делал на продажу различные мелкие безделушки и «articles de Paris». В замок ежедневно приходили англичане, чтобы радоваться при виде нашего унижения и отчаяния; впрочем, может быть, лучше предположить, что при взгляде на побежденных врагов они ликовали только от сознания своего торжества. Часть посетителей держалась с нами прилично, скромно, выказывая сочувствие к нам; часть поступала с нами самым оскорбительным образом: эти люди гла-

зели на нас, точно на обезьян, и, вероятно, считая, что французы какие-то дикари, старались обратить нас в свою грубую скверную религию; некоторые из приходивших к нам англичан придумывали иное мучение: рассказывали нам о неудачах французской армии. Однако, как все эти посетители ни были хороши, плохи или безразличны, одним способом они, во всяком случае, помогали нам легче переносить несносную тяжесть их визитов: почти все приходившие во двор замка покупали наши грубые изделия. Это заставляло пленников стараться, пробуждало в нас чувство соревнования. Одни из моих товарищей были ловки и, благодаря французской способности, могли предлагать покупателям вещицы, бывшие настоящими чудесами изящества и искусства; другие отличались очень привлекательной наружностью; в этом случае покупатели, по-видимому, находили, что красивые черты заменяли достоинства товара; в особенности молодость (пробуждавшая в наших посетителях чувство жалости) была очень доходной статьей. Третьи знали английский язык и благодаря этому были в состоянии особенно хорошо восхвалять свой товар. Первым из этих качеств я не мог похвастаться: мои пальцы отличались страшной неповоротливостью; другими я обладал в известной мере и, находя в нашей коммерции большое удовольствие, пользовался всеми выгодами своего положения. Я никогда не презирал уменя обходиться с людьми, этого искусства, которым хвалится наша нация, говоря, что все французы в совершенстве владеют им. Для каждого рода покупателей у меня был особый язык и манера обращения; я даже до известной степени менял мою внешность в зависимости от того, с кем говорил, и такие перемены не составляли для меня ни малейшего затруднения. Я не пропускал случая польстить посетителю; если это была женщина, я восхищался лично ею; если же со мной говорил мужчина, я упоминал о величии его страны, выказавшемся во время войны. Когда же мои комплименты не попадали в цель, я умел прикрыть свое отступление милой шуткой; за это меня нередко называли «чудаком» или «смешным малым». Таким образом (хотя я был очень неискусным мастером) мне удавалось успешно сбывать мои изделия и получать деньги для покупки тех пустиков, которыми дорожат дети и пленники.

Я описываю не особенно-таки меланхоличного человека. Действительно, я не был склонен к унынию и, сравнивая свое положение с положением моих товарищей, мог быть довольным. Во-первых, я не имел семьи, был бобылем и холостяком; ни жена, ни дети не ожидали меня во Франции. Во-вторых, я не мог забыть тех ощущений, которые пережил в ту минуту, когда попался в плен; ведь, несмотря на то, что военная тюрьма далеко не райский сад, она все же привлекательнее виселицы! В-третьих, я едва смею сознаться в этом, но место нашего заключения до известной степени нравилось мне: это была типичная средневековая крепость, стоявшая на возвышении; из нее открывался вид не только на море, горы и долину, но также и на улицы города, которые днем чернели от толпы народа, а ночью сияли блеском фонарей. Наконец, хотя я и страдал от различных стеснений, от скудости выдававшейся нам пищи, но при этом вспоминал, что и в Испании мне случалось есть не лучше, да вдобавок еще делать переходы миль в двенадцать или около того. Больше всего меня смущал костюм, который мы были обязаны носить. В Англии существует ужасное обыкновение всех, кого можно, наряжать в безобразные формы; ими клеймят не только преступников, но и военнопленных и даже детей – учеников благотворительных школ. Вероятно, один из злых гениев считал своей наиудачнейшей иронической выдумкой ту одежду, которую мы были вынуждены носить: куртку, жилет и панталоны желтого цвета, оттенка серы или горчицы, и бумажную рубашку с синими и белыми полосами. Это была заметная одежда, дешевая одежда, наряд, вызывавший смех. Мы, старые солдаты, привыкшие к оружию, многие, отмеченные благородными шрамами, благодаря этому наряду выставлялись на потеху публики, точно толпа ярмарочных, жалких гаеров. Скала, на которой высилась наша тюрьма, в прежние времена, называлась «Раскрашенной горой» (мне впоследствии сказали об этом) – ну, так теперь, действительно, она была окрашена в желтый цвет нашими костюмами; а так как нас стерегли солдаты в красном, все вместе мы представляли живую картину ада. Я много раз осматривал моих собратьев-пленников, и во мне подни-

малась злоба, а слезы были готовы брызнуть из глаз при виде их шутовских нарядов. Как я уже говорил, моими товарищами по заключению были по большей части крестьяне, немного изменившиеся в лучшую сторону под влиянием экзерцирмейстера, но тем не менее неуклюжие, олуховатые люди, которые могли щегольнуть только казарменным изяществом речи и обращения. Поистине нигде наша армия не являлась в более жалком виде, чем в Эдинбургском замке. Часто я представлял себя со стороны и мучительно краснел. Мне казалось, что моя более благородная осанка и хорошие манеры могли только ярче оттенять всю оскорбительность этого гаерского наряда. И я думал о времени, когда носил грубый, но почетный сюртук солдата, вспоминал и о более отдаленных днях, о том, сколько очарования и наслаждения окружало мое детство... Но я не должен дважды вызывать этих воспоминаний. Я буду говорить о них дальше; теперь же мне предстоит иная задача. Коварство британского правительства особенно ярко выражалось в том обстоятельстве, что нас брили всего два раза в неделю. Что же больше этого могло вызвать раздражение и негодование в человеке, всю жизнь любившем быть выбритым как следует? Бритье производилось по понедельникам и четвергам. Возьмите для примера четверг и вообразите себе, в каком виде я должен был выглядеть к воскресному вечеру. А в субботу, когда наши щеки имели тоже достаточно ужасный вид, к нам являлось особенно много посетителей.

В замок приходили самые различные покупатели и покупательницы – худощавые и полные, безобразные и дивно красивые.

Если бы люди сознавали могущество красоты, они, конечно, молились бы только одной Венере, и я нахожу, что на красивую женщину так приятно смотреть, что, право, стоило бы платить за это удовольствие. Вообще наши посетительницы не могли похвалиться особенной красотой, а между тем, забившись в уголок и стыдясь своего ужасного вида, я время от времени испытывал редкое, тонкое, духовное наслаждение, любуясь глазами, которых мне не суждено было увидеть снова, да которых я даже и не стремился опять увидеть. Взгляд на цветок в поле, на звезду в небе восхищает нас; конечно, еще большее наслаждение должно наполнять нашу душу при виде восхитительного существа, явившегося на свет, чтобы рождать и воспитывать, радовать и сводить с ума род человеческий.

В особенности хороша была одна молоденькая девушка лет восемнадцати-девятнадцати; она была высока, держалась красиво, головку ее украшала густая масса волос, в которых на солнце блестели золотистые нити. Она часто приходила к нам, и я каждый раз угадывал присутствие красавицы, как только она появлялась на нашем дворе. На ее лице лежало выражение ангельской невинности и вместе с тем веселости. Походка девушки вызывала в уме мысль о грации Дианы; всякое ее движение было исполнено свободы и благородства.

Однажды дул сильный восточный ветер. Знамя развевалось на флагштоке; в городе, там, внизу, под нашими ногами дым, выходящий из труб, качался во все стороны, образуя самые разнообразные, прихотливые изгибы. Мы видели, что корабли, дрейфовавшие в гавани, повернулись к ветру. Я раздумывал о том, какой стоит скверный день. Вдруг появилась она. Ветер играл ее волосами, и солнце изменяло их оттенки; платье обрисовывало фигуру красавицы со скульптурной точностью; концы ее шали развязались, разлетелись в разные стороны, поднялись к лицу, но она с поразительной ловкостью снова поймала их. Видали ли вы, как в ненастный день, когда дует порывистый ветер, тихий пруд внезапно начинает искриться и блестеть, делается чем-то живым? Так и лицо этой молодой девушки внезапно оживилось, покраснело. При виде того, как она стояла, немного склонив стан, полуоткрыв губы, с божественным смущением в глазах, я готов был ей заплодировать, провозгласить ее истинной, достойной дочерью ветра.

Не знаю почему (может быть, вследствие того, что это был четверг и я только что побрился), но я решил в этот же день привлечь ее внимание. Молодая девушка подходила к тому месту, где я сидел со своим товаром. Вдруг она уронила свой платок; он упал на землю, и

через мгновение ветер подхватил этот легкий кусочек кембрика и принес его ко мне. Не думая о горчичном цвете моего платья, я вскочил и, забыв, что я рядовой, который обязан отдавать честь по-военному, отвесил красавице низкий поклон.

– Милостивая государыня, – сказал я, – вот ваш платок; ветер принес его ко мне.

При этом я пристально взглянул девушке в глаза.

– Благодарю вас, – ответила она.

– Его принес ко мне ветер, – продолжал я, – разве мне нельзя принять это за предзнаменование? У вас в Англии существует пословица: плох тот ветер, который никому не принесет счастья.

Она улыбнулась и произнесла:

– Услуга за услугу. Покажите мне, что у вас есть.

Я провел молодую девушку к тому месту, где были разложены мои вещицы под защитой пушки.

– Увы, мадемуазель, – сказал я, – я не очень хороший ремесленник. Вот это должно было быть домом, и вы видите, что его трубы сильно покосились. Если вы будете очень снисходительны, то назовете шкатулкой вон ту вещь, но посмотрите, куда скользнул мой резец! Боюсь, что вы, пересмотрев все мои изделия, в каждом из них заметите по недостатку. Мне следовало бы повесить вывеску: «Продажа неудачных произведений». У меня не лавка, а юмористический музей.

Я, улыбаясь, оглядел все мои вещи, потом, став серьезен, прибавил:

– Разве не странно, что взрослый человек, солдат, занимается подобными пустяками, разве не странно, что человек с грустью на сердце может делать такие смешные безделушки?

В эту минуту раздался неприятный голос, который позвал мою собеседницу, назвав ее Флорой. Молодая девушка наскоро купила несколько вещей и присоединилась к остальному обществу, сопровождавшему ее.

Она снова пришла через несколько дней. Но я прежде всего должен вам объяснить, почему красавица Флора так часто посещала нас. Ее тетка принадлежала к числу тех ужасных английских старых дев, о которых говорилось так много. Делать было старухе нечего, и она знала несколько французских слов, а потому, по ее выражению, заинтересовалась пленными французами. Эта большая, суетливая, смелая старуха расхаживала по нашему рынку с нестерпимо покровительственным и снисходительным видом. Платила она, действительно, очень щедро, но при этом так противно рассматривала нас в лорнет, таким неприятным образом разыгрывала роль чичероне среди своих спутников, что это избавляло нас от обязанности чувствовать к ней благодарность. За старухой обыкновенно следовал целый хвост, состоявший из тяжеловесных почтительных стариков, или тупых хихикавших мисс. Для тех и для других тетка красавицы, по-видимому, казалась оракулом.

– Вот этот может премило резать по дереву. Не правда ли, густые баки придают ему ужасно смешной вид? – говаривала старуха. – А этот, – прибавляла она, указывая на меня своим лорнетом, – уверяю вас, страшный чудак.

Конечно, в такие минуты «чудак» скрежетал зубами. Старуха обыкновенно останавливалась среди нас и обращалась к нам на языке, бывшем, по ее понятиям, французским:

– *Bienne hommes, sa va bienne?* Однажды я ответил ей на том же наречии:

– *Bienne femme, sa va couci-couci tout d'même, la bourgeoisie!*

Раздался не особенно вежливый хохот. Когда же мы умолкли, старуха произнесла с каким-то торжеством:

– Я ведь предупреждала вас, что он чудак.

¹ Уродуя французский язык, старуха спрашивает: – «Как живае, добрые люди?» – Сент-Ив, в тон ей, отвечает: «Себе, живем помаленьку, тетка».

Не нужно и говорить, что все это происходило раньше, чем я заметил племянницу старухи.

В тот день, о котором я хочу рассказать, тетка пришла с особенно многочисленным обществом, говорила особенно много и была особенно бестактна. Я стоял, не поднимая ресниц, но тем не менее глаза мои все время смотрели в одну сторону – и совершенно напрасно. Тетка расхаживала по двору, показывала нас своим спутникам, точно посаженных в клетки обезьян; Флора же держалась вдалеке, на противоположном конце двора; она не смешивалась с толпой и, наконец, ушла, даже не кивнув мне головой. Я очень пристально смотрел на нее, но не мог бы сказать, взглянула ли она на меня хоть раз или нет. Мое сердце переполнилось горечью и отчаянием; я силился изгнать из воображения ненавистный образ молодой девушки, чувствуя, что навеки покончил с ней; я безумно хохотал над собой при мысли о моем невозможном желании понравиться ей. Ночью я не мог сомкнуть глаз, ворочался и мысленно любовался прелестным образом этой девушки, в то же время проклиная ее бессердечие. И она, и все остальные женщины казались мне такими пустыми, изменными. Будь человек ангелом, Аполлоном, но надень он платье горчичного цвета – они не заметят его достоинств. А чем я был для нее? – пленником, рабом, мишенью для насмешек ее соотечественников, чем-то ничтожным и презренным. Я решил воспользоваться данным мне уроком: ни одна из гордых дочерей моих врагов не будет более иметь возможности посмеяться надо мной, и никто не посмеет сказать, что я когда-нибудь любовался этой бездушной Флорой. Вы не можете себе представить, какое независимое решительное настроение переполняло меня; еще ничья грудь не была окована более непроницаемой броней патриотизма. Перед тем, как заснуть, я вспомнил все низости Британии и в подобающих выражениях высказал их Флоре.

На следующий день я, по обыкновению, сидел на своем месте и вдруг почувствовал, что подле меня кто-то есть. Это была она! В первую секунду я окаменел от неожиданности и смущения; в следующую – принятое мной накануне решение заставило меня не изменить позы. Флора стояла, немного наклонившись надо мной, точно охваченная чувством жалости; она казалась смущенной и некоторое время не произносила ни слова; наконец молодая девушка тихим голосом спросила, очень ли я страдаю в неволе и могу ли жаловаться на суровость обращения тюремщиков.

– Мадемуазель, – ответил я, – солдаты Наполеона не умеют жаловаться.

Она вздохнула.

– Во всяком случае, вы, конечно, тоскуете о Франции, – проговорила Флора и, сказав французское название моей страны, слегка покраснела; произнесла Флора это слово с легким, милым иностранным акцентом.

– Что мне сказать в ответ? – проговорил я. – Если бы вас увезли из этой страны, которая, по-видимому, вполне пригодна для вас, если бы вы были принуждены покинуть Англию с ее дождями и ветрами, которые идут к вам как украшение, жалели бы вы о вашей родине? Как вам кажется? Все мы неминуемо тоскуем! Сын тоскует о матери, человек о родине! Это врожденные, естественные чувства.

– У вас есть мать? – спросила Флора.

– На небесах! – ответил я. – И мать, и отец ушли на небо по той же дороге, как и многие другие прекрасные, честные люди. Они последовали на эшафот за своей королевой. Вы видите, меня следует меньше жалеть, чем других пленников, – продолжал я. – Дома меня никто не ждет, я совершенно одинок на свете. Совсем другое дело вон тот бедняк в войлочной шляпе; он спит рядом со мной, и я слышу, как ночью он рыдает. У него нежная душа, полная хороших, тонких чувств; ночью, в темноте, иногда даже днем, отведя меня в сторонку, он начинает с горем говорить мне о своей матери и милой возлюбленной. И знаете ли вы, что заставило его взять меня в свои поверенные?

Флора взглянула на меня, ее губки полуоткрылись, но она ничего не сказала. Взгляд девушки обжег меня; по всему моему существу разлилась жизненная теплота. Я продолжал:

– Потому, что однажды, во время военного перехода, я видел колокольню церкви его села. Конечно, это довольно странная причина для симпатии, но она относится к одной категории с теми человеческими инстинктами, которые придают жизни прелесть, делают дорогами нам людей и места... те места, от которых я отрезан.

Я оперся подбородком о колено и опустил глаза. До сих пор я разговаривал с Флорой, желая удержать ее подле себя; теперь же я ничего не имел против того, чтобы она ушла. Нужно очень осторожно обращаться с произведенным впечатлением, а в данном случае перейти за необходимую границу было крайне легко. Флора сделала над собой усилие и произнесла:

– Я возьму вот эту вещицу. – Положив мне в руку монеты в пять шиллингов и пять пенсов, девушка ушла так быстро, что я не успел поблагодарить ее.

Я отошел к укреплениям и стал за пушку. Красота и выразительность глаз Флоры, слезы, дрожавшие в них, выражение сострадания в ее голосе и какая-то дикая грация, придававшая особую прелесть ее свободным движениям, – все вместе приковывало мое воображение к ее прелестному образу, зажигало в сердце огонь. Что она сказала? Ничего особенно значительного, но ее глаза встретились с моими, и тот огонь, который зажгли они, теперь пылал в моих жилах. Я любил ее и надеялся привлечь ее внимание. Мне дважды случилось говорить с нею, и оба раза я говорил удачно, успев вызвать ее сочувствие. Я нашел такие слова, которые она, конечно, запомнила, которые ночью будут звучать у нее в ушах. Что за беда, что я плохо побрит, что на мне карикатурное одеяние? Я все еще человек, мужчина, и сумел запечатлеть свой образ в ее душе. Да, я был мужчиной и с трепетом думал о том, что она женщина! Трудно потушить любовь, а любовь, составляющая закон природы, была на моей стороне. Я закрыл глаза, и вот на темном фоне вырисовывался ее образ, но еще более прекрасный, чем в действительности.

«О, – подумал я, – ты тоже унесла с собой мой образ; ты тоже будешь смотреть на него так же, как я, украшая его своим воображением. В темноте ночи, днем на улицах, ты будешь видеть мое лицо, слышать мой голос, шепчущий тебе слова любви, захватывающий твое застенчивое пугливое сердечко. Да, твое сердце застенчиво и пугливо, но оно занято. Я занял его. Пусть же время делает свое дело, пусть оно рисует тебе мой образ, все живее, все жизненнее, все более и более лукавыми красками»... Вдруг я мысленно ясно увидел себя и горько расхохотался.

– Нечего сказать, очень вероятно, чтобы нищий рядовой, пленник в шутовском наряде заинтересовал прелестную девушку!

Я не пришел в уныние, но решил тонко и осторожно вести мою игру: являться Флоре или в способном ее тронуть виде, или говоря с ней легким, шутовым тоном; никогда не пугать и не изумлять ее, скрывать мою тайну как позор, стараясь в то же время разузнать ее историю (если станет ясно, что у нее есть история); действовать сообразно с проявляемой ею симпатией, не спеша, но и не медля. Тюрьма отнимала у меня свободу, заставляла оставаться в пассивной роли. Я не мог бывать у Флоры, поэтому мне следовало при каждом свидании с молодой девушкой окружать ее сетью очарования, чтобы ей, уходя, хотелось снова вернуться ко мне. Я должен был придумывать умные и тонкие средства нравиться ей. В последний раз я вел себя отлично; после нашего разговора Флора не могла не прийти снова. Для следующего свидания с ней я придумал нечто другое. Если пленнику многое мешает успешно вести свои любовные дела, его положение все же имеет одну выгоду, а именно: ничто не развлекает его, и он может все время думать о своей любви, изобретая различные способы выразить ее. Несколько дней я занимался тем, что усердно старался вырезать из дерева ни более ни менее как эмблему Шотландии – ползущего льва. На это дело я употребил все мое искусство. Когда лев был вполне закончен (право, я сожалел, что вырезал его!), я прибавил на пьедестале следующее посвящение:

A la belle Flora le prisonnier reconnaissant A. d. St. Y. d. K.

Прелестной Флоре признательный пленник. А-де-С.-И.-де-К.

Я вложил все сердце в мое дело, стараясь вырезать буквы как можно лучше. Мне казалось едва ли возможным, чтобы кто-нибудь равнодушно посмотрел на то, что было создано с таким увлечением, с таким жаром; инициалы должны были пробудить в Флоре мысль о благородстве моего происхождения. Мне казалось, что лучше, если она догадается об этом. Я чувствовал, что некоторая таинственность могла послужить мне на пользу. Несоответствие между моим положением и манерами, способом выражаться и костюмом, вместе с вырезанными буквами, думалось мне, привлечет ее внимание, заставит заинтересоваться мною, займет ее сердце.

Работа моя была окончена. Мне оставалось только ждать и надеяться. Подобное поведение совсем не в моем характере. В любви и войне я всегда любил наступательную, энергичную тактику. Я прожил эти дни, как в чистилище, и в конце их любил Флору гораздо сильнее, чем прежде. Ведь любовь, как хлеб, продукт переработки. Временами меня охватывал панический страх: вдруг она не придет больше? Хватит ли у меня силы переживать ничем не наполненные дни? Неужели я буду в состоянии существовать, как до встречи с ней, находя единственный интерес жизни в уроках майору, в игре в шахматы с лейтенантом, в продаже на два пенни или в прибавке к обыкновенной порции пищи на полпенни?

Дни проходили за днями, недели за неделями. Тогда я не имел мужества считать время, а теперь мне даже страшно вспоминать об этом промежутке моей жизни в плену; однако, наконец, Флора пришла. Она продвигалась ко мне с мальчиком приблизительно ее лет; я сразу догадался, что они брат и сестра.

Я встал и молча поклонился.

– Вот мой брат, мистер Рональд Гилькрист, – проговорила девушка. – Я рассказала ему о ваших страданиях, он очень сочувствует вам.

– Я не имел права надеяться на такую доброту. Но между людьми образованными подобные чувства естественны. Встретившись с вашим братом на поле сражения, мы дрались бы как тигры, но он видит, что я обезоружен, беспомощен, и забывает свою вражду (при этом, как я и ожидал, юный безбородый воитель покраснел до ушей от удовольствия).

Я продолжал:

– Да, много ваших соотечественников также томится в моей стране, и я могу только надеяться, что какая-либо благородная француженка приносит им несравненное утешение. Вы давали мне милостыню и нечто большее – надежду. Долгое время я не видел вас, но не забыл вашей доброты. Позвольте мне показать вам, что я, по крайней мере, сделал слабую попытку чем-нибудь отблагодарить вас. Соболаговолите принять от пленника маленькую безделушку.

С этими словами я подал ей моего льва; она взяла его, немного смущенным взглядом посмотрела на него, потом, увидав надпись, вскрикнула:

– Откуда вы знаете мое имя?

– Не трудно угадать имя, если оно идет к человеку, который его носит, – проговорил я, кланяясь. – Однако в данном случае в дело не замешано волшебство. В тот день, когда я поднял ваш платок, какая-то дама позвала вас, и я сейчас же запомнил ваше очаровательное имя.

– Это прелестная вещь. Всю жизнь я буду гордиться надписью, сделанной на ней. Ну, Рональд, мы пойдем.

Флора поклонилась мне, как женщины кланяются равным себе, и пошла прочь с покрасневшими щеками.

Душу мою переполняла радость; моя невинная хитрость удалась. Флора взяла мой подарок, даже не подумав заплатить за него. Вряд ли она могла успокоиться, не отблагодарив меня за него какой-нибудь вещицей! Я не был новичком в любви, а потому знал, что, кроме всего, теперь при дворе моей королевы у меня был посланник. Может быть, я плохо вырезал льва, но мои руки делали, держали его; мой нож или, вернее, гвоздь наметил буквы надписи. Я знал,

что как ни были просты слова, начертанные на пьедестале, они теперь твердили девушке, что я благодарен ей и нашел ее красивой.

Мальчик смотрел на меня с выражением лица дурачка и покраснел, услышав мой комплимент; я заметил также, что на его лице лежал отпечаток недоверия ко мне, однако он держался с мальчишеским достоинством, и я не мог отнестись к нему без симпатии. Что же касается того побуждения, которое заставило Флору привести брата с собой и представить его мне, я был от него в восторге. Мне казалось оно необычайно умным, тонким и более нежным, нежели ласка. Поступок Флоры говорил совершенно ясно: «Я с вами не знакома и не могу вас знать; вот мой брат, вы можете быть знакомы с ним; я указала вам дорогу, идите по ней».

Глава II

Ножницы

Я все еще был погружен в эти мысли, когда раздался звук колокола, дававший сигнал посетителям уходить прочь. Когда наш маленький рынок закрывался, нас приглашали получать порции отпускаяшейся нам еды; съесть обед мы могли в том месте, где желали.

Как я уже говорил, поведение многих из посетителей рынка бывало иногда невыносимо оскорбительно; очень возможно, что они сами не понимали, как обижали нас; так зрители, стоящие перед клеткой несчастного и благородного зверя, без намерения оскорбляют его всяческими способами. Почти все мои товарищи по заключению имели право чувствовать себя оскорбленными. Старые усачи крестьянского происхождения с отрочества воспитывались в рядах победоносной армии, и большинство солдат Наполеона плохо мирилось с переменой своего положения. Между пленниками был один страшно грубый, неотесанный человек, по имени Гогела; его не научили ничему, кроме военной дисциплины, и только благодаря отчаянной храбрости он занял место, в других отношениях не годившееся для него, а именно место квартирмейстера двадцать второго пограничного полка. Насколько невежественный, грубый человек может быть хорошим воином, он был хорошим солдатом; на груди Гогелы красовался крест, вполне заслуженный им, но во всех случаях, выходявших за пределы его прямой обязанности, он оказывался крикливым, грубым, невежественным драчуном, ревностным посетителем питейного заведения самого плохого разбора. Я был дворянином по происхождению, образованным человеком; он же ненавидел такой тип людей и совершенно не понимал его; поэтому я не пользовался его любовью. Появление посетителей на нашем дворе всегда страшно раздражало его, и он спешил сорвать свою злобу на первом встречном; дурное расположение духа Гогелы слишком часто вымещалось на мне.

Так было и теперь. Получив свою порцию, я отошел в угол двора и вдруг заметил, что Гогела направляется ко мне. На его лице была противная улыбка; несколько молодых глупцов, слывших шутниками, шли за ним, по-видимому, ожидая чего-то; я понял, что он снова избрал меня предметом какой-то нестерпимой шутки. Гогела сел рядом со мной, разложил свое кушанье, насмешливо выпил за мое здоровье пива из порционной кружечки, и издевательство началось. Невозможно было бы напечатать, что говорил Гогела; его почитатели, полагавшие, что они должны превзойти даже его, буквально покатывались со смеху. В первое мгновение мне показалось, что я умру. Я не предполагал, чтобы этот негодяй был так наблюдателен. Видно, ненависть придает остроту зрению и слуху. Гогела знал, сколько раз мы виделись с Флорой, знал ее имя. Мало-помалу я овладел собой, но во мне горела такая злоба, что я сам удивлялся силе ее.

– Скоро вы закончите? – спросил я. – Потому что мне самому нужно сказать вам два слова.

– Прекрасно! – проговорил Гогела. – Внимание, маркиз Карабас всходит на трибуну!

– Слушайте же, – произнес я. – Мне нужно заявить вам, что я дворянин. Вы не понимаете, что это значит. Да? Ну, так я объясню вам. Дворянин – это пресмешной зверь, который происходит от целого ряда других зверей, называемых предками. Как жабы и другие гады, зверь этот обладает тем, что он называет чувством. Я дворянин и потому не желаю пачкать руки о такой ком грязи, как вы... Сидите и молчите, Филипп Гогела, сидите и молчите, или я буду иметь право сказать, что вы трус, на нас смотрят часовые. За ваше здоровье! – сказал я и выпил пиво. – Вы говорили дурно о молоденькой девушке, почти ребенке, о существе, которое могло бы быть вашей дочерью! Она приходила сюда, чтобы раздавать милостыню нам, нищим. Если бы император (я отдал честь) слышал, как вы говорили, он сорвал бы крест с вашей грубой

грудь. Я не могу сделать этого, я не могу взять то, что было пожаловано его величеством, но я вам обещаю одно, Гогела, а именно, что сегодня ночью вы умрете!

Я столько выносил уже от него, что, мне кажется, он предполагал, будто моему терпению нет предела. С удовольствием думаю, что некоторые из моих выражений проняли его. Кроме того, следует заметить, что этот грубый человек был настоящим героем; он любил битвы, любил борьбу. Что бы там ни было, но Гогела скоро овладел собой и, надо отдать ему справедливость, с большим достоинством отнесся к моему вызову.

– Клянусь рогами дьявола доставить вам прекрасный случай для этого! – проговорил Гогела в ответ на мои слова и снова выпил за мое здоровье. Опять я по совести нашел, что он держал себя прекрасно.

Известие о том, что мы будем драться, облетело всех пленников с поразительной быстротой. Все лица оживились, приняв выражение, которое обыкновенно является в чертах людей, присутствующих на лошадиных скачках. Чтобы понять и даже, может быть, извинить удовольствие наших товарищей, нужно отведать деятельной военной жизни, а потом некоторое время проскучать в тюремном заключении. Мы с Гогелой спали в одном и том же сарае, и это значительно упростило дело; свидетелей мы выбрали тоже из товарищей, спавших вместе с нами; комитет свидетелей назначил своим председателем вахмистра четвертого драгунского полка, ветерана армии, превосходного солдата и хорошего человека. Он очень серьезно отнесся к своей обязанности, побывал у меня и у Гогелы и передал комитету наши замечания. Я говорил с ним с должной твердостью; рассказал, как Гогела отзывался о молодой девушке, которая много раз подавала мне милостыню; напомнил ему, что солдаты Наполеона впервые протягивали руки, предлагая купить у них из милости разные безделушки; сказал я ему также, что все мы видали бродяг, выманивавших у проезжих медные монетки и потом осыпавших своих благодетелей за глаза бранью и проклятиями.

– Но, – прибавил я, – мне кажется, что никто из нас не упадет так низко. Как француз и солдат, я считаю своим долгом чувствовать благодарность к этому юному созданию, считаю своей обязанностью защитить добрую славу молодой девушки и поддержать репутацию армии. Вы старше меня, вы мой начальник, скажите мне, разве я не прав?

У старика были спокойные манеры. Он похлопал меня по плечу и сказал: «C'est bien, mon enfant»², потом вернулся в комитет.

Гогела оказался тоже очень неуступчивым.

– Я не люблю извинений и не люблю людей, которые извиняются, – просто сказал он в ответ.

Оставалось лишь позаботиться о всех подробностях дуэли. Относительно времени и места у нас не было выбора; мы могли драться только ночью, в темноте и в незагроможденной открытой части нашего сарая. Затруднительнее казался вопрос об оружии. Правда, у нас было много инструментов, которые мы употребляли для резьбы, но ни один из них не годился для поединка между цивилизованными людьми и, так как они отличались большим разнообразием, то уравновесить шансы противников в этом случае было бы мудрено! Наконец мы развили ножницы; где-то в углу нашли пару крепких, гибких палок и посредством просмоленной бечевки прикрепили к каждой из них по лезвию. Я не знаю, откуда взялась бечевка, смолу же мы собрали со свежих деревянных подпорок, поддерживавших крышу навеса. Странно было держать в руке оружие такое же легкое, как обыкновенный хлыст, оружие, казавшееся не более опасным, чем хлыст.

Наши товарищи поклялись не вмешиваться в дуэль; все они, а также и мы с Гогелой, дали священное слово, что (если дело примет серьезный оборот) никто из нас не выдаст имени

² хорошо, дитя мое.

оставшегося в живых противника. Приготовления окончились; нам оставалось лишь ждать решительной минуты.

Настал вечер. Когда первый сторожевой патруль миновал нас и отправился осматривать укрепления, на небе, покрытом облаками, не сияло ни одной звезды. Не смотря на шум, доносившийся из города, мы слышали возгласы часовых и по ним могли следить за караульным отрядом. Наконец старик Лекло, вахмистр, поставил нас с Гогелой на места, скрестил наши палки, потом отошел в сторону. Мы боялись, что кровавые пятна на платье выдадут нас, а потому сняли с себя решительно все, кроме башмаков. Ночной холод обнимал обнаженное тело, точно мокрая пелена. Гогела фехтовал лучше, чем я, он был выше меня, так как отличался почти исполинским ростом, сила его соответствовала телосложению. Среди полной тьмы я не мог рассмотреть даже глаз моего противника. Наши прутья были так тонки и гибки, что мне казалось, было бы неудобно отпарировать удары. Поэтому я решил воспользоваться своим невыгодным положением и сразу бросился наземь, в то же время нанеся моей импровизированной рапирой сильный удар Гогеле. Таким образом я ставил на карту жизнь: не ранив смертельно противника, я в этом случае остался бы без малейшей защиты и, что было еще серьезнее, бросившись вниз, рисковал попасть лицом на лезвие Гогелы, причем наши два движения встретились бы и его лезвие врезалось бы мне в лицо с двойной силой; между тем, говоря правду, я не совсем равнодушно относился к целостности моего лица и глаз.

– Allez!³ – скомандовал Лекло.

Мы бросились друг на друга в одно и то же мгновение с одинаковой яростью и, если бы не моя уловка, мы оба, конечно, были бы проколоты насквозь. Теперь же удар Гогелы скользнул по моему плечу; мое же лезвие ножниц вонзилось в его тело ниже пояса и нанесло ему смертельную рану. Громадный человек упал и так ушиб меня при своем падении, что я потерял сознание.

Я пришел в себя, лежа на моем обычном месте; в темноте вырисовывались контуры множества голов людей, теснившихся вокруг меня. Я сел:

– Что случилось? – вскрикнул я.

– Молчите, – проговорил вахмистр. – Слава Богу, все хорошо. – Он взял меня за руку; в его голосе дрожали слезы. – Вы только оцарапаны, мой милый. У вас есть папа, который заботится о вас; мы перевязали рану на вашем плече, одели вас, и все будет хорошо.

При этих словах я начал припоминать случившееся.

– А Гогела? – задыхаясь проговорил я.

– Его невозможно тронуть с места. Он не выносит ни малейшего прикосновения; Гогела ранен в живот, это плохое дело.

Мысль о том, что я убил человека – убил половинкой ножниц – заставила меня содрогнуться. Я уверен, что мог бы застрелить с полдюжины людей, или убить их саблей, штыком, еще каким-либо иным общепринятым оружием, не почувствовав такого раскаяния. Казалось, все увеличивало это ужасное чувство: и темнота, в которой мы дрались, и наша нагота, даже запах смолы, пропитывавшей бечевки! Я бросился к моему сраженному противнику, упал на колени подле него и мог только с горьким рыданием произнести его имя.

Он попросил меня успокоиться и прибавил:

– Вы освободили меня, товарищ; sans rancune⁴.

Мой ужас и отчаяние удвоились в эту минуту. Мы два француза, вдали от родины, в плену, вышли на поединок совершенно неправильный и дрались точно дикие звери... Передо мной лежал человек, бывший всю жизнь грубым, жестоким созданием и умирал на чужбине

³ Начинайте.

⁴ Не будем помнить зла.

вследствие этого преступного поединка, ожидая смерти почти с благородством Баярда. Я просил позвать стражу, привести доктора, настаивал на этом.

– Может быть, его еще спасут! – кричал я.

Вахмистр напомнил нам о нашем обязательстве молчать.

– Если бы вы были ранены, вам бы пришлось лежать здесь до прихода патруля. Ранен Гогела – значит, ему следует терпеть. Пойдемте, дитя мое, пора нам. – Я все еще противился. Тогда Лекло сказал: – Шамдивер, это же слабость! Вы огорчаете меня.

– Ну, в постели! – сказал Гогела и назвал нас одним из своих обычных веселых и грубых эпитетов.

Наша партия лежала в темноте, все притворялись спящими; в действительности же, конечно, сон был далек от пленников, помещавшихся в сарае «Б». Стоял еще не поздний час ночи; снизу из города доносился грохот колес, шум шагов, голоса. Пелена облаков разорвалась; в промежутке неба, видневшемся между застрехой навеса и неправильной линией контура укреплений, появилось множество звезд. Близ нас лежал Гогела и иногда не мог удержаться от стога.

Мы издали услышали шаги патруля; было слышно, как он медленно подходил к нам. Наконец сторожевой отряд повернул за угол; теперь мы могли его видеть, шла двойная линия людей; капрал нес в руке фонарь, он светил им в разные стороны, чтобы иметь возможность осмотреть все дальние углы дворики и сараев.

– Э! – крикнул капрал, очутившись подле Гогелы.

Капрал остановился. В каждом из нас замерло сердце.

– Какой черт сделал это! – вскрикнул он и громовым голосом позвал стражу.

В то же мгновение все мы вскочили. Перед сараем столпились еще другие солдаты с фонарями; вперед протолкался офицер. Посреди собравшегося множества людей лежало большое, нагое, окровавленное тело. Кто-то, лишь только Гогела был ранен, накинул на него свое одеяло, но несчастный испытывал такие муки, что почти совершенно сбросил его с себя.

– Это убийство, – крикнул офицер. – Эй вы, дикие звери, вы услышите завтра кое-что об этом!

Когда Гогелу подняли и положили на носилки, он крикнул нам на прощание несколько веселых слов.

Глава III

В рассказе появляется майор Чевеникс, а Гогела исчезает с его страниц

О выздоровлении Гогелы даже не было речи; поэтому начальство, не теряя времени, допросило раненого. Он дал только одно показание: ему надоело видеть такое множество англичан, и он сам сделал это. Доктор стал уверять, что нанести самому себе рану, имеющую такой характер и направление – невозможно. На это Гогела возразил, что он остроумнее, чем все предполагают, что он воткнул оружие в землю и бросился на него, «совершенно как Навуходоносор», прибавил умиравший, подмигивая присутствовавшим при этой сцене. Доктор, маленький, щеголеватый, румяный человечек нетерпеливого характера, сердился и горячился, бранил и клял своего пациента.

– Ничего с ним нельзя сделать! – кричал он. – Чистый язычник! Надо бы найти его оружие!

Но оружия уже не существовало; только в желобе замка валялась просмоленная бечевка, да куски палок лежали в укромном уголке, а утром можно было видеть, как, наслаждаясь свежим воздухом, щеголь-пленник подстригал ножницами свои ногти.

Увидав, что раненый непоколебимо тверд, власти обратились к нам. Перевернули все до последнего камня. Нас множество раз призывали к допросу, то поодиночке, то по двое, то по трое. Нам грозили невозможными жестокостями, соблазняли невероятными наградами. Кажется, меня допрашивали раз пять, и я каждый раз возвращался назад, чувствуя, что с моего лица сбежали все краски. Я, как старик Суворов, не допускаю, чтобы вопрос мог поставить солдата в тупик; мне кажется, воин должен отвечать так же, как идет в огонь – весело и не задумываясь. Часто мне недоставало хлеба, золота, и т. д., но у меня всегда находился готовый ответ. Может быть, мои товарищи не могли говорить с такой свободой, зато у них было не меньше твердости и упорства, чем у меня. Я могу сказать, что это следствие не привело ни к чему, что смерть Гогелы осталась тюремной тайной. Таковы-то французские ветераны! Однако я не буду лукавить и замечу, что совершенно особые обстоятельства сопровождали то, что происходило; может быть, при обыкновенных условиях кто-нибудь из пленников запнулся бы, или, вследствие запугивания, проговорился бы. Между нами существовали узы, связывавшие нас гораздо теснее, нежели те, которые обыкновенно соединяют товарищей: все мы хранили одну общую тайну, все питали одинаковое намерение. Нечего даже спрашивать, какого рода тайна, какого рода намерения занимали нас: только одни желания, один род стремлений и расцветают в тюрьмах. Наш подкоп был почти готов, и это поддерживало и вдохновляло нас.

Когда допрос кончился, я, как уже было сказано, чувствовал, что на моем лице то вспыхивает, то пропадает румянец. Следственные заседания остались позади, исчезли в прошлом, точно звук, которого никто не слушает, а между тем с меня сорвали маску (с меня, которого так хорошо защищал мой противник!), и сняли таким окончательным образом, точно я сам признался во всем, точно я рассказал о причине нашей ссоры с Гогелой. Это обстоятельство подготовило для меня в будущем очень тревожное, неприятное приключение. На третье утро после дуэли, когда Гогела был еще жив, мне пришлось идти давать урок майору Чевениксу. Я любил это занятие не потому, что оно давало мне большой доход (майор платил мне всего восемнадцать пенсов в месяц: он был в глубине души скрягой), но мне нравились завтраки Чевеникса и, до известной степени, он сам. Майор был, по крайней мере, воспитанным человеком; а те люди, с которыми мне случалось говорить, – если не держали книг ногами вверх, то вырывали из них листки, чтобы раскуривать свои трубки. Я должен повторить, что состав наших пленников был исключительным. В Эдинбургском замке узникам не старались дать образования, как

это делалось в некоторых других тюрьмах, из которых люди, вошедшие в них безграмотными, выходили на свободу способными занять высокие должности. Лицо Чевеникса с правильными чертами и светлыми серыми глазами было очень красиво; майор казался поразительно молодым для своего чина. В его наружности никто не мог бы подметить какого-нибудь недостатка, а между тем общий его вид производил неприятное впечатление. Может быть, Чевеникс поражал уж чересчур большой опрятностью; казалось, что он повсюду вносил с собою запах мыла. Опрятность вещь хорошая, но я не выношу, когда мне кажется, будто у человека ногти покрыты лаком. Кроме того, Чевеникс, конечно, был слишком сдержан и холоден. В этом молодом офицере никогда не проглядывала военная живость. От его доброты веяло холодом, страшным холодом. Рассуждения Чевеникса могли вывести из себя. Может быть, благодаря его характеру, составлявшему полную противоположность моей натуре, я, даже когда он был мне нужен, держался с ним очень сдержанно.

Я взглянул на его упражнение и подчеркнул шесть ошибок.

– Гм! Шесть! – сказал он, рассматривая листок. – Какая досада! Мне все не удастся написать работу как следует.

– Но вы делаете большие успехи! – сказал я.

Вы понимаете, что я не хотел отнимать у майора мужества, но он не был способен научиться французскому языку. Мне кажется, для этого необходим некоторый огонь, а он потушил его в мыльной воде.

Чевеникс опустил свое упражнение, оперся подбородком на руку и взглянул на меня своими светлыми, суровыми глазами.

– Нам нужно поговорить с вами, – сказал Чевеникс.

– Я к вашим услугам, – ответил я с внутренним трепетом, угадывая, о чем пойдет речь.

– Вы занимаетесь со мной уже довольно долгое время, и я склонен хорошо думать о вас.

Мне кажется, вы джентльмен.

– Имею эту честь, – ответил я.

– Вы тоже видали меня в течение того же промежутка времени. Конечно, я не знаю, каким я кажусь вам; но, быть может, вы поверите, что я тоже дорожу честью, – проговорил офицер.

– Мне не нужно никаких уверений; я и так ясно вижу это, – проговорил я с поклоном.

– Ну, так как же было дело относительно этого Гогелы?

– Вчера вы слышали меня на суде, – начал я, – только что я проснулся, как...

– О, да! Я, без сомнения, слышал вас вчера на суде, – прервал он меня, – и отлично помню, что вы «только что проснулись». Я мог бы повторить слово в слово большую часть вашего показания. Но неужели вы думаете, что я хоть одно мгновение верил вам?

– Значит, вы не поверили бы мне, если бы я здесь повторил все, что говорил суду? – произнес я.

– Может быть, я не прав (мы скоро увидим это), – сказал Чевеникс, – но мне кажется, что здесь вы «не повторите всего, что говорили суду». Мне кажется, что, войдя в эту комнату, вы не покинете ее, не сказав мне кое-чего.

Я пожал плечами.

– Позвольте мне выразиться яснее, – продолжал Чевеникс. – Конечно, ваше показание чепуха. И я, и суд поняли это.

– Поздравляю и благодарю! – проговорил я.

– Вы знаете все – это ясно; пленники, спящие в бараке «Б», должны знать, что произошло. Спрашиваю вас: ну, есть ли какой-нибудь смысл продолжать ломать эту комедию и утверждать, что нелепая история – истина, когда с вами только ваш приятель? Ну, ну, милейший, признайтесь, что вы побиты и посмейтесь над самим собой.

– Вы отлично действуете, – заметил я, – вы в это дело вложили всю душу.

Офицер медленным движением скрестил ноги и проговорил:

– Я хорошо понимаю, что в подобных случаях следует принимать предосторожности. Была взята клятва молчать. Я отлично вижу это. (Чевеникс не сводил с меня своих светлых, блестящих, холодных глаз). Мне также кажется естественным, что вы хотите сохранить в строгой тайне все, касающееся этого дела чести.

– Дело чести? – повторил я, как бы изумляясь донельзя.

– Значит, это не было поединком? – спросил майор.

– Что именно? Я не понимаю, – сказал я.

Чевеникс ничем не выразил своей досады; он несколько мгновений помолчал, потом заговорил по-прежнему спокойно и добродушно:

– И суд, и я решили, что ваше показание неправдиво; оно не могло бы обмануть и ребенка! Однако между мной и остальными офицерами существует та разница, что я знаю человека, который дал нам неверное показание, а они нет. Они видят в вас обыкновенного солдата, я же уверен, что вы джентльмен. Для них ваше показание было целой статьей лжи и, слушая его, они зевали; я же спрашивал себя, как далеко может зайти джентльмен? Не будет же он помогать скрывать убийство? Поэтому, услышав, что вы говорите, будто ничего не знаете, будто вас разбудил капрал и так далее, я совершенно иначе объяснил себе ваше показание. Ну, Шамдивер!

Чевеникс живо вскочил и, подойдя ко мне, произнес с жаром:

– Я скажу вам, в чем дело, и вы поможете свершиться правосудию. Каким образом – я еще не знаю, по-тому что, конечно, на вас лежит клятва, но так или иначе вы поможете мне. Запомните все, что я скажу вам.

В это мгновение он тяжело опустил руку на мое плечо и сжал его; не могу вам сказать, продолжал ли он говорить или сразу замолчал, потому что майор тронул меня как раз за то проклятое плечо, которое ранил Гогела. Рана была ничтожной царапиной, она заживала, но прикосновение Чевеникса причинило мне адские мучения. У меня закружилась голова, по лицу покатались капли пота, вероятно, я смертельно побледнел.

Чевеникс снял руку так же быстро, как положил ее.

– Что с вами? – спросил он.

– Пустяки, – ответил я. – Немножко дурно; теперь все прошло.

– Прошло ли? Вы бледны как полотно.

– Право же, все прошло. Теперь я снова вполне оправился, – уверял я, хотя едва мог принудить себя говорить.

– Значит, продолжать? – спросил Чевеникс. – В состоянии ли вы следить за мной?

– Конечно! – ответил я и отер рукавом свое влажное лицо (в это время моей жизни у меня не было носового платка!).

– Если вы уверены, что вы будете в состоянии следить за моими словами, то слушайте меня. Только, – прибавил он с сомнением, – у вас был очень внезапный и острый припадок! Однако если вы говорите, что все прошло, я начну: между вами, пленными, было бы трудно устроить вполне правильную дуэль. Между тем, несмотря на нарушение многих общепринятых форм, несмотря на необыкновенные условия, поединок мог совершиться достаточно честным образом. Вы понимаете меня? Ну, поступите же как джентльмен и солдат.

Рука Чевеникса снова поднялась и покачивалась над моим плечом. Я не выдержал и отшатнулся от него, вскрикнув:

– Только не кладите мне руки на плечо! Я не в силах выносить этого. У меня ревматизм, – поспешно прибавил я, – мое плечо воспалено и очень болит.

Чевеникс снова опустился на прежний стул и спокойно закурил сигару.

– Мне очень жаль, что у вас болит плечо, – наконец проговорил майор. – Не послать ли за доктором?

– Не нужно, – ответил я. – Это – безделица, я привык к боли, она не беспокоит меня; кроме того, я не верю докторам.

– Прекрасно, – заметил майор и стал молча курить.

Все на свете отдал бы я, чтобы только прервать это молчание. Наконец офицер заговорил:

– Ну, мне кажется, я знаю достаточно, полагаю даже, что мне известно решительно все.

– Насчет чего? – смело спросил я.

– Насчет Гогелы, – ответил он.

– Простите, но я не понимаю.

– О, – произнес майор, – этот человек ранен на дуэли и вашей рукой. Я ведь не младенец.

– Без сомнения. Но, мне кажется, вы увлекаетесь теориями.

– Желаете сделать проверку? – спросил Чевеникс. – Доктор недалеко. Если на вашем плече нет открытой раны – я ошибаюсь. Если рана есть... – он помахал рукой. – Но я советую вам подумать, – продолжал Чевеникс. – У этого опыта будет чертовски неприятная сторона для вас, а именно: все то, что осталось бы только между нами двоими, делается тогда достоянием всех.

– Ну, хорошо, – со смехом произнес я. – Мне кажется, все лучше, нежели медицинский осмотр; яне выношу этой породы людей!

Последние слова Чевеникса сильно успокоили меня, но все же я далеко не чувствовал себя в безопасности.

Майор курил, посматривая то на пепел своей сигары, то на меня.

– Я сам солдат, – заговорил он, – и в свое время сам пережил нечто подобное, ранив противника. Я не желаю ставить в безвыходное положение кого-нибудь из-за дуэли, хотя она, быть может, и не была необходимостью и совершалась не по всем правилам. В то же время мне крайне нужно знать решительно все, и я желаю, чтобы вы скрепили мои догадки вашим честным словом. В противном случае мне, к моему большому огорчению, придется послать за доктором.

– Я ничего не отрицаю и не утверждаю, – возразил я. – Однако, если вы удовлетворены моим заявлением, я вам скажу следующее: даю честное слово джентльмена и солдата, что между нами, пленниками, не произошло ничего такого, что не было бы вполне честно.

– Отлично, – сказал он. – Я только этого и желал. Теперь вы можете идти, Шамдивер.

Когда я подошел к двери, Чевеникс прибавил со смехом:

– Во всяком случае, мне следует извиниться перед вами: я и не подозревал, что подвергаю вас пытке.

В тот же день на наш двор пришел доктор с листом бумаги в руках. По-видимому, ему было очень жарко; он казался рассерженным и, очевидно, не заботился о том, чтобы говорить вежливым образом.

– Эй, – крикнул он, – кто из вас немного знает по-английски? О, – прибавил он, всматриваясь в меня, – вы – как бишь вас зовут – вы пригодитесь мне. Скажите этим молодцам, что тот умирает. Его песня спета, нечего и говорить; я ожидаю, что он умрет к вечеру. Скажите же им, что я не завидую тому из них, кто проколол его. Прежде всего переведите им это.

Я исполнил приказание доктора.

– Теперь, – продолжал маленький человек, – передайте им, что этот Гогель, или как там его зовут, желает повидаться с некоторыми из них перед отправлением на тот свет. Если я правильно понял его, то он стремится обнять своих ближайших друзей, словом, развел там всякую кислятину. Поняли? Вот список, который он написал; лучше всего, прочтите его вслух сами; я не в состоянии выговорить ни одного слога из ваших чертовских фамилий. Услышав свое имя, каждый должен ответить: «здесь» и отойти вот к этой стене.

С самыми разнообразными чувствами в душе прочел я первое имя списка. Мне очень не хотелось смотреть на страшное дело моих рук; при одной мысли об этом все мое существо

содрогалось. А как еще Гогела примет меня? Я мог избавиться от этого свидания, пропустив первое имя в списке; доктор ничего не узнал бы, и я не пошел бы к Гогеле. Впоследствии я с удовольствием вспоминал, что, ни на мгновение не останавливаясь на этой мысли, я подошел к указанной стене, повернулся, прочел имя Шамдивер и сам же ответил: «здесь».

В списке стояло с полдюжины фамилий; я прочел их. Когда переключка окончилась, доктор повел нас к госпиталю; мы шли за ним гуськом, в одну линию. У дверей остановился маленький человечек и сказал, что нас будут пускать к этому «малому» поодиночке; когда я перевел товарищам его слова, он сейчас же послал меня в госпитальную камеру. Я очутился в маленькой, чистой, белой комнатке; окно, выходящее на юг, стояло открытым и перед ним расстилалась громадная воздушная бездна, виднелась даль; снизу, из рынка «Грассмаркет», доносились громкие, звонкие голоса разносчиков. Подле окна на маленькой постели лежал Гогела. С лица умиравшего еще не успел сойти загар, а между тем на его чертах уже лежал отпечаток смерти. Что-то дикое, нечеловеческое было в улыбке, которой он встретил меня; мое горло судорожно сжалось, когда я увидел выражение его лица. Только смерть и любовь могут придавать чертам людей такой отпечаток. Гогела заговорил, стараясь, казалось, выразиться по-прежнему грубо.

Он протянул руки, точно желая меня обнять. С невероятным трепетом ужаса я подошел поближе к нему и наклонился в его объятия, испытывая страшное отвращение, но он только приблизил мое ухо к своим губам:

– Поверьте мне, – шепнул Гогела. – *Je suis bon bougre!* Я унесу тайну с собой в ад и скажу ее только дьяволу.

Зачем повторять все его грубости и пошлости? Все, что Гогела чувствовал в эти мгновения, было благородно, хотя он мог облекать свои мысли только в шутовские, грязные выражения. Больной попросил меня позвать доктора, и когда военный врач вошел в комнату, Гогела немного приподнялся, сперва указал пальцем на себя, затем на меня, стоявшего рядом с ним в горьких слезах, и несколько раз подряд повторил слово: «фриндс», «фриндс», «фриндс»!⁵

К моему изумлению, доктор, по-видимому, был очень опечален. Он несколько раз кивнул своей круглой головой, повторяя на ломаном французском языке:

– Хорошо, Джонни, понимаю!

Гогела пожал мне руку, обнял меня, и я ушел, рыдая как ребенок. Часто случалось мне видеть, что люди, которые вели самую непростительную жизнь, умирали необычайно счастливым, прекрасным образом! Мы имеем право позавидовать им в этом отношении. Большинство ненавидело Гогелу при жизни; но в течение последних трех дней он выказал столько твердости, что завоевал решительно все сердца. Когда вечером, после нашего посещения, разнеслось известие о том, что его уже нет более в живых, все голоса затихли, точно в доме, который посетила смерть.

Я словно обезумел. На следующее утро от этого состояния во мне не осталось и следа, но ночью я страдал от страшного нервного расстройства. Я убил его, а он сделал все, чтобы защитить меня! Я видел его ужасную улыбку! И вот как нелогично и бесполезно раскаяние: я снова готов был поссориться с кем-нибудь другим из-за слова, из-за взгляда! Вероятно, странное душевное настроение проглядывало на моем лице; когда в тот же вечер я подошел к доктору, поклонился ему и заговорил с ним, он посмотрел на меня с сожалением и состраданием.

Я спросил его, правда ли, что Гогела умер.

– Да, – ответил он.

– Он очень страдал?

– Черт возьми – немножко, а умер как ягненок.

Доктор посмотрел на меня, и я заметил, что его рука опустилась в карман. Он прибавил:

⁵ Испорченное слово *friends* – друзья.

– Вот, возьмите! Нет смысла тосковать!

Маленький человечек подал мне серебряную монету в два пенни и ушел.

Мне следовало бы отделать эту монету и повесить ее на стену, потому что, насколько я знаю, отдав ее мне, доктор в первый и последний раз в жизни подал кому бы то ни было милостыню. Вместо этого я, понимая его заблуждение, засмеялся горьким смехом, потом с отвращением бросил монету далеко от себя. Темнело, за покрытой садами долиной виднелась Принцева улица, вдоль нее бегали фонарщики с приставными лестницами и лампочками; я стоял у амбразуры стены и мрачно наблюдал за ними. Вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я повернул голову и увидел Чевеникса. Майор был в вечернем костюме, в галстучке, сложенном поистине превосходно. Нельзя отрицать, этот человек умел одеваться.

– А, – сказал он, – я так и думал, что это вы, Шамдивер. Итак, он умер?

Я кивнул головой.

– Ну, ничего, – проговорил Чевеникс. – Мужайтесь! Конечно, это горестно, ужасно и так далее. Но, знаете, его смерть далеко не дурной исход для вас и для меня. Он умер; вы навестили его, простились с ним. После этого я вполне спокоен.

Таким образом, я во всех отношениях был обязан Гогеле жизнью.

– Я не хотел бы говорить об этом, – заметил я.

– Хорошо, – проговорил он. – Только позвольте мне прибавить одно слово, и вопрос будет исчерпан навсегда. Из-за чего вы дрались?

– Из-за чего обыкновенно дерутся люди.

– Женщина?

Я пожал плечами.

– Черт возьми, я не считал его способным на любовь, – проговорил Чевеникс.

При этом замечании все мое недовольство выразилось в словах:

– Он! – крикнул я. – Да он никогда не смел заговорить с ней, он только раз видел ее и потом за глаза осыпал низкими оскорблениями! Если бы она дала ему шесть пенни, он почувствовал бы себя на небе!

В эту минуту я заметил, что майор пристально смотрит на меня. Я внезапно замолчал.

– Ну, до свиданья, Шамдивер, – сказал Чевеникс. – Приходите ко мне завтра к завтраку, мы поговорим о чем-нибудь другом.

Сознаюсь, этот человек поступал не худо; даже теперь, когда я через такой большой промежуток времени пишу эти строки, я вижу, что он вел себя прямо хорошо.

Глава IV

Сент-Ив получает связку банковских билетов

Прошло очень немного времени; однажды я, к своему удивлению, заметил, что какой-то статский, незнакомый мне господин с большим вниманием присматривается ко мне. Это был человек средних лет, с темно-красным лицом, круглыми черными глазами, уморительными клочковатыми бровями и выдающимся лбом, одетый в платье квакерского покроя. Он был очень некрасив, а между тем в выражении его лица мелькал тот неуловимый оттенок, который служит характерной чертой людей обеспеченных. Некоторое время он, стоя на известном расстоянии, так неподвижно наблюдал за мной, что даже не спугнул воробья, сидевшего между мной и им в отверстии стены, на задней части пушки. Когда наши глаза встретились, незнакомец подошел ко мне и заговорил со мной по-французски; владел он языком довольно бойко, но страшно коверкал произношение.

– Я имею удовольствие говорить с виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом? – спросил он.

– Я не ношу этого имени, но имею на него право, – ответил я. – Теперь меня зовут просто Шамдивер, по фамилии моей матери; это имя больше идет солдату.

– Мне кажется, – сказал он, – вы не приняли точной фамилии вашей матушки. Насколько я помню, перед ее именем также стояла частица «де». Ведь ее звали Флоримонда де Шамдивер.

– Опять-таки совершенно верно, – проговорил я. – С удовольствием смотрю на человека, которому так хорошо знакомы все подробности моего происхождения. Смею спросить, вы сами «благо урожденные?»

Я произнес последние слова с очень надменным видом, отчасти для того, чтобы скрыть любопытство, которое возбуждал во мне этот странный посетитель, отчасти же потому, что они показались мне крайне комичными в устах пленника-рядового, одетого в тюремное платье.

Очевидно, комизм моего вопроса поразил и незнакомца, потому что он засмеялся.

– Нет, сэр, – ответил он, говоря теперь по-английски, – я не благо урожден, как вы выразились; мне придется удовольствоваться тем, что я хорошо умру; на это я так же способен, как все самые лучшие из вас. Меня зовут мистер Ромэн, Даниэль Ромэн; я адвокат из Лондона и, что, может быть, вам будет интересно узнать, я явился сюда по желанию графа, вашего внука-того дяди.

– Как? – крикнул я. – Неужели Керуэль де Сент-Ив помнит о моем существовании? Неужели он снисходит до того, что считает солдата Наполеона своим родственником?

– Вы хорошо говорите по-английски, – заметил мой собеседник.

– У меня было много случаев научиться этому языку; меня нянчила англичанка, отец постоянно говорил со мной по-английски, а кончил я мое образование под руководством вашего соотечественника, мистера Викари.

Лицо адвоката оживилось; он, казалось, был сильно заинтересован и быстро спросил:

– Как, вы знали бедного Викари?

– Не один год, – ответил я, – и вместе с ним скрывался много месяцев.

– А я был у него клерком и наследовал его фирму, – проговорил Ромэн. – Прекрасный человек! По делам графа Керуэля отправился он в ту проклятую страну, из которой ему не суждено было вернуться. Вам известно, как он окончил жизнь?

– Да, к несчастью! – сказал я. – Он погиб от рук разбойников, которых мы называем chauffeurs⁶. Словом, его пытали, и он от этого умер. Посмотрите, – прибавил я и, скинув баш-

⁶ Буквально – нагреватели. Разбойники, пытавшие жертвы огнем.

мак, показал ногу мистеру Роману (у меня не было чулок). – Взгляните, что они собирались сделать со мной, в то время еще совсем ребенком.

Ромэн взглянул на шрам от старинного ожога с некоторым ужасом. – Звери! – прошептал он про себя.

– Англичанин имеет полное право выражаться таким образом, – вежливо заметил я.

Я всегда пускал в ход подобные замечания, вращаясь среди этого доверчивого народа. Девяносто процентов наших посетителей приняли бы мои слова за чистую монету и нашли бы их вполне естественными; в их глазах мое замечание послужило бы доказательством того, что я способен правильно судить о вещах, но мистер Ромэн, по-видимому, был гораздо проныцательнее.

– Вы не совсем глупы, как я вижу, – произнес адвокат.

– Нет, не совсем, – подтвердил я.

– А между тем следует остерегаться иронии; это опасное оружие, – продолжал он. – Помните, ваш дядя слишком часто прибегал к помощи этой формы речи и так к ней привык, что теперь истинный смысл его речи остается загадкой.

– Вы заставляете меня задать вам несколько вопросов, которые, вероятно, покажутся вам вполне естественными, а именно: что доставляет мне удовольствие видеть вас? Почему вы узнали меня и как вам стало известно, что я здесь?

Адвокат осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел рядом со мной на краешек каменной плиты.

– Это довольно странная история, – сказал он, – и я попрошу у вас позволения прежде всего ответить на ваш второй вопрос. Я узнал вас потому, что вы несколько похожи на вашего двоюродного брата, виконта Алена.

– Надеюсь, я красивее, нежели он?

– Спешу вас уверить, – был ответ, – что вы не ошибаетесь. На мой взгляд, у Алена де Сент-Ива не особенно приятная наружность. Однако когда я, зная, что вы находитесь здесь, искал вас взглядом – ваше сходство с виконтом Аленом помогло мне в моих поисках. Что касается того, каким путем узнал я, где вы находитесь, я скажу, что мне в этом отношении помогла довольно странная случайность, и опять-таки дело не обошлось без виконта Алена. Нужно заметить, что ваш кузен следил за вами и сообщал графу все, что вы делали и чем занимались... С какой целью – предоставляю судить вам самим. Когда он впервые принес известие о вашей... о том, что вы служите Бонапарту, мне показалось, что старый граф умрет от гнева и раздражения. Но мало-помалу обстоятельства несколько изменились; собственно говоря, я должен был бы выразиться: сильно изменились. Мы узнали, что вы дрались против англичан, за храбрость были произведены в офицеры, а затем снова стали рядовым. Как я уже сказал, граф де Керуэль привык к мысли, что вы, его родственник, служите Бонапарту. В то же время он начал страшно удивляться, что другой его родственник так хорошо знает все, что делается во Франции. В вашем дяде невольно зародилось очень неприятное подозрение, уж не шпион ли виконт Алэн? Словом, стараясь погубить вас, ваш двоюродный брат навлек на себя тяжкие обвинения.

Мой собеседник замолчал, понюхал табак и взглянул на меня самым доброжелательным взглядом.

– Господи Ты, Боже, – проговорил я. – Да, это действительно прелюбопытная история.

– Погодите! Дайте досказать до конца! – проговорил Ромэн. – Вскоре последовали два события. Первым из них была встреча графа Керуэля с monsieur де Мосеаном.

– Я знаю этого господина и поплатился за знакомство с ним, – проговорил я. – Он был виновником того, что меня разжаловали в солдаты.

– Да? – вскрикнул Ромэн. – Это для меня новость!

– О, я не смею жаловаться! Я бы неправ и действовал вполне сознавая, какие последствия повлечет за собой мой поступок. Если человеку поручено сторожить пленника, а он отпускает его, – меньшее, чего он может ожидать за такое преступление, это разжалование.

– Вас отблагодарят, – сказал Ромэн, – вы принесли себе пользу, а еще большую вашему королю!

– Если бы я думал, – произнес я, – что причинил вред моему императору, поверьте мне, я скорее оставил бы Мосеана в адском пламени, нежели помог бы ему спастись. Для меня он был частным человеком, попавшим в затруднение, и я отпустил его, поддаваясь чувству сострадания; право, я не имел никакого желания обратить это обстоятельство себе в пользу, хотя мне и приписывают теперь различные побуждения, которых не было у меня.

– Ну, ну, – заметил адвокат, – теперь ведь это все равно. Право, в вас говорит безумная горячность... неуместный энтузиазм, поверьте мне. Дело в том, что господин Мосеан с благодарностью говорил о вас и выставил вас в таком свете, что мнение вашего дяди о вас сильно изменилось. Вскоре ваш покорный слуга представил графу Керуэлю непреложные доказательства того, что мы давно уже подозревали. Сомнений не могло остаться; теперь сделалось понятным, откуда виконт Алэн брал деньги, чтобы вести рассеянную жизнь, нарядно одеваться, содержать любовниц и скаковых лошадей, вести большую игру: он получал жалованье от Бонапарта, был тайным шпионом и держал в своих руках нити самых запутанных и хитрых предприятий. Нужно отдать справедливость вашему дяде, он отлично поступил в этом случае, уничтожил все доказательства позора одного из своих родственников и перенес свое сочувствие на другого.

– Как мне понять ваши слова? – спросил я.

– Я сейчас все объясню вам, – ответил Ромэн. – В человеческой природе много непоследовательности; людям, принадлежащим к моей профессии, часто случается наблюдать это. Себялюбцы могут жить без друзей, без детей, могут обходиться без всего человеческого рода, исключая, пожалуй, только аптекаря или цирюльника, но когда подходит смерть, они чувствуют физическую невозможность умереть без наследника. Вы можете видеть на себе подтверждение этого принципа. Виконт Алэн (хотя вряд ли он подозревает это) более уже не наследник графа. Остается виконт Анн.

– Вы как будто бросаете тень на моего дядю, – проговорил я.

– Неумышленно, – возразил Ромэн. – Граф вел разгульную жизнь, ужасно распушенную, но знать его и не восхищаться им невозможно; он поразительно, изысканно вежлив и любезен.

– Итак, вы полагаете, что у меня есть действительно несколько шансов стать его наследником?

– Прошу вас заметить, – сказал адвокат, – что я не был уполномочен сказать вам все, что я сказал. Мне не поручали толковать с вами о завещаниях, наследствах или о вашем двоюродном брате. Я прислан сюда с тем, чтобы передать вам только следующее: граф де Керуэль желает видеть своего внучатого племянника.

– Ну, – сказал я, оглядывая укрепления, окружавшие нас, – без сомнения, в этом случае Магомет должен подойти к горе.

– Извините, – перебил меня Ромэн, – вы знаете, что ваш дядя стар, но я еще не сказал вам, что силы графа совершенно истощены, что смерть недалеко от него. Нет, нет, сомнений быть не может: гора должна прийти к Магомету.

– Слышать такое мнение от англичанина – нечто очень замечательное, – проговорил я, – но вы по самому вашему положению – хранитель человеческих тайн, и я вижу, что вы оберегаете секрет моего двоюродного брата Алена, а это не может служить признаком свирепого патриотизма...

– Прежде всего я поверенный вашей семьи, – произнес Ромэн.

– В таком случае, – сказал я, – может быть, мне самому следует сделать вам одно признание. Скала, на которой стоит наша тюрьма, высока и крута; можно почти наверное сказать, что с какого бы пункта утеса ни упал человек – он погибнет, а между тем, мне кажется, я обладаю парой крыльев, которые в состоянии снести меня к подножию скалы. Но, очутившись внизу, я стану совершенно беспомощным.

– А может быть, в эту-то минуту я и выступлю на сцену, – ответил адвокат. – Предположите, что, благодаря какой-нибудь случайности, которую я не предугадываю, и о которой не высказываю своего мнения...

Тут я прервал его.

– Позвольте сделать одно замечание: я не связан словом.

– Ятак и понял вас, – заметил Ромэн, – хотя многие из вас, французских дворян, находят, что данное ими слово мало тяготит их.

– Сэр, я не из числа подобных людей, – проговорил я.

– Откровенно говоря, я и не считал вас таким, – ответил адвокат, потом продолжал. – Итак, предположим, что вы, освободившись, очутились у подножия утеса. Хотя я не могу сделать для вас многого – все же кое-чем я в состоянии помочь вам продолжать ваш путь. Прежде всего я унес бы с собой во внутреннем кармане или в башмаке вот это, – и мистер Ромэн подал мне пачку банковских билетов.

– Подобная вещь не принесет вреда, – заметил я и сейчас же спрятал деньги.

– Затем, – продолжал адвокат, – вам следует знать, что отсюда до того пункта, в котором живет граф де Керуэль, то есть до Амершем-Плэса, близ Дунстабля – путь далекий. Вам придется пройти большую часть Англии, причем я не могу ничем помочь вам в приискании первых мест остановок; в этом случае вы должны полагаться только на свое счастье и изобретательность. У меня нет знакомых в Шотландии, или, по крайней мере (тут мистер Ромэн сделал гримасу), нет бесчестных знакомых. Но дальше у югу, близ Уакфильда, живет, как мне известно, один господин по имени Берчель Фенн, не отличающийся излишней крайностью убеждений; он может провезти вас дальше. По-видимому, этот человек занимается систематическим укрывательством бежавших пленников. Тайна его жжет мне язык. Но ведь, имея дело с негодями, следует ожидать всего, а ваш двоюродный брат Ален, как мне кажется, самый большой негодяй из тех, которых я знаю!

– Если этот Фенн находится в зависимости от моего двоюродного брата, быть может, мне следует держаться от него как можно дальше?

– Мы напали на след Бречеля Фенна благодаря некоторым из бумаг виконта Алена, – возразил адвокат. – Но мне кажется, что вы можете положиться на Фенна (по крайней мере, настолько, насколько во всем этом гадком деле можно вообще полагаться на кого-нибудь). Думаю, что вы даже могли бы прикрыться именем виконта; в этом отношении фамильное сходство оказало бы вам услугу. Что, если бы, например, вы назвались его братом?

– Пожалуй, – проговорил я. – Но подумайте: вы предлагаете мне очень трудную игру; по-видимому, у меня чертовски сильный противник в лице моего двоюродного брата; я же военнопленный, а потому нельзя сказать, чтобы у меня в руках были хорошие карты. Что же я могу выиграть?

– Очень многое, – ответил Ромэн. – Ваш дядя страшно богат, страшно. Он вовремя взялся за ум и почуял революцию еще задолго до ее начала; пользуясь моей фирмой, граф продал все, что мог продать, перевез все, что можно было перевезти, в Англию. В Британии есть большие прекрасные имения, и Амершем-Плэс одно из лучших среди них. У графа много очень выгодно помещенных денег. Он живет по-царски. Но что в том? Господин де Керуэль потерял все, из-за чего стоит жить, – семью, родину; он видел, как умертвили его короля и королеву; на его глазах происходили страшные несчастья, совершались возмутительные низо-

сти... – Адвокат увлекался все больше и больше, щеки его покраснели; вдруг он перебил себя, сказав:

– Словом, он видел все привлекательные стороны правления, за которое сражается его племянник, и, на несчастье графа, это правление не нравится ему!

– Вы говорите с горечью, которую, мне кажется, я должен извинить вам, – сказал я, – однако кто из нас имеет большее право ощущать ее? Мой дядя бежал. Родители мои, бывшие, может статься, менее благоразумными, остались во Франции. Вначале они сочувствовали республиканскому движению, и даже до самого конца ничто не могло заставить их вполне разочароваться в народе. Это было славным, благородным безумием, за которое я почитаю их. Они погибли. Говорят, на мне лежит отпечаток дворянства, и я должен сказать, что люди, воспитывавшие меня, погибли на эшафоте; последней школой, в которой я учился хорошим манерам, была тюрьма аббатства. Неужели вы предполагаете, что вам следует объяснять горечь человеку с таким прошлым, как у меня?

– Я и не думаю об этом, – ответил мистер Ромэн. – А между тем одного я не могу понять: как человек вашего происхождения, перенесший все, что испытали вы, может служить Корсиканцу. Я не понимаю этого; мне кажется, все великодушное, благородное в вашей природе должно восставать против этого... господства.

– Может быть, – возразил я, – если бы вы провели детство среди волков, вы обрадовались бы, увидав корсиканского пастуха.

– Ну, ну, – возразил мистер Ромэн, – может быть, есть вещи, о которых спорить нельзя. Махнув рукой, он быстро сошел с лестницы и исчез в тени тяжелой арки.

Глава V

Пленнику показывают дом в зелени

Едва ушел адвокат, как я вспомнил о множестве пробелов, оставшихся в его рассказе; прежде всего он не сказал мне адреса Берчеля Фенна, что было очень важно; я бросился к лестнице, но опоздал; адвокат уже скрылся; в тени под аркой, которая вела к воротам замка, виднелись только красный сюртук и блестящее оружие часового. Мне оставалось вернуться к укреплениям, на свое обычное место.

Я не был вполне уверен, что имел право занимать этот угол, но пользовался особой милостью: ни один английский офицер или рядовой не вызвал бы меня оттуда, не имея на это особенно важного повода; всегда, когда мне хотелось быть наедине с собой, я мог сидеть за моей пушкой и никто не мешал мне. В этом месте скала спускалась вниз почти совершенно отвесной стеной, покрытой чащей цеплявшихся за камни кустов; дальше внизу виднелась башенка наружного укрепления; глядя через долину, я мог любоваться длинной террасой Принцевой улицы, служившей обыкновенным местом прогулок жителей Эдинбурга. Не часто случается, чтобы военная тюрьма возвышалась над главной улицей города.

Не стоит утруждать вас рассказом о ходе моих размышлений, вызванных разговором, который я только что вел; не буду я также упоминать и о надеждах, зародившихся во мне. Гораздо важнее то обстоятельство, что, даже погрузившись в свои мысли, я все время следил за людьми, гулявшими по Принцевой улице, смотрел, как они проходили взад и вперед, встречались, кланялись друг другу, входили в лавки, которые в этой части города необыкновенно хороши для английской провинции, наблюдал, как покупатели выходили из магазинов. Мой ум был сильно занят, а потому глаза смотрели бесцельно, наудачу; я невольно некоторое время следил за каким-то господином в красной шляпе и белом пальто, хотя совершенно не интересовался им и не мог рассчитывать узнать о нем что-либо до самого моего переселения к праотцам. По-видимому, у него было много знакомых; ему вечно приходилось поднимать свою шляпу. Поздоровавшись, вероятно, с полдюжиной встречных, он наконец подошел к молодой даме и юноше; мне показалось, что я узнаю их.

На таком большом расстоянии невозможно совершенно ясно рассмотреть кого-нибудь, но одна мысль, что я узнал эти две высокие, статные фигуры, заставила меня высунуться из амбразуры и долго следить за ними. Только подумать, что такое сильное волнение, может статься, было вызвано случайным сходством, что я трепетал, смотря, по всей вероятности, на совершенно незнакомых мне людей!

Как бы то ни было, первый же взгляд на них мгновенно изменил ход моих мыслей. Все, что говорил адвокат, было хорошо, полезно; мне казалось необходимым повидаться с графом. Но мысль о дяде, притом же еще внучатом и совершенно не знакомом, неспособна волновать воображение молодого человека, между тем покинув Эдинбургский замок, я мог потерять всякую возможность когда-нибудь снова увидеть Флору. То маленькое впечатление, которое я произвел на нее (если предположить, что я произвел на нее некоторое впечатление), должно было скоро исчезнуть. Да, удалившись, я очень, очень скоро превратился бы для нее в призрачное воспоминание, рассказами о котором она впоследствии стала бы занимать мужа и детей. Мне следовало усилить это впечатление, следовало наложить более ясный, более отчетливый отпечаток на мягкий воск ее души до моего исчезновения из Эдинбурга. И вот два стремления, боровшиеся в моем сердце, слились, соединились воедино. Я страстно желал снова увидеть Флору и в то же время считал необходимым, чтобы кто-нибудь дал мне новое платье и помог моему побегу. Вывод казался ясным. Я знал только служивших в гарнизоне солдат и офицеров, которые по долгу чести были обязаны стеречь меня и препятствовать моему осво-

бождению, а затем Флору и ее брата, больше же в целой Шотландии у меня не нашлось бы ни одной знакомой души. Мне думалось: если я бегу, то Флора и Рональд должны сделаться моими помощниками! Однако сказав им о моем намерении, еще не освободившись от неволи, я поставлю их в затруднительное положение; в этом случае моим друзьям придется выбирать тот или другой образ действий, что, без сомнения, порядочно смутит их.

Как поступили бы они, если бы я заранее сознался им в задуманном бегстве, я не знал, так как не мог решить, что сделал бы сам на их месте. Итак, прежде всего мне следовало бежать. Мне казалось, что, когда зло станет совершившимся фактом, когда я превращусь в несчастного беглеца, я буду иметь возможность обратиться к Рональду и Флоре с большей безопасностью, с меньшим сознанием того, что моя просьба о помощи преступна. Мне было необходимо узнать, где живут молодые люди и как пройти к ним. Я придумал целую серию маленьких хитростей, посредством которых надеялся получить необходимые для меня сведения. Вскоре вы увидите, что мой план оказался удачным.

Дня через два после моего свидания с поверенным дяди ко мне явился сам мастер Рональд. Я еще не имел никакого влияния на этого мальчика и решил прежде постараться очаровать брата Флоры, возбудить в нем сочувствие к моей судьбе, а потом уже приступить к тому, что я задумал. Рональд казался очень смущенным. До сих пор он еще ни разу не разговаривал со мной. Он только молчаливо кланялся мне да краснел, когда я обращался к нему. Теперь он подошел ко мне с видом человека, исполняющего свою обязанность, или неопытного солдата, который впервые идет в огонь. Я перестал резать, поклонился ему и приветствовал его довольно официальным образом; мне казалось, что это понравится мальчику. Рональд продолжал молчать; тогда я пустился в такие рассказы о моих военных приключениях, на которые, пожалуй, не решился бы сам Гогела. Мальчик, видимо, смягчился и оживился; он подошел поближе ко мне и настолько позабыл свою застенчивость, что стал задавать мне множество вопросов; наконец, снова вспыхнув, Рональд сказал, что сам надеется сделаться офицером.

– Да, – сказал я, – ваши британские войска на полуострове великолепны. Храбрый молодой человек имеет право гордиться, когда его назначают начальником отряда подобных солдат.

– Я знаю это, – заметил Рональд, – и не могу думать ни о чем другом. Мне стыдно, что я живу дома, продолжаю заниматься этим глупым ученьем, в то время как другие, не старше меня, уже бьются на поле сражения.

– Я не могу порицать вас, – сказал я, – так как чувствовал совершенно то же, что и вы.

– Нет, войско... Разве есть войско такое же прекрасное, как наше?

– Ну, – проговорил я, – у него есть один недостаток: оно не умеет отступать. Я сам убедился в этом.

– Мне кажется, причина этого кроется в нашем национальном характере, – заметил Рональд (прости его, Господи!) с гордым видом.

«Я видел, как солдаты с вашим „национальным характером“ бежали с поля сражения, и имел честь преследовать их», – так и вертелось у меня на языке, но я не был настолько неблагодарно разумен, чтобы высказать свою мысль вслух. Всем следует льстить, а уж юноши и женщины требуют безграничной лести, и я весь остаток дня говорил Рональду о британском героизме; не побожусь, что все мои рассказы были совершенно правдивы.

– Как странно, – проговорил Рональд, – мне говорили, что французы очень неискренни. Ваше же чистосердечие мне так нравится! У вас должен быть благородный характер. Я восхищаюсь вами и очень благодарю вас за то, что вы так добры к... к... такому молодому человеку, как я. – Мальчик протянул мне руку.

– Скоро ли я снова увижусь с вами? – спросил я.

– О, теперь очень скоро, – ответил он. – Вот... вот что я вам скажу. Я не хотел позволить Флоре... мисс Гилькрист, хотел я сказать, прийти сюда сегодня. Я желал сам получше позна-

комиться с вами. Надеюсь, вы не обиделись: знаете, с иностранцами нужна большая осторожность.

Я вполне одобрил такую предусмотрительность. Рональд ушел. Мою душу наполняла смесь самых противоречивых чувств: мне было и совестно за то, что я сыграл роль обманщика, и досадно, что я курил такой фимиам английскому тщеславию, в глубине же души я радовался, что брат Флоры стал моим другом или что я, по крайней мере, был на пути сделаться его приятелем.

Я был почти уверен в том, что Флора и Рональд навестят меня на следующий же день, и не ошибся. Завидев гостей, я сделал к ним навстречу несколько шагов, придав моему лицу выражение, в котором гордость, приличная солдату, смешивалась со смирением, идущим пленнику. Мне казалось, что в эти минуты я мог бы послужить моделью для живописца. Сознаюсь, я играл комедию, но как только взгляд мой упал на смуглое лицо Флоры, на ее красноречивые глаза, кровь бросилась мне в лицо, и непритворное волнение охватило меня.

Я поблагодарил молодых Гилькристов без излишней радости; мне следовало оставаться по-прежнему печальным и в разговоре сливать воедино и брата, и сестру.

– Вы оба были так добры ко мне, иностранцу и пленнику, что я долго думал, чем бы я мог выразить вам мою благодарность. Может быть, вы найдете, что я делаю странное признание, если скажу вам, что здесь никто, даже ни один из моих товарищей, не знает моего настоящего имени и титула. Все меня зовут просто Шамдивер; я имею право на эту фамилию, но должен был бы называться другим именем, именем, которое недавно был принужден скрывать, как преступление. Мисс Флора, позвольте представиться вам: виконт Анн де Керуэль де Сент-Ив, рядовой.

– Я так и знал! – вскрикнул мальчик. – Я знал, что он дворянин!

Мне показалось, что и глаза мисс Флоры сказали то же самое, но только гораздо более выразительным образом. В течение этого свидания со мной молодая девушка смотрела в землю или на мгновение взглядывала на меня с выражением серьезным и кротким.

– Конечно, друзья мои, вы поймете, что это тяжелое признание, – продолжал я. – Горько гордому человеку, стоя перед вами в виде побежденного пленного узника, произнести свое настоящее имя. А между тем мне хотелось, чтобы вы знали, кто я. Возможно, что через долгий промежуток времени вы услышите обо мне, я о вас (может быть, в это время мы с мистером Гилькристом будем на поле сражения в двух различных лагерях); а было бы жаль, если бы мы, получив вести друг о друге, не узнали, о ком именно идет речь.

И Флора, и Рональд были тронуты; они стали предлагать мне всевозможные услуги, спрашивали, не нужно ли мне книг, табаку и т. д. Я с радостью принял бы все их предложения прежде, в то время, когда наш подкоп еще не был готов. Теперь же сами по себе эти вещи потеряли для меня значение; заботливость молодых людей казалась мне приятной только потому, что служила доказательством перемены, происшедшей в них, перемены, которую я хотел вызвать.

– Мои дорогие друзья... – заметил я, – вы должны позволить называть вас так человеку, у которого на протяжении многих сотен миль нет других расположенных к нему людей! Итак, друзья мои, может быть, вы найдете, что я сентиментальный фантазер, может быть, вы будете даже правы, но мне хочется прежде всего попросить вас об одном одолжении: вы видите, я заключен на вершине этой скалы, в центре вашего города; при той небольшой свободе, которою я пользуюсь, я вижу отсюда целые мириады крыш, большое пространство моря и земли, и все это мне враждебно! Под каждой из этих крыш живут мои враги; если я замечу столб дыма из трубы, я говорю себе, что там подле топящегося камина, от которого поднимается этот дым, без сомнения, сидит человек, с огромной радостью читающий отчет о наших несчастиях. Простите меня, дорогие друзья, я знаю, что вы, конечно, с тем же чувством читаете газеты, и не ропщу на это. Вы – совсем другое дело! Покажите же мне ваш дом, хотя бы только его трубу или,

если ее нельзя рассмотреть отсюда, хотя бы только квартал города, в котором он стоит! Если вы исполните мою просьбу, я, осматриваясь кругом, буду в состоянии говорить себе: есть дом, в котором обо мне думают не с одним недобрый чувством. Флора помолчала.

– Это премилая мысль, – сказала она, – и что касается Рональда и меня – вы правы. Мне кажется, я могу показать вам дым из нашей трубы.

Говоря это, девушка отвела меня к противоположной, южной части крепости, как раз к бастиону, стоявшему над местом, где проходил наш подкоп. Отсюда мы видели у своих ног несколько предместий, лежавших близ зеленой долины, постепенно поднимавшейся к Пентлэндским горам; на склоне одной из этих гор (бывшей на расстоянии около двух миль от нашего замка) виднелся ряд белых скал. Флора обратила мое внимание на них, сказав:

– Видите ли вы эти утесы? Мы называем их семью сестрами; переведите глаза немного пониже – вы заметите впадину, несколько вершин деревьев, а между ними струйку дыма. Это коттедж Суанстон. Мы с Рональдом живем в нем вместе с нашей теткой. Если вам приятно видеть этот дом, я очень рада. Из угла сада нам тоже виден замок, и по утрам мы часто ходим туда – правда, Рональд? – и вспоминаем о вас, виконт де Сент-Ив, но, к несчастью, это не возбуждает в нас веселости.

– Mademoiselle, – произнес я, и поистине едва был в состоянии справиться своим голосом, – если бы вы знали, что ваши великодушные слова, даже один взгляд на вас отнимают у этого места весь его ужас, то, я верю, я надеюсь, я знаю, вы поразовались бы. Ежедневно стану я приходить сюда, чтобы смотреть на эту милую трубу, на зеленые холмы и от всего сердца благословлять вас; бедный грешник будет молиться за вас. О, я ведь не говорю, что мои мольбы могут что-либо значить!

– Кто знает это, виконт, – нежно проговорила она. – Однако нам, кажется, уже пора идти.

– Давно пора, – произнес Рональд, которого я, говоря по правде, немного позабыл.

Провожая моих гостей, я изо всех сил старался вознаградить юношу за мою забывчивость и силился вычеркнуть из его памяти воспоминание о моих последних чересчур горячих словах. Кто же встретился нам в это время? Майор! Мне пришлось остановиться и отдать ему честь, но он, по-видимому, обратил внимание только на одну фигуру.

– Кто это? – спросила Флора.

– Мой друг, – отвечал я. – Я даю ему уроки французского языка, и он относится ко мне очень хорошо.

– Он смотрел... не скажу дерзко... – проговорила Флора, – но почему он так смотрел на меня?

– Если вам не угодно, чтобы на вас смотрели, mademoiselle, – заметил я, – осмелюсь посоветовать вам носить вуаль.

Флора взглянула на меня; она, по-видимому, немного рассердилась и сказала:

– Повторяю, он смотрел очень пристально.

Рональд же прибавил:

– О, я не думаю, чтобы у него был дурной умысел. Вероятно, он просто удивился, что мы идем с плен... с виконтом де Сент-Ивом.

Когда на следующее утро я пришел к Чевениксу и окончил просмотр его упражнений, он сказал мне:

– У вас прекрасный вкус.

– Прошу извинения, но я не понимаю, – ответил я.

– О, нет, прошу вас извинить меня, вы так же хорошо понимаете мои слова, как я сам, – сказал майор.

Я пробормотал несколько слов о том, что люди часто говорят загадками.

– Что же, вам угодно, чтобы я дал вам ключ к этой загадке? – сказал Чевеникс, откидываясь назад. – С вами была та молодая особа, которую оскорбил Гогела и за которую вы отомстили ему. Я не могу порицать вас. Она – небесное создание.

– Да, вполне небесное, подтверждаю это от всего сердца, – сказал я, – подтверждаю и то, что вы сказали раньше, если вам это приятно! Вы стали до того проникательны, что, конечно, сами знаете, какого мнения держаться.

– Как ее фамилия? – спросил он.

– Вот еще! – ответил я. – Вы полагаете, что она мне сказала ее?

– Уверен в этом, – был ответ.

Я не мог подавить смеха.

– И вы полагаете, что я вам скажу ее имя?

– Ничуть, – ответил майор и прибавил: – Однако будем продолжать урок.

Глава VI

Бегство

Приближалось время нашего бегства, и чем ближе подходил назначенный для него день, тем меньше радовала нас мысль о задуманном деле. Только с одной стороны возможно без затруднения и не подвергаясь опасности уйти из Эдинбургского замка, но так как именно там-то и находятся главные крепостные ворота, стоит караул и проходит главная улица верхнего города, то пленникам не могло даже прийти в голову воспользоваться этим путем для побега. Повсюду, кроме невозможного для нас отлогого спуска, скала стояла отвесной стеной; мы могли попытаться вырваться на свободу только через зиявшую бездну. В течение многих темных ночей все мы работали заодно, принимая огромные предосторожности, чтобы не шуметь; наконец нам удалось сделать ход под кручей около юго-западного угла, в том месте, которое называется «Локоть Дьявола». Я никогда не встречал этой знаменитой личности, и если вся ее фигура походит на этот «локоть», я не имею ни малейшего желания знакомиться с ней. От подножия каменной крепостной постройки отвесно спускалась проклятая стена скалы, а у ее подножия расстилались большие поляны, разбросанные предместья города и строящиеся дома. Я не мог долго смотреть на «Локоть Дьявола», так как при мысли о том, что когда-нибудь в темную ночь мне самому придется спуститься с этой высоты, у меня дух захватывало, и, право, на всякого человека, не матроса и не звонаря, вид ужасной бездны должен был действовать как сильнейшее рвотное.

Не знаю, откуда явилась веревка, да, по правде говоря, я и не особенно старался узнать об этом. Меня занимала другая мысль, а именно: поможет ли она нам вырваться на свободу? Мы измерили ее, но кто мог сказать, достаточно ли она длинна для той высоты, с которой нам предстояло спуститься? Каждый день кто-нибудь из пленников украдкой пробирался к «Локтю Дьявола» и старался определить высоту скалы просто на глаз или бросая вниз камни. Один из исследователей помнил формулу, которая помогает измерять глубину посредством звука, или вернее, он знал часть этой формулы, любезно дополняя пробел своим воображением.

Эта формула не внушала мне доверия. Если бы даже мы ее добыли из книг, то для применения к делу встретили бы такие затруднения, которые, наверно, озадачили бы самого Архимеда. Мы не смели бросать больших глыб, так как гул от их падения мог быть слышен часовым, а шум падения камней, которые кидали мы, плохо дсь стигал до нашего слуха. У нас не было часов, по крайней мере, часов с секундной стрелкой, и хотя каждый из нас говорил, что он отлично знает, сколько длится секунда, но все мы самым различным образом определяли ее продолжительность. Словом, если двое пленников отправлялись на исследования, они неминуемо возвращались с совершенно противоположными мнениями; нередко один из них вдобавок приходил с подбитым глазом. Я смотрел на все это со смехом, но вместе с тем с нетерпением и отвращением. Я не выношу, когда люди действуют небрежно, когда основанием для их поступков служит невежество; мысль о том, что какой-нибудь бедняк, опираясь на самые шаткие данные, рискнет своей жизнью, возмущала меня. Знай я заранее имя этого бедняка, я, вероятно, негодовал бы еще сильнее.

Наконец наступила минута, когда нам осталось только решить, кто из пленников покажет пример остальным. Кинули первый жребий, и он выпал на долю сарая «Б». Мы еще раньше единодушно решили смешать горькое со сладким и постановили, что за человеком, который раньше всех остальных сделает попытку спуститься с «Локтя Дьявола», последуют его товарищи по сараю. Поэтому обитатели барака «Б» были довольны велением судьбы. Мы радовались бы еще гораздо больше, если бы нам не предстояло теперь кинуть жребий между собой, чтобы сделать окончательный выбор.

Мы совершенно не знали ни глубины бездны, ни длины веревки; первому узнику, которому предстояло сделать опасную попытку, приходилось спуститься с утеса вышиной от пятидесяти до семидесяти сажень в глухую ночь по висячей веревке, не придерживаемой внизу хотя бы слабой детской рукой, и потому, может быть, нас следовало бы извинить за маленькую нерешительность. Однако, говоря правду, эта нерешительность доходила до крайности. Мы просто-напросто всегда теряли мужество, превращались в настоящих женщин, когда дело касалось горных высот и обрывов; я сам не раз робел в случаях, бывших гораздо более ничтожными, нежели спуск со скалы Эдинбургского замка.

Мы толковали, спорили в темноте ночи в промежутках между обходами караульных отрядов, и вряд ли какая-нибудь корпорация людей выказывала когда-либо меньшую склонность к приключениям. Я уверен, что многие сожалели о Гогеле; я первый. Некоторые уверяли, что спуск со скалы не представляет ни малейшей опасности, с жаром доказывали это, тем не менее каждый предпочитал, чтобы не он, а кто-нибудь иной первым отважился на опасное предприятие; другие называли безумием саму мысль о спуске с «Локтя Дьявола»; в этом смысле с особенным жаром выступал один флотский матрос; никто больше него не был в состоянии приводить всех нас в полное уныние. Он твердил нам, что скала Эдинбургского замка выше величайшей корабельной мачты, что канат будет висеть совершенно свободно, словом, ясно давал понять, что он сомневается, чтобы самый сильный и смелый из пленников мог счастливо достигнуть подножия утеса. Наконец драгунский вахмистр вывел нас из нашего смертельного затруднения.

– Товарищи, – сказал он, – я старше всех вас по чину, поэтому если вы пожелаете, чтобы я спустился первым, я согласен. Однако вы должны принять в расчет, что я имел бы право идти и последним. Я уже не молод, в прошедшем месяце мне минуло шестьдесят лет; живя в плену, я отяжелел, руки мои заплыли жиром. Вы должны обещать, что не будете бранить меня, если я упаду и таким образом отправлю к черту все дело.

– Мы и слышать не должны ни о чем подобном, – сказал я. – Monsieur Лекле старше всех нас, и потому ему последнему следовало бы предложить такую вещь. Ясно, что мы должны бросить жребий.

– Нет, – проговорил Лекле, – вы внушили мне совсем другую мысль! Один из присутствующих обязан чувствовать ко всем остальным благодарность за то, что они сохранили его тайну. Вдобавок, все мы только мужики, он же иное дело. Пусть Шамдивер, пусть дворянин идет впереди всех.

Сознаюсь, что дворянин, о котором шла речь, подал свой голос после довольно длинной паузы. Однако выбора не оставалось. Когда я только что поступил в полк, то был так неблагодарен, что кичился своим дворянским происхождением. Нередко солдаты смеялись за это надо мной и даже стали называть меня монсеньором или маркизом. Теперь мне было необходимо оправдаться в их глазах и с достоинством отплатить за насмешки.

Моего маленького колебания никто не заметил: на мое счастье, как раз в это время мимо проходил патруль. В течение наступившей тишины произошло нечто, заставившее всю кровь мою закипеть. В нашем сарае жил солдат по имени Клозель, человек с очень дурными наклонностями, злой; он был одним из подражателей Гогелы, но тот обладал своего рода чудовищной веселостью, а этот отличался суровым, сумрачным характером. Иногда его называли генералом, было у него и другое прозвище, но такое, которого я не решаюсь повторить.

Мы сидели прислушиваясь; вдруг рука этого человека опустилась на мое плечо, и его голос прошептал мне на ухо: «Если вы не пойдете, маркиз, я повешу вас!».

Как только патруль ушел, я заговорил:

– Конечно, господа, я поведу всех вас с величайшим удовольствием, но прежде всего необходимо наказать одну собаку. Клозель сию минуту оскорбил меня и покрыл позором французскую армию, и я требую, чтобы его прогнали через строй наших товарищей по сараю.

Все в один голос спросили, что сделал Клозель, а когда я рассказал, в чем было дело, товарищи опять-таки единогласно решили, что виновный заслужил предложенное мной наказание; поэтому с «генералом» обошлись очень сурово. На следующий день все встречавшиеся с ним поздравляли его с новыми орденами. На наше счастье, Клозель был одним из первых, задумавших побег, в противном случае он, конечно, оплатил бы нам, сделав на нас донос. Ко мне Клозель, судя по его взглядам, питал нечеловеческую ненависть, и я решил впоследствии доказать ему, что он имел право ненавидеть меня.

Если бы мне сейчас же пришлось спуститься со скалы, я уверен, что выполнил бы эту задачу хорошо. Но делать попытку было уже поздно, близился рассвет, да к тому же следовало оповестить остальных пленников. Мукам ожидания было суждено окончиться для меня не так-то скоро; на следующие две ночи небо украшали мириады звезд; глаз мог различить каждую кравшуюся кошку на расстоянии мили. Советую вам, читая рассказ об этом промежутке времени, относиться к виконту Сент-Иву с симпатией. Все говорили со мной нежно, точно стоя у постели больного. Наш итальянский капрал, получив от жены рыбака дюжину устриц, положил их все к моим ногам, точно я был языческим идолом. С тех пор при виде раковин мне всегда бывает как-то не по себе. Лучший резчик принес мне только что отделанную табакерку; когда она еще не была готова, он часто повторял, что не согласится отдать ее меньше нежели за пятнадцать долларов; мне кажется, что эта вещица и действительно стоила таких денег. Между тем, когда я поблагодарил товарища за его подарок, голос не повиновался мне. Словом, меня кормили, точно пленника в стане людоедов, мне воздавались почести, как жертвенному тельцу! Эти надоедливые услуги и неизбежность той опасности, на которую я должен был отважиться, – все вместе заставляло меня находить, что на мою долю выпала тяжелая и трудная роль.

Я почувствовал большое облегчение, когда наступил третий вечер и все окрестности окутаны густой пеленой морского тумана; фонари Принцевой улицы то совершенно пропадали, то мерцали не ярче кошачьих глаз. Шагах в пяти от фонаря укрепления было уже совершенно темно. Мы поспешили лечь. Если бы тюремщики наблюдали за нами, они заметили бы, что мы смолкли необычайно рано. Однако, вряд ли кто-нибудь из пленников спал. Каждый лежал на своем месте, переживая в одно и то же время и сладость надежды на освобождение, и муку страха позорной смерти. Пронесся крик караульных; городской шум постепенно затихал. Сторожья выкрикивали часы. Часто во время моего пребывания в Англии прислушивался я к гулу этих отрывочных голосов; иногда я в бессонную ночь подходил к окну и смотрел, как старик в фуражке и большом воротнике, с кортиком и трещеткой, ковылял вдоль улицы. При этом мне всегда приходило в голову, что его крик возбудил бы совершенно различные чувства, прозвучав в комнате влюбленных, перед смертным ложем или в камере осужденного. Можно сказать, что в ночь перед побегом я слышал эти восклицания в камере осужденного. Наконец голос сторожьи, похожий на бычий рев, прокричал:

– Час и темное сумрачное утро!

Мы все молча вскочили.

Я осторожно прокрался к крепостным зубцам (чуть было не написал к виселице!). Вахмистр, вероятно, боявшийся, чтобы я не переменял намерения, не отходил от меня и времянами шептал мне на ухо самые невозможные и нелепые успокоения. Наконец это стало для меня совершенно невыносимо.

– Оставьте меня в покое, пожалуйста, – сказал я. – Я не трус и не дурак. Ну откуда вы можете знать, что канат достаточно длинен? Вот я действительно узнаю это через десять минут.

Добродушный старик усмехнулся про себя и похлопал меня по спине.

Конечно, наедине с другом я мог выказать некоторое раздражение, но при всех товарищах должен был держаться самым спокойным и гордым образом. Когда мне пришлось выступить на сцену, я, кажется, великолепно сыграл свою роль.

– Ну, господа, – произнес я, – готова ли веревка – вот преступник.

Мы открыли подкоп, вбили кол, размотали веревку; я двинулся вперед, многие из товарищей хватили мою руку и пожимали ее; по правде говоря, я с удовольствием обошелся бы без этого выражения внимания.

– Приглядывайте за Клозелем, – шепнул я Лекло и пополз вниз на четвереньках, а затем взял в обе руки веревку и стал ногами вперед передвигаться через наш маленький туннель. Когда я почувствовал, что под моими ногами нет опоры, сердце у меня замерло; через секунду я уже болтался в воздухе, точно паяц. Я никогда не отличался особенным благочестием, но в это мгновение стал невольно шептать молитвы; тело мое покрылось холодным потом.

Вдоль всей веревки были сделаны узлы на расстоянии восьмидесяти дюймов один от другого, и неопытному человеку может показаться, что подобный спуск с высоты дело довольно легкое. Хуже всего было то, что я имел право подумать, будто веревка живое существо, и добавок существо, питающее ко мне особенную непримиримую ненависть. Она крутилась в одну сторону, останавливалась на мгновение и затем начинала вертеть меня в другую, точно вертел; она выскальзывала из-под ног как угорь, так что мне все время приходилось делать громадное усилие, чтобы держаться; временами раскачивавшаяся веревка ударяла меня о стену утеса; мне некогда было смотреть по сторонам, но даже напрягая зрение, вряд ли я увидел бы что-либо, кроме темноты. Вероятно, я временами останавливался, чтобы перевести дух, но делал это совершенно бессознательно. Все силы моего ума были до того сосредоточены на том, чтобы разжимать руку и затем снова хватать ею веревку, что я едва ли мог бы сказать, лезу я вверх или спускаюсь.

Вдруг я так сильно ударился об утес, что почти потерял сознание; когда ко мне вернулись силы, я с удивлением заметил, что почти лежу на скале, которая в этом месте спускалась не отвесной стеной, а под углом, и потому могла сильно поддерживать меня; одной ногой я прочно опирался на маленький выступ. Редко вздыхал я с таким наслаждением, как в эту минуту; я обхватил веревку и закрыл глаза, чувствуя восхитительное успокоение. Вскоре мне вздумалось удостовериться, какую часть моего ужасного пути я проделал. Я посмотрел вверх, там чернела только тьма тумана; я осторожно нагнулся вниз. В глубине на темном фоне мерцали тусклые огоньки; одни из них тянулись двойными линиями, точно вдоль улиц, другие были разбросаны и, очевидно, горели в отдельных домах. Я не понял, какое расстояние отделяло меня от земли, но сразу почувствовал тошноту и головокружение, и это заставило меня снова откинуться назад и закрыть глаза. Мне хотелось только одного, а именно: думать о чем-нибудь другом. Странно, мне это удалось; вдруг с моего сознания как бы спала завеса, и я увидел, каким безумцем был я, какими безумцами были все мы, я понял, что меня могли просто спустить со скалы на веревке, обвязанной вокруг моего тела, что мне совсем не представлялось необходимости слезать на руках, качаясь между небом и землей. И до этого мгновения я не сообразил такой простой вещи!

Я втянул воздух в легкие, крепко сжал веревку и снова пустился в путь. Главные опасности уже миновали, и мне не пришлось больше выносить сильных потрясений. Вскоре я, вероятно, миновал кусты пахучих левкоев, потому что меня охватило благоухание этих цветов, производя то ощущение особенной реальности запаха, какое вообще возбуждают в темноте ароматы, первым местом, которое я заметил, был выступ в скале, вторым – этот куст цветов. Я принялся вычислять промежутки времени: столько-то до выступа, столько-то до левкоев и ниже. Если я не был близок к подножию скалы, то, по моим расчетам, веревки оставалось уже очень немного; я чувствовал, что и силы мои подходят к концу. Меня охватывало желание бросить веревку, так как временами мне казалось, что я уже близок к земле и могу вполне безопасно соскочить вниз; временами же я представлял себе, что еще не успел достаточно спуститься, что поэтому мне не стоит продолжать даром тратить силы. Вдруг я дотронулся ногами до плоской земли и чуть не зарыдал в голос. С рук у меня сошла кожа, мужество мое истощи-

лось, и вследствие долгого напряжения и внезапной реакции все члены мои дрожали сильнее, нежели в припадке озноба, так что я с радостью снова ухватился за веревку.

Но мне не следовало поддаваться волнению: только благодаря милости Божией я счастливо спустился из крепости; теперь мне оставалось постараться помочь остальным моим товарищам. В моих руках было еще более сажени веревки; я стал смотреть, к чему бы привязать ее, но на неровной каменистой почве не росло ни одного растения, хотя бы куста дрока.

«Ну, – подумал я, – теперь начинается второе испытание, и, мне кажется, оно будет серьезнее первого. У меня не хватит силы натянуть веревку. Если же я не буду крепко держать ее, следующий из беглецов полетит в бездну. Вряд ли ему повезет так же, как мне. Я не вижу причины, которая помешала бы ему упасть, свалиться же он может только на одно место – мне на голову».

Туман несколько рассеялся, и, глядя вверх, я видел свет в одном из сараев; это дало мне возможность понять, с какой высоты упадет беглец и с какой ужасной силой он ударится об меня. Хуже всего было то, что мы согласились действовать без сигналов. Каждую минуту, сверяясь с часами Лекло, следующий пленник мог начать спускаться. Мне казалось, что я употребил около получаса на мое трудное путешествие, столько же времени, по моим расчетам, я простоял и внизу, натягивая веревку для моего товарища. Мне стало уже страшно – не открылся ли наш заговор, не захватили ли всех остальных? В голове проносилась мысль, что в этом случае я напрасно прожду всю ночь, прицепившись к веревке, точно рыба к крючку лесы, что утром меня найдут в этой нелепой позе. Смешная картина заставила меня невольно засмеяться. Вдруг веревка дрогнула, и я понял, что кто-то из пленников, выскользнув из туннеля, начал спускаться. Оказалось, что Готье (так звали моряка) заставил пустить его вслед за мною. Как только продолжительная тишина внушила ему уверенность в том, что веревка достаточно длинна, матрос позабыл все прежние доказательства, опередил всех других, и Лекло пустил его. Такой образ действий вполне согласовывался с характером этого человека, главный недостаток которого состоял в каком-то инстинктивном себялюбии. Однако ему пришлось довольно дорого поплатиться за то, что он получил позволение спуститься вторым: несмотря на все мои усилия, я не был в состоянии крепко держать веревку, и в конце концов Готье свалился на меня с высоты нескольких ярдов. Мы оба упали на землю. Как только моряк опомнился, он осыпал меня невероятными проклятиями и заплакал, чувствуя, что сломал себе палец, потом снова принялся браниться. Я попросил его замолчать и пристыдил, говоря, что позорно взрослому ныть как ребенку. Неужели он не слышит, что там вверху идет патруль? – спросил я его, прибавив, что шум от его падения, конечно, мог быть услышан. – Кто знает, не прислушиваются ли часовые ко всем звукам, не наклоняются ли они с зубцов в эту самую минуту, напрягая слух, – в заключение проговорил я.

Между тем патруль ушел, бегство не открылось; третий пленник спустился без труда; для четвертого это путешествие по веревке было, конечно, детской забавой; раньше, нежели внизу очутилось с десятков моих товарищей, я решил, что могу заняться собою, не нанося им ни малейшего ущерба.

Я знал их план. У них в руках была карта и альманах; они думали добраться до Грэнг-моута, где хотели украсть корабль. Даже предположив, что кража удастся, я не мог себе представить, как мои товарищи стали бы управляться с кораблем. Вообще они полагались на случайность, и только нетерпение пленников и невежество рядовых солдат могли вселять в них надежду на осуществление их невозможной затеи. Хотя раньше я относительно пленников вел себя по-товарищески, усердно делал подкоп, но благодаря всему, что передал мне адвокат, решил, спустившись со скалы, отделиться от них. Теперь я ничем не мог помочь им, как прежде, не был в состоянии заставить их слушаться моих советов. Итак, я ушел молча, не прощаясь ни с кем. Говоря правду, мне хотелось пожать руку Лекло, но силуэт последнего из спустившихся пленников сильно напоминал фигуру Клозеля, а со времени того, что произошло в

бараке, я совершенно не доверял ему, предполагая, что этот человек не остановится ни перед какой низостью; впоследствии оказалось, что я не ошибся.

Глава VII

Коттедж Суанстон

У меня было два желания. Прежде всего, мне, конечно, хотелось отдалиться от Эдинбургского замка, от самого города, не говоря уже о моих товарищах по заключению. Во-вторых, я намеревался всю ночь идти по направлению к югу и утром быть подле Суанстонского коттеджа. Я даже не предполагал, что стану делать, очутившись у дома моих друзей, и не особенно задумывался над этим вопросом, так как всю жизнь питал глубокое почтение к боже-ствам, называемым «случайностью» и «обстоятельствами». Если возможно, подготавливайте все заранее, в тех же случаях, когда это немисливо, идите напролом, смотрите в оба и держите язык за зубами. Если человек обладает рассудком и недурной внешностью, дело в шляпе! Сперва мое путешествие было полно мелких приключений: я нечаянно заходил в сады, натыкался на дома и однажды имел несчастье разбудить целое семейство; человек, по моим предположениям бывший главой дома, даже высунулся из окна с мушкетом в руках.

Хотя я уже довольно давно расстался с моими товарищами, однако еще не успел уйти далеко от нашей тюрьмы. Вдруг мне стало ясно, что с беглецами произошло несчастье. В тишине ночи пронесся страшный вопль, вслед за тем послышался шум падения чего-то, и сейчас же со стены замка раздался мушкетный выстрел. Было страшно слышать, как в городе распространяется тревога. В крепости прозвучал барабанный бой, медленный звон колокола. Со всех сторон загрели трещотки сторожей. Даже в безлюдном квартале, по которому я блуждал, в домах зажигали огни и стали распахивать рамы; я слышал, как жившие поблизости одна от другой семьи через окна переговаривались между собой. Наконец окликнули и меня.

– Кто там? – крикнул громкий голос.

Я мог рассмотреть, что со мной говорил высунувшийся из окна крупный человек в большом ночном колпаке; так как я еще не успел отойти от его дома, то решил, что будет умнее ему ответить. Не в первый раз моя судьба зависела от правильности английского произношения, и всегда опасность меня вдохновляла, как вдохновляет завязтого игрока. Я набросил на себя нечто вроде пальто, сделанного из моего одеяла, с целью скрыть желтое одеяние и ответил:

– Друг!

– Из-за чего поднялась вся эта травля? – спросил меня мой собеседник, употребив незнакомое мне английское выражение для обозначения понятия о травле; однако, слыша шум в городе, я отлично понял, о чем спрашивает он.

– Право, не знаю, сэр, – проговорил я, – но предполагаю, что пленники бежали.

– Проклятые! – проговорил он.

– О, сэр, их скоро поймают, – возразил я, – побег заметили вовремя. Доброго утра, сэр!

– Однако вы прогуливаетесь поздно, – сказал мой собеседник.

– О, нет, сэр, – проговорил я со смехом, – скорее рано.

Мой ответ успокоил его, и я снова двинулся в путь, восхищаясь своим успехом.

Насколько я мог судить об этом, я шел именно в желаемом мною направлении. Скоро мне пришлось очутиться на улице, вдали которой раздавался звук трещотки сторожа; как мне кажется, в домах, стоявших справа и слева, была раскрыта шестая часть окон; люди во всевозможных ночных костюмах разговаривали между собой с трагическим видом. Тут мне снова пришлось пройти сквозь строй множества вопросов и все время слышать трещотку, которая звучала все ближе и ближе, но так как я шел необычайно скоро, так как я говорил, как человек хорошего круга, а фонари светили настолько тускло, что рассмотреть мое платье было нельзя, я еще раз счастливо избежал опасности. Один человек, правда, спросил меня, куда я иду в такое время, но я дал ему неопределенный, беспечный ответ, который, по-видимому, удовлетворил

его. В ту минуту, когда наконец мне удалось свернуть с этой опасной улицы, я заметил, что в противоположном ее конце появился фонарь ночного сторожа. Теперь я был в безопасности на темной большой дороге, вдали от фонарей, вдали от возможности встретить ночного сторожа. Однако не успел я пройти по шоссе и сотни ярдов, как со стороны на меня бросился какой-то человек. Я отскочил от него и остановился настороже, проклиная судьбу за то, что в руках у меня не было никакого оружия, и раздумывая, с кем я имею дело, с офицером или с ночным бродягой. Кого из двух я встретил бы охотнее – мне было трудно решить. Мой противник молча стоял передо мной; несмотря на густую темноту, я видел, что он слегка покачивался, наклонялся, точно придумывая, как бы повыгоднее напасть на меня. Наконец он сказал:

– Добрый друг (услышав эти слова, я насторожил уши), добрый друг, не сообщите ли вы мне одного маленького сведения, необходимого для меня? А именно: какая дорога ведет в Крэмонд?

Я засмеялся громко и весело, подошел к гуляке, взял его за плечи и, взглянув ему прямо в лицо, проговорил:

– Друг мой, мне кажется, я лучше вас самих знаю, что вам нужнее всего. Прости вас Господь за то, что вы напугали меня. Идите-ка в Эдинбург!

Я толкнул моего собеседника, и он пошел по указанному мной направлению с пассивной быстротой брошенного мячика. Скоро незнакомец исчез в темноте, идя туда, откуда я сам только что пришел.

Отделавшись от этого глупца, я продолжал свой путь, поднялся на отлогий холм, спустился в деревню, бывшую с другой его стороны, и наконец очутился на подъеме к Пентлэндам, недалеко от цели моего ночного странствия. Туман поредел; по мере того, как я поднимался, меня обступала все более и более светлая, звездная ночь; я ясно видел перед собой вершины Пентлэндских гор, за мною лежала долина форта и города, в котором я недавно томился в плену; пелена тумана окутывала их. На склоне горы я встретил только фермерскую повозку; стук ее колес донесся ко мне издали, становясь все громче и громче; тележка проехала мимо меня, когда только начал брезжить рассвет; она мелькнула, точно сонное видение, две фигуры, сидевшие в повозке, покачивались в такт рыси лошади; мне кажется, эти люди спали; судя по тому, что я рассмотрел шаль, покрывавшую голову и плечи одной из фигур, я понял, что это была женщина. Вскоре стало заметно светлее, туман отступал и клубами уходил вниз. Восток засиял, украсился светлыми полосами; замок, скала, шпили башен и трубы верхнего города мало-помалу выступали из мглы, поднимаясь как острова из постепенно отступавшего от них облака. Вокруг меня расстилалась лесистая местность, дорога, извиваясь, шла вверх, прохожих не было видно ни души, птицы чирикали, как мне казалось, чтобы согреться; ветви деревьев ударялись одна о другую, ветер срывал с них красные листья.

Совсем рассвело, но солнце еще не встало и было очень холодно, когда я увидел цель моего странствия. Из-за выступа холма виднелась только остроконечная крыша и труба Суанстонского коттеджа. Недалеко от него, немного повыше, стояла старая, выбеленная известкой большая ферма, окруженная деревьями; мимо нее каскадом падал ручей, дальше поднимались крутые горы, покрытые пастбищами. Я подумал о том, что пастухи встают очень рано, что кто-нибудь из них мог увидеть меня здесь, а тогда все мои проекты рушились бы, поэтому я воспользовался прикрытием высокой живой изгороди и, скрываясь в ее тени, прокрался до стены сада моих друзей. Спокойный старинный коттедж с первого взгляда казался беспорядочным собранием множества вышек и серых крыш. Он походил на крошечный полуразрушенный собор: от его главной двухэтажной части, увенчанной высокой крышей, во все стороны шли низкие пристройки, которые можно было принять за жилище капитула, за часовни, за церковные переходы. Сходство с собором дополнялось тем, что на доме красовались довольно безвкусные лепные украшения, вероятно, похищенные из какой-нибудь средневековой церкви. Вся усадьба словно притаилась, она не только пряталась между деревьями, но с той стороны, с

которой я подходил, ее еще закрывал выступ холма. Вдоль садовой стены росли высокие вязы и буки; первые были совершенно обнажены, на вторых же еще трепетало множество красных листьев; центр сада зарос чащей из лавров и остролистников, в их густой листве были проделаны арки, между растениями вились дорожки.

Я пришел к дому моих друзей, но от этого мне не стало легче. По-видимому, весь коттедж еще спал. Если бы я постучался, никто не поручился бы, что ко мне не вышла бы тетка с золотым лорнетом (а я без дрожи не мог думать об этой старухе!) или какая-нибудь ослица-служанка, которая при виде меня подняла бы крик. Выше на горе пастух, взбираясь на крутой склон, кликал своих собак, и я отлично понимал, что мне следовало скрыться как можно скорее. Конечно, чаща остролистников представляла собою хорошее убежище, но на садовой стене висела вывеска, которая была способна навести уныние на самого отважного смельчака, она предупреждала о петардах и людских капканах. Такие объявления не редкость в Великобритании, и впоследствии я узнал, что в трех случаях из четырех надписи эти имеют значение пушек, стоящих на разоруженных батареях. Однако в то время, о котором я рассказываю, это обстоятельство мне не было известно, да и знай я о нем, я все же не мог бы упустить из виду оставшийся шанс на опасность. Я охотнее вернулся бы в Эдинбургский замок, в мой уголок бастиона, нежели согласился бы попасть ногой в стальной капкан или же получить заряд автоматического мушкета. Оставалось надеяться только на одно, а именно на то, что Рональд или Флора раньше остальных обитателей коттеджа выйдут в сад. Чтобы воспользоваться этой случайностью, если она представится, я взобрался на изгородь в том месте, где густые ветви бука прикрывали ее, сел и стал ждать.

Солнце поднималось становилось все теплее и теплее. Я не спал ночь, пережил самые сильные физические и нравственные потрясения, а потому не следует удивляться, что я задремал, хотя это было до крайности неосторожно и глупо. Характерный звук лопаты, стучавшей о землю, разбудил меня; я взглянул вниз и увидел прямо под собою спину садовника, одетого в прочный рабочий жилет. Он то спокойно занимался своим делом, то, приводя меня в неописуемый ужас, выпрямлялся, потягивался, оглядывал сад, в котором, кроме него, никого не было, и брал большую понюшку табака. Моим первым побуждением было соскочить со стены не в сад, а на дорогу, но я сейчас же понял, что даже путь, по которому я прошел, отрезан для меня, так как на соседнюю поляну вышли стада овец, которых пасли помощники главного пастуха. Я уже говорил, на какие талисманы обыкновенно полагался, но в этом случае оба они были бессильны. Верхняя часть стены, покрытая осколками бутылок, место, не особенно подходящее для кафедры, и будь я красноречив как Пиит и очарователен как Ришелье – ни садовник, ни мальчишки-пастухи не обратили бы на мою речь ни малейшего внимания. Словом, я не мог придумать выхода из моего нелепого положения; мне оставалось только сидеть на стене и ждать, чтобы кто-нибудь из моих соседей взглянул вверх и забил тревогу.

Та часть стены, на которую я попал (в наказание за мои грехи), поднималась по меньшей мере на двенадцать футов над почвой сада; листья бука, прикрывавшего меня ветвями, были редки; это имело свою опасную сторону, но вместе с тем давало мне возможность видеть часть дорожек и (через арку плюща) зеленую площадку перед коттеджем, а дальше окна самого дома. Некоторое время никто не показывался в саду, кроме моего друга с заступом, потом я услышал звук растворившейся двери и вскоре увидел мисс Флору, одетую в утреннюю блузу. Она шла по дорожке, останавливаясь посмотреть на цветы, сама такая же прелестная, как они. Это был друг, подо мной же находилась неизвестная величина – садовник. Как дать о себе знать другу, не привлекая внимания садовника? Нечего было и думать о том, чтобы зашуметь. Едва смея дышать, я приготовился сделать движение рукой в то мгновение, когда молодая девушка взглянет в мою сторону, но мисс Флора смотрела всюду, кроме стены. Ее занимал самый жалкий кустик мокрицы, она любовалась вершинами гор, она, стоя почти у моих ног, говорила с садовником о самых скучных предметах, но ни разу ее глаза не устремились на верхушку

стены. Наконец она повернулась и пошла к дому, это привело меня в полное отчаяние, и я, отломив кусочек штукатурки, нацелился, бросил его и попал ей в шею. Молодая девушка схватилась рукой за слегка ушибленное место и стала осматриваться, как бы желая объяснить себе то, что произошло. Я нарочно раздвинул ветки, чтобы ей было легче заметить мою фигуру. Флора действительно увидела меня, слегка вскрикнула от удивления, но сейчас же подавила это восклицание.

Проклятый садовник выпрямился, сказав:

– Что с вами, мисс?

Присутствие духа молодой девушки поразило меня. Флора уже смотрела в противоположную от меня сторону.

– В артишоках какой-то ребенок, – сказала она.

– Казнь египетская! Я им задам! – свирепо крикнул садовник, и тотчас заковылял и исчез среди вечно зеленых листьев.

Тогда Флора повернулась и подбежала ко мне, протянув руки. На мгновение ее лицо вспыхнуло небесным румянцем, потом покрылось смертельной бледностью.

– Виконт де Сент-Ив! – произнесла она.

– Я знаю, что это страшная дерзость, – проговорил я, – но что же мне оставалось делать?

– Вы освободились? – спросила Флора.

– Да, если это можно назвать освобождением, – возразил я.

– Вам невозможно оставаться здесь! – воскликнула она.

– Я знаю, но куда же я пойду?

Флора сжала руки.

– Придумала! – произнесла молодая девушка. – Спуститесь по стволу бука, не следует, чтобы на стене остался ваш след. Скорее, скорее, до возвращения Роби. Я смотрю за курами, у меня ключ, вы должны спрятаться в курятнике.

Я сейчас же очутился рядом с ней. Мы оба быстро оглядели окна коттеджа и те садовые дорожки, которые были видны нам; никто не наблюдал за нами. Флора схватила меня за рукав и побежала. Нам некогда было обмениваться любезностями, необходимость спешить подгоняла нас. Мы бежали к ближайшему уголку сада; там в купе деревьев виднелся маленький двор, обнесенный проволочной решеткой, и сколоченный из досок домик. Я понял, что туда-то Флора и думала спрятать меня. Молодая девушка, не говоря ни слова, втолкнула меня в курятник; птицы бросились в разные стороны. Через мгновение я уже был заперт с полудюжиной кур. В полусумраке дощатого сарая наседки сурово смотрели на меня, точно попрекая за страшный проступок. Без сомнения, в курах есть что-то пуританское, хотя в их поведении я не вижу ничего более праведного, нежели в поступках их соседей. Но подите, поймите английскую наседку!

Глава VIII

Курятник

По крайней мере, полчаса провел я в обществе этих обескураживающих двуногих; я был один со своими размышлениями и страданиями. Мои ободренные руки сильно болели, и я не мог ничего сделать, чтобы уменьшить боль; мне хотелось есть и пить, но мне неоткуда было ждать еды или питья. Я страшно устал и не находил, куда бы сесть. Конечно, я мог бы опуститься на пол, однако, это казалось мне отвратительным. Послышались шаги, и настроение мое исправилось. Ключ заскрипел в замке, и в курятнике показался мастер Рональд; он запер за собой дверь и прислонился к ней спиной.

– Ну, признаюсь! – проговорил мальчик и с мрачным видом покачал головой.

– Я знаю, что это дерзость, – произнес я.

– Адская неприятность, – ответил Рональд. – Я поставлен в крайне затруднительное положение.

– А что вы скажете о *моем* положении? – спросил я.

По-видимому, мой вопрос совершенно смутил мальчика. Рональд смотрел на меня с тем выражением, которое служит характерной чертой юности и невинности. Мне хотелось засмеяться, но я не был бесчеловечен до такой степени.

– Я в вашей власти, – произнес я, делая легкое движение рукой. – Поступите со мной так, как сочтете справедливым.

– Да! – воскликнул Рональд. – Если бы я знал, что нужно делать!

– Видите ли, если бы вы получили чин офицера, вопрос стоял бы иначе. Собственно говоря, вы еще не сражающийся человек, а я перестал быть воином, потому мне кажется, что теоретически мы находимся в положении двух частных людей, а в этом случае дружба всегда берет перевес над законом. Помните, это только теоретическое замечание. Бога ради, не подумайте, что я хочу навязать вам свое мнение. С войной связано множество неприятных мелких вопросов, которые каждый порядочный человек должен решать по своему собственному разумению. Если бы я был на вашем месте...

– Ну, что сделали бы вы тогда?

– Честное слово – не знаю, – проговорил я. – Вероятно, колебался бы так же, как вы.

– Вот что я скажу вам, – снова произнес мальчик. – У меня есть один родственник, и меня заботит мысль о том, что бы он сказал. Это генерал Грэгем из Лайнедоча, сэр Томас Грэгем. Я мало знаком с генералом, но преклоняюсь перед ним, мне кажется, больше, чем перед Господом Богом.

– Я сам восхищаюсь им, – заметил я. – Да, у меня есть достаточная причина глубоко чтить его. Я дрался с ним, был побежден и бежал. *Veni, victus sum, evasi.*

– Как? – воскликнул Рональд. – Вы были при Бароссе?

– Был там и вернулся, а это немногие могут сказать. Славное было дело, жаркое; испанцы вели себя отвратительно, как всегда в открытом поле. Маршал герцог Беллуно выглядел дураком, и не в первый раз; на долю вашего друга, сэра Томаса, выпал наилучший жребий, если только можно говорить о лучшем жребии в данном случае. Он храбрый, владеющий быстрой сообразительностью офицер.

– Ну, так вы меня поймете, – проговорил мальчик. – Мне хочется нравиться сэру Томасу. Как поступил бы он на моем месте?

– Слушайте, я вам расскажу об одном истинном происшествии; оно случилось как раз во время боя при Чиклане, или, как вы называете, при Бароссе. Я был в восьмом линейном полку, мы потеряли знамя первого батальона, наиболее пострадавшего, но это вам дорого обошлось.

Не стоит даже считать, сколько натисков отразили мы. Наконец ваш 87 полк стал подступать очень тихо, но и очень уверенно; перед солдатами ехал седовласый офицер, он держал шляпу в руках и спокойным голосом отдавал приказания своим батальонам. Наш майор, Виго-Руссильон, прищипорил лошадь и поскакал вперед, чтобы ударом сабли убить командира, но, увидав перед собой очень красивого старика, разговаривавшего так спокойно, точно он сидел в кафе, майор не решился поразить его, повернул лошадь и ускакал обратно. Вы понимаете, что в течение одного мгновения они были очень близко друг от друга и заглянули один другому в глаза. Вскоре после этого майора ранили, взяли в плен и перевезли в Кадис. В один прекрасный день Виго-Руссильону передают, что сэр Томас Грэгем желает его видеть. Генерал берет майора за руку и говорит: «Кажется, раз на поле битвы мы стояли лицом к лицу!». Это был тот седовласый командир!

– А! – воскликнул мальчик с пылающими глазами.

– И вот что самое важное, – продолжал я, – с этого дня сэр Томас начал посылать майору обед в шесть блюд с собственного своего стола.

– Это прекрасно! Прекрасная история! – заметил Рональд. – Между тем тут дело не совсем такого рода.

– Охотно соглашаюсь, – сказал я.

Мальчик глубоко задумался.

– Ну, я возьму это на мою ответственность! – вскрикнул он. – Может быть, я совершаю государственную измену (а за такое преступление, помнится, полагается позорное наказание), но будь я повешен, если у меня повернется язык выдать вас.

Я был тронут не меньше Рональда.

– Право, мне почти хочется попросить вас выдать меня, – сказал я. – Я поступил дурно, нечестно, придя к вам. Вы – благородный враг и будете благородным солдатом.

В моей голове блеснула очень счастливая мысль: оказать любезность воинственному юноше; я вытянулся и отдал ему честь по-военному.

Рональд смутился, лицо его вспыхнуло.

– Ну, хорошо, я пойду принесу вам чего-нибудь поесть, только не ждите шести блюд. – Он улыбнулся. – Я принесу то, что мы достанем контрабандой. Видите ли, тетушка мешает нам.

Юноша ушел и снова запер меня с негодующими курами.

Вспоминая об этом мальчике я всегда улыбаюсь, но узнав, что и читатель тоже улыбнулся, я почувствую стыд. Если мой сын будет походить на Рональда в его лета, я сочту это счастьем для себя и несчастьем для Франции.

Однако когда вместо Рональда вошла его сестра, я не опечалился. Флора принесла мне несколько корочек хлеба и кувшин молока, которое она превкусно приправила виски по шотландскому обычаю.

– Мне жаль, – сказала молодая девушка, – что я не могу предложить вам ничего другого, но я боялась распорядиться иначе. Нас немного, и тетя строго смотрит за прислугой. Я налила в молоко немножко виски – так оно полезнее; если к этому прибавить несколько яиц, то образуется нечто вроде кушанья. Сколько яиц нужно вам к молоку? Остальные мне придется отнести к тетке, под этим предлогом я и пришла сюда. Я думаю оставить вам три или четыре яйца. Сумеете вы сбить их в молоке или хотите, чтобы я сделала это за вас?

Желая задержать Флору на несколько лишних минут, я показал ей свои окровавленные ладони. При виде их девушка громко заплакала.

– Моя дорогая мисс Флора, вам не удалось бы сделать яичницы, не разбивая яиц, – сказал я, – а убежать из Эдинбургского замка не безделица! Один из наших, думается мне, убит.

– Да и вы-то бледны как полотно, – произнесла Флора, – и еле держитесь на ногах. Я постелю мою шаль в уголке; сидите, я же соблю яйца. Посмотрите, я принесла и вилку. Правда, я сумела бы заботиться об якобитах или ковенантерах в старые времена! Сегодня вечером у вас

будет кушанье получше: Рональд принесет из города все необходимое. У нас достаточно денег, хотя мы и не можем распорядиться съестными припасами. Ах, если бы домом управляли мы с Рональдом, вам не пришлось бы ночевать в этом сарае! Брат так восхищается вами.

– Дорогой друг, – проговорил я, – не отягощайте меня еще новой милостью! Я с восторгом принимал ее из этой руки, когда она была мне необходима, но теперь я не нуждаюсь в подавании. Если я и терплю недостатки в чем-либо, а мне недостает очень многого, то уж, конечно, не в деньгах.

Я вынул связку банковских билетов и взял бумажку, лежавшую сверху; это был чек на десять фунтов, подписанный знаменитой личностью – Абрагамом Ньюлэндсом.

– Сделайте мне одолжение, которое я сделал бы для вашего брата, если бы мы с ним поменялись ролями, возьмите эти деньги на расходы. Мне понадобится не только пища, но и платье.

– Положите деньги на пол, – сказала она. – Я не могу перестать бить яйца.

– Вы не обиделись? – вскрикнул я.

Она ответила мне взглядом, который сам по себе был наградой и, по-видимому, сулил мне самые небесные надежды на будущее. В нем крылась тень упрека и столько откровенной задушевности, что я не был в силах выговорить ни слова. Я только смотрел на Флору, пока она приготавливала молоко.

– Ну, – сказала молодая девушка, – теперь попробуйте-ка это.

Я отведал приготовленное ею кушанье и поклялся, что оно вкусно, как нектар. Флора собрала яйца и присела передо мною, чтобы посмотреть, как я ем. В эту минуту в красивой высокой девушке было что-то материнское, восхищавшее меня. Я до сих пор удивляюсь своей сдержанности.

– Какого рода платье вы желаете иметь? – спросила Флора.

– Приличное для дворянина, – ответил я. – Не знаю, правильно или нет, но я думаю, что я лучше всего могу сыграть джентльмена. Мистер Сент-Ив (я буду путешествовать под этим именем) представляется мне чем-то вроде театральной личности, и его внешний вид, конечно, должен соответствовать всему остальному.

– А между тем в нарядном костюме есть одно неудобство, – сказала она. – Если бы вы оделись в простое платье, было бы все равно, впору вам оно или нет. Но платье джентльмена – другое дело, оно должно хорошо сидеть, это необходимо! Особенно при ваших... – Флора на мгновение остановилась, – при ваших, по нашим понятиям, выдающихся манерах.

– Бедные мои манеры! – сказал я. – Но, мой дорогой друг Флора, роду человеческому постоянно приходится страдать от того, что ему кажется выдающимся, заметным. Видите ли, сами вы были очень заметны даже в толпе, приходившей в замок посмотреть на пленников.

Я побоялся спугнуть посетившего меня ангела и сейчас же, без передышки прибавил несколько указаний относительно цвета материи моего будущего костюма.

Глаза Флоры широко раскрылись.

– О, мистер Сент-Ив, – вскрикнула она, – ведь теперь так следует называть вас, я не говорю, что выбранные вами цвет и покрой неприличны, но мне кажется, они непригодны для путешествия! Боюсь... – Флора слегка засмеялась, – боюсь, что подобный костюм придаст вам слишком щегольский вид.

– А разве я не щеголь?

– Начинаю это подозревать.

– Я вам все объясню. Подумайте, как долго я представлял из себя посмешище. Неужели вы не согласитесь со мною, что, может быть, самой горькой стороной моей жизни в плену была одежда? Посадите меня в заключение, закройте в цепи, если вам угодно, только позвольте мне оставаться самим собой. Вы не подозреваете, что значит быть маскарадной фигурой среди врагов.

Последние слова я произнес с большой горечью.

– Право, вы несправедливы! – вскрикнула Флора. – Вы говорите так, точно кому-нибудь приходило на ум смеяться над вами! Никто не думал насмеяться над вашим несчастьем. Всем нам было глубоко жаль вас. Даже тетке; конечно, она порой вела себя бестактно... Но послушали бы вы, что она говаривала дома! Тетушка принимала в вас такое участие. Каждая заплатка на вашей одежде опечаливала нас. Мне всегда казалось, что ваше платье должна была бы чинить рука сестры.

– У меня нет и не было сестры, – проговорил я. – Но так как вы говорите, что я никогда не представлялся вам смешным...

– О, мистер Сент-Ив, никогда, ни одной минуты. Было так печально видеть джентльмена...

– Одетого в костюм арлекина и просящего милостыню? – подсказал я.

– Нет, видеть джентльмена в несчастьи, которое он переносил с полным достоинством.

– Разве вы, мой прелестный неприятель, не понимаете, что даже если бы все было так, как вы говорите (то есть, если бы шутовской наряд не казался вам смешным), мне ради себя, ради моей страны, ради вашей доброты – должно было бы только еще больше хотеться, чтобы вы увидели человека, которому помогали, в одежде, соответствующей положению, назначенному ему Богом? Разве вы не понимаете, что я хотел бы, чтобы при воспоминании об этом человеке в вашем воображении вставал какой-нибудь другой образ, кроме образа небритого нищего в плохо сидящей на нем одежде серого цвета?

– Вы слишком много думаете о платье, – сказала она, – я не такая девушка.

– Боюсь, что я-то такой человек, – сказал я. – Но не судите меня слишком строго. Я только что говорил о воспоминаниях. В моей душе кроется много этих прелестных сокровищ, с которыми я не расстанусь, пока не умру или не потеряю способности мыслить. Я помню великие деяния, лелею воспоминания о высоких доблестях, о милосердии, о подвигах веры и прощения. Но рядом с этим во мне также живет память о мелочах. Мисс Флора, забыли ли вы тот ветреный день, в который я впервые увидел вас? Не хотите ли, я расскажу, как вы были одеты?

Мы стояли, Флора уже держалась за ручку двери. Может быть, мысль о том, что она сейчас уйдет, придала мне смелости и принудила воспользоваться оставшимися мгновениями нашего свидания. Во всяком случае, было ясно, что мои последние слова заставили ее поторопиться уйти.

– О, вы слишком романтичны, – сказала молодая девушка со смехом.

После этого мое солнце закатилось, моя очаровательница упорхнула, и я снова остался в полумраке, один с насекомыми.

Глава IX

Четвертый собеседник нарушает веселье

Остаток дня я проспал в уголке курятника на шали Флоры и проснулся от того, что мне в глаза блеснул свет. Я вздрогнул и, задыхаясь, поднял веки (мне только что снилось, что я все еще вишу над бездной); надо мной наклонялся Рональд с фонарем в руке. Оказалось, что уже ночь, что я проспал около шестнадцати часов подряд, что Флора приходила в курятник с тем, чтобы загнать кур в сарайчик, а я и не слышал этого. Мысленно я задал себе вопрос, остановилась ли молодая девушка посмотреть на меня или нет? Пуританки-куры спали непробудным сном, от обещания Рональда накормить меня ужином мне стало так весело, что я иронически пожелал хохлаткам доброй ночи. Рональд провел меня через сад и бесшумно впустил в свою спальню, помещавшуюся в нижнем этаже коттеджа. Там я нашел мыло, воду и новое платье; мой юный хозяин недоверчиво подал мне бритву. Сознание того, что я могу бриться, не чувствуя себя в зависимости от тюремного цирюльника, послужило для меня источником большой, хотя, быть может, и детской радости. Мои волосы были страшно длинные, но я благоразумно воздержался от попытки собственноручно остричь их; они вились от природы, а потому я думал, что моя прическа не особенно безобразна. Платье оказалось очень хорошо: красивый жилет, панталоны из тонкого казимира и сюртук сидели на мне превосходно. Посмотревшись в зеркало и увидев в нем отражение ветреного щеголя, я послал ему воздушный поцелуй.

– Друг мой, – спросил я у Рональда, – нет ли у вас духов?

– Ах, ты, Господи, нет! – ответил Рональд. – Зачем вам духи?

– Это важная вещь в походе, но я могу обойтись и без них.

Рональд опять-таки бесшумно ввел меня в маленькую столовую со сводчатыми окнами. Ставни были заперты, лампа горела тускло, в самом свете ее чувствовалось что-то преступное; красавица Флора шепотом поздоровалась со мной, а когда я сел за стол, молодые люди стали угощать меня с такими предосторожностями, которые могли бы показаться чрезмерными.

– Она спит там, наверху, – заметил мальчик, указав на потолок.

Мне самому стало не совсем по себе, когда я узнал, что место отдыха золотого лорнета так близко от меня.

Милый юноша Рональд принес из города превкусный мясной паштет, и я с удовольствием увидел рядом с этим кушаньем графин действительно превосходного портвейна. Я ел, а Рональд рассказывал мне городские новости: в Эдинбурге целый день толковали о нашем бегстве; то войска, то отдельные верховые разыскивали бежавших, но, по последним сведениям, никто из пленников не попался. Общество отнеслось к бежавшим очень благосклонно, все прославляли наше мужество, многие выражали сожаление о том, что у нас так мало вероятности добраться до Франции. Сорвался с веревки Сомбреф, крестьянин, он спал в другой части замка; таким образом я узнал, что все бывшие мои товарищи бежали.

Вскоре мы заметным образом перешли к разговору о других предметах. Невозможно придумать достаточно сильных выражений, чтобы передать то удовольствие, которое испытывал я, сидя в приличном платье за одним столом с Флорой и беседуя с нею в качестве свободного человека, по своему усмотрению располагающего материальными средствами и дарованными ему небом умственными преимуществами. А мне нужна была сообразительность, чтобы в одно и то же время Рональду казаться рыцарем, ревностным воителем, а Флоре человеком, в голосе которого звучала та же глубокая сентиментальная нота, которую она слышала уже раньше в моих речах. Иногда людям выдаются необычайно счастливые дни, когда их пицеварение, ум, возлюбленные – все, точно сговорившись, балует их, когда даже самая погода будто старается угодить им. О себе скажу только, что в эту ночь я превзошел все, чего ожидал от себя,

и имел счастье восхитить моих хозяев. Мало-помалу молодые люди позабыли свои ужасы, я стал менее осторожен. Наконец нас вернуло на землю одно происшествие; мы вполне могли бы предвидеть катастрофу, но тем не менее она поразила нас. Я наполнил стаканы и шепнул:

– Предлагаю тост или, лучше сказать, три тоста, но настолько связанные между собою, что их невозможно разделить. Прежде всего, я хочу выпить за храброго, а потому и великодушного неприятеля. Он увидел, что я безоружен, что я беспомощный беглец. Точно лев, он не захотел легкой победы. Имея полную возможность отомстить мне, он предпочел дружески обойтись со мной. Затем я предложил бы выпить за мою прекрасную и нежную неприятельницу, которая встретила меня в заключении и ободрила своим бесценным сочувствием. Все, что она сделала, я знаю, было сделано ею во имя милосердия, и я только прошу (почти не надеясь на успех моей просьбы), чтобы это милосердие оказалось милосердным до конца. К произнесенным двум тостам я хочу присоединить (в первый и, вероятно, в последний раз) третий: выпейте за здоровье... боюсь, что следует сказать – в память человека, сражавшегося не всегда без успеха против ваших солдат, человека, явившегося сюда побежденным только за тем, чтобы почувствовать себя снова побежденным честной рукой одного, незабвенными глазами другой.

Вероятно, я временами несколько возвышал свой голос, вероятно, Рональд, которому мое присутствие не придало особенного благоразумия, поставил на стол стакан с некоторым звоном, во всяком случае, по какой бы то ни было причине, но едва успел я окончить свой спич, как над нашими головами послышался стук. Казалось, какое-то тяжелое тело спустилось с возвышения (вероятно, с кровати на пол). Никогда в жизни я не видел ужаса, выраженного яснее, нежели тот, что отразился в чертах Флоры и Рональда. Они предполагали провести меня в сад или спрятать под диваном, стоявшим у стены. Шаги приближались, было ясно, что пробраться в сад поздно, от второго же предложения я с негодованием отказался.

– Мои дорогие друзья, – сказал я, – умрем, но не будем смешными.

Эти слова еще дрожали на моих губах, когда отворилась дверь и на пороге показалась памятная мне фигура с милым моему сердцу золотым лорнетом. В одной руке старуха держала свечу в широком подсвечнике, в другой – пистолет, с которым она обходилась уверенно, точно драгунский солдат. Шаль плохо скрывала целомудренный ночной пеньюар старой девы; на голове страшной тетки Флоры красовался ночной чепец почтенных размеров. Войдя в комнату, старуха сейчас же поставила свечу на стол и положила рядом с ней пистолет, так как она, по-видимому, убедилась, что эти вещи не нужны ей. Она осмотрелась взглядом, бывшим красноречивее самых ужасных проклятий, потом пронзительным голосом и с намеком на поклон спросила меня:

– С кем я имею удовольствие говорить?

– Сударыня, – ответил я, – я счастлив, что мне пришлось увидеть вас. Рассказывать все по порядку было бы слишком долго... Конечно, я очень счастлив, что вижу вас, но, говоря по правде, я совершенно не ожидал свидания с вами. Я уверен... – Тут я почувствовал, что решительно ни в чем не уверен. Снова повторив прежнюю попытку говорить, я пробормотал:

– Я имею честь... – но в это мгновение я заметил, что имел честь до крайности смутиться. Тогда я решил прямо отдать себя в руки милосердия старухи и произнес: – Сударыня, я буду с вами вполне откровенен: вы были очень милостивы и сострадательны к пленным французам; перед вами один из их числа, и если моя наружность не изменилась слишком сильно, вы, может быть, узнаете во мне того «чудака», который имел счастье не раз вызывать на вашем лице улыбку.

Старуха продолжала смотреть на меня через свой золотой лорнет; фыркнув самым немилорлюбивым образом, она обернулась к племяннице и спросила:

– Флора, как попал он сюда?

Виновные начали в два голоса объяснять причину моего присутствия в их доме, но этот дуэт скоро замер, сменившись жалким молчанием.

– Мне кажется, что вы, по крайней мере, должны были хоть предупредить вашу тетку! – снова фыркнула старуха.

– Сударыня, – возразил я, – они и хотели сказать вам о моем появлении, но не исполнили своего намерения только по моей вине; я уговорил их не тревожить вашей дремоты и попросил отложить церемонию моего формального представления вам до утра.

Тетка Флоры смотрела на меня с нескрываемым недоверием; я не знал, чем уничтожить в ней это чувство, и вместо всяких уверений грациозно поклонился.

– Пленные французы хороши на своем месте, – сказала она, – но я не считаю, что их место в моей столовой.

– Сударыня, – ответил я, – я не нанесу вам обиды, сказав, что нет места (исключая Эдинбургского замка), из которого я ушел бы с большим удовольствием, нежели из вашей столовой.

В эту минуту, к своему большому успокоению, я заметил, что железное лицо старухи в одно мгновение смягчилось намеком на улыбку; впрочем, тетка Флоры сейчас же подавила усмешку.

– Не позволите ли спросить, как вас зовут?

– Честь имею рекомендоваться: виконт Анн де Сент-Ив.

– Месье виконт, – проговорила она, – право, мне кажется, вы делаете нам, людям простым, слишком много чести.

– Будем говорить серьезно, хотя бы в течение нескольких минут. Что оставалось мне делать? Куда мог я идти? Неужели вы можете гневаться на этих добрых детей за то, что они сжалились над таким несчастным человеком, как я? Ваш покорный слуга не страшный искатель приключений, к которому выходят с пистолетами и (тут я улыбнулся) со свечами в широких подсвечниках. Я просто молодой джентльмен, поставленный в ужасное положение; меня разыскивают повсюду, и я желаю только скрыться от моих преследователей. Ваш характер мне известен – я прочел его в ваших чертах (я внутренне содрогнулся, произнеся эти смелые слова). В теперешнее время, может быть, в самую эту минуту, во Франции есть английские пленники, страшно несчастные. Может быть, кто-нибудь из них так же, как я, преклоняет колени, берет руку, которая имеет возможность скрыть его, помочь ему; может быть, он прижимает ее к своим губам, как я...

– Вот прекрасно-то! – крикнула старуха. – Имейте дело с людьми! Видели вы что-либо подобное? Ну, скажите мне, мои дорогие, что нам делать с ним?

– Вышвырните его вон, – проговорил я, – выгоните бессовестного малого, и чем скорее, тем лучше. А если ваше доброе сердце укажет вам – помогите ему, объясните, по какой дороге должен он идти!

– Что это за паштет? – вдруг вскрикнула старая дева пронзительным голосом. – Откуда этот паштет, Флора?

Мои несчастные и почти совершенно уничтоженные сообщники молчали.

– Это мой портвейн? – продолжала она. – Ну, даст ли кто-нибудь мне рюмку моего портвейна?

Я поспешил услужить старухе. Она взглянула на меня через край рюмки со странным выражением на лице и спросила:

– Надеюсь, вам понравилось это вино?

– Я нахожу, что оно превосходно, – ответил я.

– Еще мой отец спрятал его. Немногие знали больше толку в портвейне, нежели мой отец, упокой его Господь!

Старуха села на стул с очень неуспокоительным для меня решительным видом.

– Вы желаете направиться в какую-нибудь определенную сторону? – спросила она.

– О, – ответил я и также сел. – Не считайте меня бродягой. У меня есть друзья, и чтобы увидеться с ними, мне необходимо только выбраться из Шотландии; деньги на дорогу у меня есть. – С этими словами я вынул пачку банковских билетов.

– Английские? – спросила старуха. – Их не очень-то охотно принимают в Шотландии. Наверно, какой-нибудь глупый англичанин дал вам их. Сколько их тут?

– Право, не знаю, я не смотрел! – ответил я. – Но делу можно помочь.

Я сосчитал бумажки: у меня было десять банковских билетов по десяти фунтов, все на имя Абрагама Ньюлэндса, и пять билетов стоимостью в одну гинею на английских банкиров.

– Сто двадцать шесть фунтов пять шиллингов, – заметила старуха. – И вы носите такую сумму, даже не потрудившись сосчитать деньги! Если вы не вор, то, согласитесь, очень похожи на вора.

– А между тем, сударыня, эти деньги принадлежат мне законно.

Она взяла одну из бумажек, поднесла ее к глазам и проговорила:

– Хотела бы я, чтобы кто-либо сказал мне, возможно ли узнать, откуда взялся этот билет.

– Полагаю, невозможно, но если бы я и ошибался, то это не имело бы значения, – ответил я. – Со всегдашней вашей проницательностью вы угадали правильно. Эти деньги мне принес англичанин. Их через своего английского поверенного прислал мне мой внучатый дядя, граф де Керуэль де Сент-Ив, насколько я знаю, богатейший французский эмигрант в Лондоне.

– Мне ничего не остается, как поверить вам на слово.

– И я надеюсь, сударыня, что вы не усомнитесь в том, что я говорю правду.

– Ну, – сказала она, – в таком случае дело можно сладить, я учту один из этих билетов в пять гиней и дам вам серебра и шотландских бумажек, удержу только баланс. Этого вам хватит до границы. Далее же, месье виконт, вам придется самому заботиться о себе.

– Позвольте мне только почтительнейше спросить: неужели этой суммы хватит мне на такое длинное путешествие?

– Но вы не дослушали еще всего, что я хотела сказать вам, – ответила старуха. – Если вы не считаете себя чересчур важным господином, которому неприлично путешествовать с простыми пастухами-погонщиками, я помогу вам, так как у меня под рукой все, что надо. Прости, Боже, старую изменницу! На ферме ночуют два погонщика, завтра, вероятно, на рассвете, они тронутся в путь. Мне кажется, вам следует идти с ними.

– Бога ради, не считайте, что у меня такой женственный характер! – с жаром заметил я. – Старого солдата Наполеона нельзя подозревать в малодушии. Скажите мне, зачем все это? К чему мне идти в обществе рекомендуемых вами превосходных джентльменов?

– Мой дорогой сэр, – возразила старуха, – вы не вполне понимаете ваше положение и должны предоставить все дело в руки людей, понимающих его. Я убеждена, что вы даже никогда не слышали о шотландских погонщиках скота, их дорогах, и, конечно, уж не я стану сидеть с вами всю ночь, рассказывая вам о них. Достаточно, что я (к моему стыду!) взялась помочь вам и советую идти по одной из пастушьих тропинок. Рональд, – продолжала она, – беги наверх к пастухам, разбуди их, заставь встать, да втолкуй Симу, чтобы он перед уходом зашел ко мне.

Рональд без малейшего неудовольствия расстался со своей тетушкой и ушел из коттеджа так поспешно, что его удаление походило больше на бегство. Старуха обратилась к своей племяннице с вопросом:

– А мне хотелось бы знать, что мы будем с ним делать ночью?

– Мы с Рональдом думали поместить виконта в курятник, – ответила ярко вспыхнувшая Флора.

– А я скажу тебе, что он не будет ночевать в курятнике, – возразила тетка. – Курятник – это мило! Если уж ему суждено быть нашим гостем, то он не будет спать в каком-то курятнике. Твоя комната удобнее всех остальных в этом случае, и виконт переночует в ней, если согласится занять ее. Что же касается тебя, Флора, ты будешь спать со мной.

Такт и осторожность старой дуэньи восхитили меня. Без сомнения, не мне было возражать ей. Прежде чем я успел опомниться, я очутился один с тусклой свечой, которую, конечно, не считал очень милым товарищем; я смотрел на ее нагар в настроении, занимавшем середину между торжеством и печалью. Относительно бегства все шло хорошо, но, увы, того же нельзя было сказать о моих любовных делах. Я виделся с Флорой наедине, говорил с нею без свидетелей, я был смел, и она недурно отнеслась ко мне; я видел, как ее лицо меняло краски, наслаждался непритворной добротой ее глаз, но вдруг на сцене появилась эта апокалипсическая фигура в ночном чепце, с пистолетом в руке, и одним своим появлением разлучила меня с любимой девушкой. Благодарность и восхищение, пробужденные во мне поведением старухи, боролись с естественным чувством досады на нее. Очутившись в доме старой девы после полуночи, я, конечно, мог ей показаться дерзким человеком, желавшим действовать исподтишка, мог возбудить ее самые худшие подозрения (я не скрывал этого от себя). Между тем старуха хорошо отнеслась к моему поступку. Наша встреча заставила ее проявить столько же великодушия, сколько и мужества; я боялся, чтобы вдобавок не оказалось, что и проникательность старой девы стоит на одном уровне с этими качествами. Без сомнения, Флора вынесла много испытующих взглядов, и, без сомнения, они смутили ее. При данных условиях мне оставалось только воспользоваться превосходной постелью, постараться заснуть как можно скорее, встать рано и надеяться на какую-нибудь счастливую случайность. Сказав так много, не сказать Флоре еще больше, уйти после неполного прощания я не мог.

Я убежден, что моя благодетельная неприятельница всю ночь стерегла меня. Задолго до рассвета она пришла ко мне со свечой, разбудила меня, положила передо мной отвратительную одежду и попросила меня свернуть мое платье (совершенно непригодное для путешествия) в узелок. С горьким ропотом оделся я в костюм, очевидно, местного изделия: материя, из которой он был сшит, оказалась не тоньше грубой холстины; платье сидело на мне не лучше савана; когда я вышел из комнаты, в которой провел ночь, то увидел, что мой дракон приготовил для меня прекрасный завтрак. Старуха села за стол на главное место и стала разливать чай; пока я закусывал, она разговаривала. В каждом ее слове слышался здравый смысл, но ни в речах, ни в манерах старухи не было ни грации, ни прелести. Часто, часто сожалел я, что не Флора была со мной. Часто, часто сравнивал я тетку с ее очаровательной племянницей, и сравнение бывало не в пользу первой! Да, моя собеседница не блистала красотой, зато оказалось, что она отлично позаботилась о моих интересах. Старуха уже переговорила с моими будущими спутниками, и история, придуманная ею для них, мне понравилась. Я молодой англичанин, бегущий от полиции, мне нельзя оставаться в Шотландии, необходимо как можно скорее окольными путями достигнуть границы и тайно перебраться через нее.

– Я очень хорошо отзывалась о вас, – сказала тетка моих друзей, – и надеюсь, что вы оправдаете мои слова. Я сказала погонщикам, что вы не сделали ничего дурного, что просто вас из-за долгов собираются посадить в яму (кажется, я употребила настоящее выражение)!

– Дай-то Боже, чтобы вы ошиблись, сударыня, – заметил я. – Не скажу, чтобы меня было легко испугать, но вы сами согласитесь, что в звуке слова, произнесенного вами, кроется что-то варварское, способное поразить ужасом бедного иностранца.

– Яма – название, которое встречается в шотландских законах. Честному человеку нечего пугаться его, – произнесла старуха. – Однако у вас очень ветреный ум, вам вечно хочется шутить! Надеюсь, вы никогда не раскаетесь в этом.

– Хотя я и говорю шутливо, но не думайте, прошу вас, что я не способен глубоко почувствовать, – ответил я. – Вы вполне покорили меня своей добротой. Я отдаю себя в полное ваше распоряжение и, поверьте, при этом чувствую к вам истинную нежность. Прошу вас считать меня самым преданным вашим другом.

– Хорошо, хорошо! – сказала старуха. – Вот и ваш преданный друг погонщик. Вероятно, он торопится; я же не успокоюсь, пока вы не увидите отсюда, и я не вымою посуды так, чтобы,

когда проснется моя служанка, все уже было в порядке. Слава Богу, когда она спит, то ее трудно разбудить!

Утренний свет начал придавать голубой оттенок листве садовых деревьев; свеча, с которой я завтракал, бледнела перед ним. Старуха встала; волей-неволей мне пришлось последовать ее примеру. Все время я ломал голову, придумывая какой-нибудь способ сказать слова два Флоре наедине или написать ей записку; окна были открыты настежь, как я предполагал, чтобы развеять все следы завтрака. На лужке, лежавшем против дома, показался мастер Рональд; моя старая колдунья высунулась из окна и заговорила с ним, сказав:

– Рональд, кто прошел вдоль стены, не Сим?

Я ухватился за представившийся мне случай; как раз за спиной старухи были перо, чернила и бумага. Я написал: «*Я люблю вас*», но не успел прибавить ни одного слова, не успел и зачеркнуть написанного, как уже снова очутился под огнем взгляда, смотревшего на меня через золотой лорнет.

– Пора! – начала старая дева, потом, заметив, что я делаю, прибавила: – Гм... вам нужно написать что-нибудь?

– Несколько заметок, – ответил я, быстро нагибаясь.

– Заметок? Не записку?

– Я не вполне понимаю вас – вероятно, это происходит вследствие того, что тут есть какая-нибудь тонкость английского языка, которая от меня ускользает.⁷

– Постараюсь объяснить вам, виконт, вполне понятным образом то, что я хотела сказать. Надеюсь, вы желаете, чтобы на вас смотрели как на джентльмена?

– Неужели вы можете в этом сомневаться, сударыня?

– Я, по крайней мере, не знаю, так ли вы поступаете, чтобы заставить себя считать джентльменом, – ответила старуха. – Вы явились ко мне в дом уж не знаю, каким путем. Полагаю, вы согласитесь, что вам следовало бы чувствовать ко мне некоторую благодарность, хотя бы за тот завтрак, которым я вас угостила, что вы для меня? Случайно встреченный молодой человек, не имеющий ничего замечательного ни в наружности, ни в манерах, с несколькими английскими кредитными билетами в кармане и с головой, которая оценена. Я приняла вас в свой дом, хотя и не вполне по доброй воле, а теперь желаю, чтобы ваше знакомство с моей семьей этим и ограничилось.

Вероятно, я вспыхнул, говоря:

– Сударыня, мои заметки не играют большой роли, и ваше желание послужит для меня законом. Вы усомнились во мне и высказали это. Я разрываю то, что написал.

Конечно, вы поверите, что я совершенно уничтожил бумажку.

– Вот теперь вы поступили как славный мальчик, – сказал мой дракон и повел меня к среднему лужку.

Там нас уже ожидали брат и сестра; насколько я мог рассмотреть их в неясном свете утра, оба они, по-видимому, за это время пережили очень много тяжелых минут. Казалось, Рональду было стыдно при тетке посмотреть мне в глаза, он представлял собою воплощенное смущение. Флора же едва успела взглянуть на меня, потому что дракон схватил ее за руку и повел через сад; кругом стояла полумгла рассвета, тетка не говорила с племянницей, Рональд и я в молчании шли за ними.

В той высокой стене, на которой я сидел накануне утром, виднелась дверь. Старуха отперла ее ключом; по другую сторону стены стоял плотный человек, простолюдин; под мышкой он держал толстую палку и обеими руками опирался на сложенные камни. Старуха сейчас же заговорила с ним.

– Сим, – сказала она, – вот тот молодой господин, о котором я говорила вам.

⁷ Note – записка; notes – заметки.

Сим ответил нечленораздельным звуком и движением руки и головы, что должно было изобразить приветствие.

– Ну, мистер Сент-Ив, – сказала старуха, – вам уж давно пора в путь. Но прежде позвольте дать вам ваши деньги. Вот четыре фунта бумажками, остальное мелочью, серебром; удержано шесть пенсов. Некоторые, кажется, берут за учет шиллинг, но я дала вам блаженную возможность думать, будто баланс меньше. Распоряжайтесь деньгами поблагодарнее.

– А вот, мистер Сент-Ив, – впервые заговорила Флора, – плед. Он пригодится вам во время тяжелого путешествия. Я надеюсь, что вы примете его от одного из ваших шотландских друзей, – прибавила она, и ее голос дрогнул.

– Настоящий остролистник, я сам срезал его, – сказал Рональд, подавая мне такую отличную дубину, лучше которой нельзя было и желать для драки.

Церемония передачи подарков и ожидание, выражавшееся во всей фигуре погонщика, – все вместе говорило мне, что я должен уйти. Я опустился на одно колено и попрощался с теткой, поцеловав ее руку. То же самое я сделал и относительно ее племянницы, но на этот раз с горячим увлечением! Что же касается Рональда, я обнял его и поцеловал с таким чувством, что он потерял способность говорить.

– Прощайте, прощайте! – сказал я. – Я никогда не забуду моих друзей! Вспоминайте когда-нибудь обо мне!

Я повернулся и пошел прочь. Едва мы с Симом отошли на несколько шагов, как я услышал, что в высокой стене закрылась дверь. Конечно, это сделала тетка, ей также хотелось на прощанье сказать мне несколько колких слов. Но если бы я даже выслушал их от нее, это не произвело бы на меня ни малейшего впечатления; я был вполне уверен, что между моими поклонниками, оставшимися в Суанстонском коттедже, старая мисс Гилькрист была одной из наиболее горячих и искренних.

Глава X

Гуртовщики

Мне приходилось делать некоторое усилие, чтобы идти рядом с моим спутником, хотя он безобразно раскачивался на ходу и с виду шел не особенно скоро, но мог по желанию передвигаться очень быстро. Мы смотрели друг на друга: я с выражением естественного любопытства, он, по-видимому, с чувством сильного неодобрения. Потом я узнал, что Сим был предубежден против меня: он видел, как я опустил на колено перед дамами, и вследствие этого признал меня идиотом.

– Итак, вы в Англию? Да? – спросил он.

Я ответил утвердительно.

– Ну, мне кажется, что дорога для нас хороша, – заметил погонщик и погрузился в молчание, которое не нарушалось в течение четверти часа; двигались мы не спеша.

Наконец мы вышли на зеленую долину, вившуюся между горами и холмами. Посередине ее текла маленькая речка, образовавшая множество чистых, прозрачных заводей. Подле одного из дальних разливов я рассмотрел косматое стадо и пастуха, казавшегося двойником Сима. Второй пастух завтракал хлебом с сыром. Завидя нас, Кэндлиш (впоследствии я узнал, что двойника Сима звали Кэндлишем) встал нам навстречу.

– Он пойдет с нами, – сказал Сим, обращаясь к товарищу, – старуха Гилькрист пожелала этого.

– Хорошо, хорошо, – ответил второй пастух; потом, вспомнив об учтивости, он с серьезной усмешкой посмотрел на меня и заметил: – Какой прекрасный день.

Я согласился с ним и осведомился о том, как он поживает.

– Славно, – послышалось в ответ.

На этом обмен любезностями прекратился; погонщики принялись сгонять скот. Это, как вообще все, что касалось управления стадом, исполнялось с помощью двух красивых, умных собак. Сим и Кэндлиш давали им только немногосложные приказания.

Мы спускались с холма по крутой зеленой тропинке, которой я сначала не заметил. Кругом раздавались крики болотных птиц, слышалось, как скот жевал и чавкал; животные ели и, по-видимому, все не могли насытиться, а потому мы продвигались вперед утомительно медленным образом. Мои спутники шли среди стада в полном молчании, которым я мог только восхищаться. Чем больше я смотрел на погонщиков, тем более меня поражало их сходство, доходившее до смешного. Оба они были одеты в грубое платье из домашней ткани, оба держали по одинаковой палке, у обоих под носом виднелись следы табака; оба несли по пледу, сделанному из материи, которая называется пастушьим тартаном. Глядя на Сима и Кэндлиша сзади, было положительно невозможно различить их одного от другого, и даже смотря им в лица, я находил между ними значительное сходство. Несколько раз старался я вызвать моих спутников на обмен мыслями, хотел, по крайней мере, заставить их произнести какие-нибудь человеческие слова, но в ответ мне слышались только «да» или «нет»; но затронутая тема замирала без звука. Я не скрою, что это опечалило меня, и когда через некоторое время Сим предложил мне табаку, лежавшего в бараньем роге, с вопросом: «Вы употребляете это?», я ответил со значительным оживлением: «Сэр, я готов был бы понюхать табаку, чтобы немного сблизиться с вами, право». Но и этой шутки не раскусили мои спутники, или, по крайней мере, она не смягчила их.

Вскоре мы поднялись на вершину другого холма и увидели, что тропинка круто спускалась в уединенную долину, которая тянулась приблизительно на целую милю; с противополо-

ложной нам стороны бесплодные горы заграждали ее. Тут Сим остановился, снял шляпу, отер себе лоб и сказал:

- Ну, вот и мы на вершине Хоудена.
- Верно, это вершина Хоудена, – подтвердил Кэндлиш.
- Мистер Сент-Иви, вы не подмечаете в себе некоторой сухости? – спросил Сим.
- Сухость всегда казалась мне одной из худших черт человеческого характера, – ответил я.

- Что с вами? – возразил Сим. – Я просто предлагаю вам выпить.
- Ну, это дело другого рода, – произнес я.

Сим развернул уголок своего пледа и вынул оттуда черную бутылку. Мы все выпили за здоровье друг друга. Я заметил, что бывшие со мной джентльмены при этом соблюдали известный этикет, и, конечно, сейчас же стал подражать им. Каждый из них вытирал себе рот обратной стороной левой руки, поднимал вверх бутылку правой, замечал с пафосом: «За ваше!» и проглатывал столько водки, сколько ему казалось нужным. Эта маленькая церемония, бывшая, как я мог заключить, одним из главных условий хороших манер, повторялась через надлежащие промежутки времени, обыкновенно после подъема на какую-нибудь возвышенность. Иногда мы еще закусывали овечьим сыром, далеко не превосходным хлебом, который, как мне показалось, мои спутники называли «овсянником» (впрочем, я не побожусь, что таково было его истинное название). Кроме этой церемонии при питье водки, других разговоров в первый день мы не вели.

В течение долгих часов, долгих дней нашего путешествия я изучил печальную природу местности, по которой вилась скотопрогонная дорога. Тянулся бесконечный ряд незначительных косматых холмов. Их разделяли только ручьи, через которые нам приходилось перебираться, и на берегах которых мы останавливались на ночлег. Расстилались необозримые заросли вереска, встречалось бесконечное количество тетеревов; там и сям на берегу потоков стояли маленькие и красивые группы ивовых кустов или серебристых берез, иногда попадались развалины старинных незначительных крепостей. Вот какой характер неизменно носила местность, по которой мы шли. Иногда вдали видели мы дым из труб какого-нибудь городка, отдельной фермы или коттеджа; чаще нам встречались стада овец с их пастухами или плохо обработанные, иногда еще не убранные поля. Только это разнообразило пустыню, по которой мы шли, пустыню, представляющую одну из самых бедных местностей Европы. Когда я вспоминал, что мы отделились всего на небольшое число миль от главного города страны (в котором ежедневно происходили заседания суда, решавшие множество дел, в котором солдаты стерегли замок, ученые делали научные изыскания, а литераторы занимались литературой), во мне пробуждалось странное ощущение при взгляде на эту бедную, бесплодную, но прославленную часть Шотландии. Может быть, все, что я видел, должно было служить еще лишним подтверждением того, как умно поступила старая мисс Гилькрист, послав меня по этой уединенной тропинке в обществе двух пастухов.

Не могу сказать, чтобы я ясно помнил путь моего следования. Я никогда хорошенько не знал названий тех мест, через которые мы проходили, и расстояний их одного от другого, теперь же совершенно забыл; это тем более достойно сожаления, что, без сомнения, дорога моя лежала через местности, прославленные пером Вальтера Скотта. Скажу больше: мне даже кажется, что судьба еще сильнее благоволила ко мне; я убежден, что видел несравненного писателя и говорил с ним. Однажды мы встретили высокого, полного старика с сильной проседью в волосах; его покрытое морщинами лицо было весело и приветливо. Он ехал верхом на черном пони, закутавшись пледом поверх зеленого сюртука; старика сопровождала наездница, его дочь, молодая и очаровательная. Они нагнали нас в одной из зарослей вереска, около четверти часа ехали рядом с нами, потом снова ускакали и исчезли между холмами, тянувшимися с левой стороны. К моему великому удивлению, непреклонный мистер Сим растаял сейчас же

при появлении этого господина, который окликнул его как знакомого, сразу пустился толковать с ним о ремесле погонщиков и ценах на скот, не отказавшись взять щепотку табака из неизменного рога. Вдруг я заметил, что глаза незнакомца следят за мной, вскоре он заговорил с Симом обо мне. Часть этого разговора я совершенно невольно подслушал, другую половину его я домыслил сам, основываясь на отчете Сима.

– Вероятно, к вам пристал погонщик-любитель? – спросил незнакомец.

Сим ответил, что у меня были свои собственные причины желать путешествовать тайным образом.

– Ну, ну, вы не должны рассказывать мне о его делах. Вы знаете, я из судейских, – ответил старик. – Однако я надеюсь, что он не сделал ничего дурного?

Сим сказал, что моя вина – долги.

– О, Бог мой, – вскрикнул незнакомец, – это еще ничего! Итак, сэр, – прибавил он, обращаясь ко мне, – вы пробираетесь через наши леса ради удовольствия.

– Да, сэр, – ответил я, – и мне приходится заметить, что это действительно очень интересно.

– Завидую вам, – сказал он. – Я сам исходил все эти места, когда был помоложе. Моя юность погребена под этими кустиками вереска, как душа лиценциата Луция. Но вам следовало бы взять проводника. Большая часть прелести этой местности заключается в ее легендах.

Обратив мое внимание на маленький обломок стены величиной с обыкновенную надгробную плиту, он, в виде примера, рассказал мне историю о людях, некогда живших здесь. Много лет спустя я в виде развлечения читал роман «Вэверлей» и вдруг нашел повторение того самого рассказа, который слышал от встретившегося мне среди пастбищ человека в зеленом сюртуке! Мгновенно в моей душе воскресли с отчетливостью ясного сновидения все подробности той сцены: тон голоса незнакомца, северный акцент его произношения, сам вид неба и земли, температура воздуха. Незнакомец в зеленом сюртуке был великим незнакомцем. Я встретил Скотта! Я слышал из его уст рассказ! Я мог бы написать ему, попросить его возобновить знакомство, сказать ему, что его слова еще звенят в моих ушах. Но я слишком поздно сделал свое открытие! В то время тяжесть почестей и несчастий великого человека уже сломила его.

Дав нам каждому по сигаре, Скотт простился с нами и ускакал вместе со своей дочерью. Когда я спросил у Сима, кто этот человек, он ответил: «Это *господин*, его знают все», но, к несчастью, это ничего мне не объяснило.

Теперь следует вспомнить о более важном приключении. Долгое время шли мы по пути, избитому множеством копыт, покрытому травой, объединенной громадным количеством стад, проходивших тут до нас, и не встретили ни одной партии продажного скота. Наконец однажды утром мы заметили, что к прогонной дороге приближается караван, похожий на наш, но только гораздо более многочисленный. Он был еще на расстоянии полумили от дороги, когда мои спутники заволновались: они вскарабкивались на бугры, старались хорошенько рассмотреть стадо, прикрывая глаза рукой, совещались между собой с такой тревогой, которая удивляла меня. В это время я уже убедился в том, что их сдержанные манеры не прикрывали, по крайней мере, активной неприязни ко мне, и потому осмелился спросить, что случилось.

– Дурная встреча, – выразительно произнес Сим.

Целый день мои товарищи держали собак настороже и гнали скот необыкновенно быстро, что, казалось, не нравилось животным. Сим и Кэндлиш обсуждали положение вещей, тратя при этом больше обыкновенного табака и слов. По-видимому, они узнали двух погонщиков из соседнего с нашим каравана, одного звали Фаа, а другого Джиллис. Мне так и не удалось выяснить, существовала ли между моими товарищами и незнакомыми мне пастухами неоконченная ссора, или какие-либо особые причины порождали вражду между теми и другими, но только Сим и Кэндлиш ожидали нападения. Кэндлиш несколько раз выражал радость по поводу того,

что он оставил «свои часы у хозяйки». Сим каждую минуту поднимал в воздух дубинку, потрясал ею и проклинал судьбу, из-за которой случилась эта неприятность.

– Я ничего не имею против того, чтобы побить этого негодяя, – сказал он. – Пусть только попадется мне в руки!

– Ну, господа, – проговорил я, – предположим, что они подойдут, – что же? Мне кажется, мы отлично справимся с ними! – При этом я поднял мою палку, подарок Рональда (который я вполне оценил в эту минуту), и стал крутить ею над головой так, что она засвистела в воздухе.

– Да? Вы решили? – спросил Сим, и на его невыразительном лице промелькнул луч одобрения.

В тот же вечер, порядочно устав от нашего дневного перехода, мы остановились ночевать близ зеленеющей маленькой плотины, из середины которой вырывалась струйка воды, едва достаточная для того, чтобы вымыть в ней руки. Мы закусили и легли, но еще не успели заснуть, когда раздалось грозное ворчание одной из овчарок – это встревожило нас. Мы все трое выпрямились, но сейчас же снова пригнулись к земле, держа палки наготове. Только чужестранец, стоящий вне закона, только старый солдат и молодой человек могут так спокойно относиться к приключениям; я не знал, кто был прав в ссоре, даже не предполагал, какие последствия повлечет за собой драка, но готовился бороться заодно с погонщиками, как, бывало, утром перед сражением готовился пасть в бою рядом с моими товарищами-солдатами. Вдруг из вереска показались три человека. Они бросились на нас так стремительно, что мы едва успели вскочить на ноги. Через мгновение каждый из нас уже дрался с противником, которого он едва различал в стущавшейся полутьме. Что происходило с другими, я не могу описать, но мошенник, дравшийся со мною, был очень ловок и мастерски владел своим оружием. Он напал на меня врасплох и все время пользовался невыгодным моим положением, заставляя постепенно отступать от него; наконец, только в виде самосохранения, я ударил его концом палки как рапирой, попав ему в горло; мой противник упал, точно сбитая шаром кегля.

По-видимому, поражение одного из наших врагов послужило знаком прекратить борьбу; все разошлись; мои товарищи не помешали нашим противникам поднять раненого и унести его. Из этого я заключил, что подобная война не лишена рыцарских правил, что она скорее носит характер турнира, чем ожесточенной драки. Очевидно, все полагали, что я зашел слишком далеко. Наши неприятели унесли раненого товарища с явным ужасом. Едва отошли они от нас, как Сим и Кэндлиш подняли усталый скот и двинулись вперед.

– Кажется, Фаа совсем плох, – заметил Сим.

– Да, – подтвердил Кэндлиш, – он помертвел.

Они снова замолчали. Вдруг Сим обратился ко мне со словами:

– Вы отлично владеете палкой.

– Боюсь, что слишком хорошо, – проговорил я, – пожалуй, песня мистера Фаа (кажется, так его зовут) спета.

– Будет неудивительно, если это так, – проговорил Сим.

– А что же случится тогда? – спросил я.

Сим понюхал табака.

– Мне трудно ответить на этот вопрос, – сказал он.

– Говоря откровенно, мистер Сент-Иви, я не знаю, что будет. Видали мы много пробитых голов, порой бывало, кому-нибудь в драке ломали одну ногу, а иногда даже обе, и все это оставалось между нами; но никому из нас не приходилось иметь дела с трупом, и я не знаю, как поступит Джиллис.

– Он будет в большом затруднении, если ему придется вернуться домой без Фаа. Люди страшно любят приставать с вопросами, особенно если случается что-нибудь необычайное.

– Правда, – подтвердил Кэндлиш.

Я совершенно спокойно обдумал положение вещей и затем произнес:

– Вследствие всего сказанного нам необходимо перейти через границу и там расстаться. Если вас станут беспокоить, вы будете иметь полное право свалить всю вину на спутника, шедшего с вами; если же я подвергнусь преследованию, то уж сам постараюсь скрыться.

– Мистер Сент-Иви, – произнес Сим, и в его голосе зазвучало нечто вроде энтузиазма, – ни слова более! Много джентльменов видал я на своем веку, видал людей смелых, видел, как храбро и честно поступали они, но, признаюсь, такого господина, как вы, мне не часто приходилось встречать.

Всю ночь мы безостановочно шли. Звезды побледнели, побелел восток, а мы, люди и собаки, продолжали двигаться вперед, подгоняя утомленный скот. Сим и Кэндлиш несколько раз с сожалением говорили о необходимости спешить; по их словам, это было «гибельно для скота», но ужасная мысль о суде и эшафоте гнала их. Мне не следовало особенно сожалеть о том, что произошло. В течение этой ночи и всего недолгого времени, остававшегося до моей разлуки с погонщиками, Сим разговаривал со мной; его язык развязался, как бы в награду за совершенный мною подвиг, и это представляло для меня совершенно новое удовольствие. Кэндлиш продолжал упорно молчать, он был неразговорчив по природе; Сим же, оценив меня по достоинству, оказался очень хорошим рассказчиком. Сим и Кэндлиш были старинными товарищами и близкими друзьями. Они неразлучно жили среди этих бесконечных пастбищ и вели такое молчаливое братское существование, какое я приписывал только западным трапперам. Смешно упоминать о любви, говоря о таких безобразных, запачканных табаком людях, как Сим и Кэндлиш, но они безгранично доверяли друг другу и каждый из них восхищался достоинствами своего товарища. Кэндлиш замечал, что Сим «чудный малый», а Сим, говоря со мной наедине, уверял, что «в целой Шотландии не найдется такого стойкого, твердого, верного человека, как Кэндлиш». По-видимому, собаки тоже были членами этого дружеского союза; я заметил, что погонщики постоянно и очень внимательно наблюдали за действиями овчарок и подмечали все черты их характера. Пастухи постоянно вспоминали различные происшествия, в которых собаки были главными действующими лицами; не только о своих теперешних собаках говорили они, но и о чужих, и о прежних.

«Это еще ничего, – начинал Сим, – а вот в Манаре был пастух, его звали Туиди – помнишь Туиди, Кэндлиш?» – «Еще бы!» – «Ну, так у Туиди была собака»... Я не помню этого рассказа, он был совсем неинтересен и, как мне кажется, неправдив, но путешествие с погонщиками сделало меня очень снисходительным и даже доверчивым относительно рассказов о собаках. Красивые, неутомимые создания! Когда я видел, как после долгого путешествия овчарки резвились, прыгали, лаяли, помахивая своими пушистыми хвостами, очевидно, красуясь перед зрителями и наслаждаясь своей красотой и грацией, а затем переводил глаза на Сима и Кэндлиша, которые шли, некрасиво покачиваясь, некрасиво закутавшись в пледы, в то время, как капли пота скатывались с их запачканных табаком носов, мне скорее хотелось быть в родстве с собаками, чем с людьми. Но симпатия моя оставалась без ответа: в глазах овчарок я был ничтожеством; они едва удостоивали меня небрежной лаской, наскоро прикасались к моей руке мокрыми языками и снова отдавали себя служению мрачным божествам – своим хозяевам.

Последние часы нашего путешествия были наиболее приятными для меня и, как мне кажется, для моих спутников; к тому времени, когда нам предстояло расстаться, мы настолько освоились друг с другом, что прощанье стало для нас тяжелее, чем мы ожидали. Было уже около четырех часов пополудни. Мы стояли на обнаженном склоне холма, я видел длинную ленту большой северной дороги, которая с этой минуты должна была служить моей путеводной нитью. Я спросил, сколько я должен моим проводникам.

– Ничего, – ответил Сим.

– Как так? – воскликнул я. – Это еще что за глупости! Вы вели меня, кормили, вы досыта поили меня виски, а теперь не хотите от меня ничего взять!

– Видите ли, такой уж был уговор.

– Уговор? – повторил я. – Что вы хотите сказать?

– Мистер Сент-Иви, – проговорил Сим, – все это дело Кэндлиша, мое и старухи Гилькрист. Вам нечего возразить, а потому и не вмешивайтесь.

– Милый мой, – произнес я, – я не могу согласиться стать в такое нелепое, смешное положение. Мисс Гилькрист для меня ничто, и я отказываюсь быть ее должником.

– Право, уж не знаю, как помочь этому делу, – заметил погонщик.

– Просто я сейчас же заплачу вам, вот и все.

– Дело касается двух сторон, мистер Сент-Иви, – проговорил Сим.

– Вы хотите сказать, что не примете денег? – спросил я.

– Да, – подтвердил Сим. – Во всяком случае, вам лучше припрятать серебро для тех, кому вы должны его. Вы молоды, мистер Сент-Иви, вы беспечны, но мне кажется, что, если вы будете поступать осмотрительно и осторожно, из вас выйдет прок. Запомните только, что тот, кто остался в долгу, не имеет права отдавать серебро.

Ну, что я мог ответить? Я молча выслушал выговор погонщика, простился с Симом и Кэндлишем и одиноко направился к югу.

– Мистер Сент-Иви, – напоследок сказал мне Сим, – я никогда особенно сильно не любил англичан, но мне кажется, что в вас есть все задатки сделаться порядочным малым.

Глава XI

Большая северная дорога

Я спускался с горы, и последние слова погонщика звучали в моей памяти и они не пропали даром. Я ни разу не говорил ни Симу, ни Кэндлшпу о том, где моя родина или каковы мои материальные средства, тем более, что, очевидно, по понятиям погонщиков вежливость главным образом состояла в том, чтобы не задавать постороннему человеку никаких вопросов. Несмотря на это, они оба без малейшего колебания признали меня англичанином. По всей вероятности, пастухи объясняли моим английским происхождением тот маленький иностранный акцент, который подмечали у меня. Вот мне и пришла в голову следующая мысль: если в Шотландии я слышу англичанином, то почему бы мне не выдавать себя за шотландца в Англии? Я решил, что в крайнем случае попытаюсь говорить шотландским народным наречием; благодаря знакомству с Симом и Кэндлишем, я приобрел богатый запас местных слов и чувствовал, что сумею рассказать историю собаки Туиди так искусно, что это обманет даже настоящего шотландца. В то же время я боялся, что моя фамилия мало подходит к избранной мною роли, но вскоре мне в голову пришло, что в Корнваллисе есть город, носящий название Сент-Ив, и задумал выдавать себя за уроженца этого города. Я не имел ни малейшего понятия о том или другом роде торговли или ремесла, и каждый простак мог бы совершенно случайно уличить мене во лжи, если бы я вздумал говорить о себе как о деловом человеке, поэтому я решил рассказывать, будто я имею достаточные средства, ничем не занимаюсь, путешествую на собственный счет ради здоровья, самообразования и в надежде испытать приятные, веселые приключения.

Первым городом, в который я вошел, был Нью-Кэстль. Чтобы придать себе вид беззаботного путешественника, я раньше, нежели направиться в гостиницу, купил чемодан и пару кожаных гетр. С пледом я не расставался, продолжая его носить ради воспоминания о Флоре и полагая, что он окажется мне очень полезным в случае, если меня снова застигнет ночь под открытым небом. Кроме того, я сознавал, что плед должен идти к стройному, умеющему держаться человеку. Явившись в гостиницу, я вполне походил на беспечного молодого англичанина, путешествующего пешком. Правда, я услышал удивленные замечания по поводу того времени года, которое я выбрал для моих странствий, но объяснил это делами, задержавшими меня, и с улыбкой прибавил, что я считаю себя эксцентричным человеком. Я говорил, что нет ни одного времени года, нехорошего для меня, что я не сахарный, не паточный, а потому мне нечего бояться дурно проветренной спальни или снежной метели. При этом я, как молодой человек со спокойным, веселым сердцем, громко стучал кулаком по столу и приказывал подать себе вторую бутылку. Я держался правила: говорить очень много, ничего не высказывая. Когда я сидел за столом в какой-нибудь гостинице, окрестности, состояние дорог, интересы моих собеседников и общественные вопросы доставляли мне достаточный материал для длинных разговоров, во время которых я мог не говорить о себе. Невозможно было представить, по видимому, менее сдержанного человека, нежели я; я очень скоро входил в общество, рассказывал вымышленную историю о моей тетке, настолько правдоподобную, что, выслушав ее, всякий самый подозрительный человек успокаивался. «Неужели, – вероятно, думал каждый из моих собеседников, – этот молодой осел может скрыть что-нибудь? Он так долго болтал мне про свою тетку, что у меня заболела голова. Скажите ему одно слово, так он примется толковать вам о своем происхождении и начнет с Адама, да вдобавок даст отчет о размерах своего состояния!»

Какой-то солидный малый почувствовал такую жалость при виде моей неопытности, что дал мне несколько советов: он говорил, что я только молодой человек (действительно, в то

время я был замечательно моложав, и всякий легко верил, что мне двадцать один год, а это было до крайности удобно для меня), что в гостиницах собирается очень смешанное общество, что мне следует быть осторожней и так далее, и так далее; на это я ответил моему собеседнику, что у меня нет дурных замыслов и я не думаю, чтобы кто-нибудь сделал мне зло.

– Вы один из тех осторожных людей, с которыми я никогда не сживусь, – сказал я. – Вы из длинноголовых людей. Весь род человеческий делится на длинноголовых и на короткоголовых. Я, например, принадлежу к разряду короткоголовых.

– Полагаю, что вас очень скоро обстригут, – заметил он. Я предложил моему собеседнику побиться об заклад, что этого не случится, и он ушел, покачивая головой.

Самое глубокое наслаждение доставляли мне разговоры о политике и войне. Никто больше меня не нападал на французов, никто с большей горечью не говорил об американцах, нежели я. Когда появлялась почта, направлявшаяся к северу, увенчанная остролистом, когда кучер и кондуктор громко возвещали победу, я доходил до того, что угощал все общество пуншем и, не скупясь, приготавливая его, восклицал:

– За нашу славную нивельскую победу! Да здравствует лорд Веллингтон! Благослови его Господь! Да сопутствует ему победа! – или: – Бедняк Сульт! Пусть он снова испытает то, что уже испытал.

Никогда оратор не заслуживал большего одобрения, никогда никто не бывал так популярен, как я! Уверяю вас, мы, случалось, пировали целую ночь. Под утро некоторые члены нашей компании помогали другим, не без участия прислуги, добираться до их спален, тогда как остальные спали на том поле славы, на котором мы их оставляли. За завтраком на следующее утро можно было видеть сборище красных глаз и дрожащих рук. По моим наблюдениям, при дневном свете патриотизм горел гораздо слабее, нежели по вечерам. Да не осудит меня никто за мое бесчувственное отношение к несчастьям Франции! Бог видел, какая злоба зажигалась в моем сердце, как мне хотелось броситься на стадо этих свиней, и в ту минуту, когда они шумно пировали, ударить их друг о друга головами! Примите во внимание мое положение и все, чего оно требовало от меня; вспомните, что я обладал известной долей легкомыслия, присущего французам и составляющего главную основу моего характера, которая заставляет меня относиться к новым для меня условиям с чисто мальчишеским душевным настроением! Пожалуй, можно согласиться, что эта черта иногда заводила меня за границу благоразумия и порядочности. Однажды я был наказан за подобное поведение.

Дело происходило в епископском городе Дургаме. Обедала довольно многочисленная компания; большая часть членов нашего общества принадлежала к старинным, знатным английским тори, к тому классу, который нередко бывает настолько переполнен чувством энтузиазма, что делается совершенно безгласным. Я с самого начала овладел разговором и все время руководил им. Зашла речь о действиях французов на полуострове; основываясь на авторитете моего двоюродного брата-поручика, я рассказал о каннибальских оргиях, происходивших в Галиции при участии самого генерала Каффарелли. Я никогда не любил этого командира, однажды посадившего меня под арест за нарушение дисциплины; легко может стать, что чувство мести заставило меня сгустить краски картины. Теперь я не помню подробностей, но, вероятно, они отличались яркостью. Мне было приятно дурачить этих болванов, а сознание безопасности, которое явилось во мне при взгляде на их тупые лица с широко разинутыми ртами, заставило меня зайти крайне далеко. В наказание за мои грехи среди моих слушателей сидел один, все время молчавший человек; он оценил мой рассказ по достоинству; не юмор помог ему правильно понять меня, так как он не был способен подметить юмор в моих словах, не ум сделал его проницательным, так как у него не было ума. Симпатия заставила его прозреть, симпатия, а ничто другое.

Как только окончился обед, я вышел на улицу и стал бродить, намереваясь взглянуть на собор. Маленький человечек очутился вблизи меня, он крался по моим пятам. Я отошел уже

от гостиницы и был в темном месте улицы, когда вдруг почувствовал, что кто-то дотронулся до моей руки; я поспешно обернулся и увидел, что мой молчаливый слушатель смотрит на меня ясным, взволнованным взглядом.

– Простите меня, сэра, но вы рассказали превосходную историю! Хи, хи! Замечательная история! – говорил он. – Смею заверить, что я вполне понял вас! Я пронюхал все! Мне кажется, сэра, если бы мы поговорили с вами как следует, мы во многом сошлись бы. Вот «Голубой Колокольчик». Это очень порядочное место. Тут дают отличный эль, сэра. Но согласитесь ли вы распить со мной бутылочку?

В обращении маленького человека проглядывало нечто до такой степени странное и таинственное, что я почувствовал сильное любопытство (не могу не сознаться в этом). Я согласился на его предложение, хотя в ту же минуту мысленно упрекнул себя за безрассудство; вскоре мы сидели друг перед другом, между нами стоял кувшин приправленного пряностями эля. Маленький человечек понизил голос до шепота, говоря:

– Ну, сэра, выпьем за великого человека. Надеюсь, вы понимаете меня? Нет?

Он наклонился, наши носы почти соприкасались один с другим.

– За императора! – проговорил он.

Я сильно смутился и, несмотря на невинные приемы моего собеседника, несколько встревожился. Я не думал, что он шпион, так как находил его слишком изобретательным и слишком смелым для этого. Однако, будучи честным человеком, он оказался бы уж чересчур безрассудным, а потому бежавшему пленнику не следовало слишком ободрять его. Я решился на полумеру, молчаливо принял его тост и выпил без особенного удовольствия.

Он продолжал расточать такие похвалы Наполеону, каких я никогда не слышал во Франции, или слышал только от лиц, занимающих официальные места.

– А Каффарелли, – продолжал он, – он тоже чудный человек? Правда? Мне не случалось много слышать о нем, никаких подробностей, сэра, никаких! Ведь нам с большим трудом удается получать правдивые известия.

– Помнится, и в других странах случалось мне слышать подобные жалобы, – невольно заметил я. – Что касается Каффарелли, то о нем следует сказать, что он не разбит параличом и не слеп, что у него две ноги, а нос сидит на середине лица. Мне же до него не больше дела, чем вам до тела покойного мистера Персиваля!

Пылающие глаза моего собеседника впились в меня.

– Вам не удастся меня обмануть! – вскрикнул он. – Вы служили под его начальством! Вы француз! Наконец-то я вижу перед собой представителя благородной расы, одного из пионеров славных принципов свободы и братства! Тише! Нет, все спокойно, а то мне послышалось, будто кто-то подошел к двери. В этой несчастной, порабощенной стране мы даже лишены права называть собственностью свою душу. У нас главные люди – шпион и палач, да, сэра, шпион и палач! Но и у нас горит свет. Хорошая закваска работает, сэра, работает невидимо, внизу... Даже в этом городке есть небольшое количество людей с честными душами, людей, которые собираются вместе по средам. Оставайтесь дня на два, на три и посетите нас. Мы собираемся не здесь, а в другом, более спокойном месте. Там дают прекрасный эль, прекрасный, вкусный. Вы очутитесь в обществе друзей, братьев. Вы услышите много смелых мыслей! – вскрикнул он, выставляя вперед свою узкую грудь. – Монархия, христианство!.. Свободное братство Дургама и Тайнесэнда осмеивают все эти обманы надутого прошлого!

Человек, желавший только остаться незамеченным, имел полное право послать к черту подобное предложение! Свободное братство не привлекало меня – смелые мысли были не для меня. Я постарался несколько охладить своего собеседника.

– По-видимому, вы забываете, сэра, что мой император восстановил христианство, – заметил я.

– Ах, сэр, это только ради политики! – вскрикнул маленький человечек. – Вы не понимаете Наполеона. Я следил за ним и могу с начала до конца объяснить его политику. Возьмем для примера Испанию, о которой вы говорили такие интересные вещи; если вы зайдете со мной в дом моего друга, у которого есть карта Испании, я менее чем в полчаса, объясню вам весь ход войны.

Это было нестерпимо. Мысленно я решил, что из двух крайностей я предпочитал британского тори; пообещав встретиться с моим собеседником на следующий день, я сослался на внезапную головную боль и быстро направился к гостинице. Там я уложил свой чемодан и около девяти часов вечера тронулся в путь, желая убежать от проклятого, опасного соседства с этим вольнодумцем. Стоял холодный, звездный, светлый вечер; подморозило, и потому дорога была совершенно суха. Несмотря на все это, я не имел ни малейшего намерения долго оставаться на открытом воздухе; около десяти часов я заметил с правой стороны дороги освещенные окна харчевни и вошел в нее провести ночь.

Поступая так, я действовал против своих правил, так как вообще решил останавливаться только в самых дорогих гостиницах. То неприятное приключение, которое произошло со мной в харчевне, заставило меня впоследствии быть еще разборчивее. В общей зале сидело множество народа, тяжелые клубы дыма переполняли воздух: комнату заливал свет угля, с треском горевшего в камине. Очень близко от огня стоял пустой стул – это место показалось мне очень заманчивым: сев на него, я мог бы спокойно греться и наслаждаться обществом. Я только что хотел опуститься на этот стул, когда человек, сидевший близ него, остановил меня.

– Прошу извинения, сэр, – заметил он, – но это место принадлежит британскому воину.

Послышался целый хор голосов, подтверждавших и объяснявших мне это замечание. Говорилось об одном из героев лорда Веллингтона. Он был ранен под Раулэнд-Гиллем. Он служил правой рукой Кольбурну. Словом, выходило так, что неведомый мне счастливцев служил во всех отдельных корпусах и под начальством всех генералов, находившихся на Пиренейском полуострове. Я, конечно, поспешил извиниться. Я не знал, кому принадлежало место у огня. Уж, конечно, солдат имел право на все, что было лучшего в Англии. Мои слова заслужили всеобщее одобрение; я сел на краешек скамейки и стал ожидать возвращения героя, надеясь позабыться. Он, как и следовало ожидать, оказался рядовым. Я говорю: «как и следовало ожидать», потому что ни один офицер не мог бы заслужить такой популярности. Его ранили при Сан-Себастьяне, и он еще носил руку на перевязи. Хуже этого для него было то, что каждый из сидевших в харчевне считал своим долгом выпить с ним. Его открытое лицо пылало точно от лихорадочного жара, глаза помутились и смотрели неопределенно; когда он среди приветственного восторженного ропота шел к своему стулу, ноги его заплетались.

Минуты две спустя я уже снова шагал по темной большой дороге. Чтобы объяснить, что обратило меня в бегство, придется рассказать читателю один эпизод из моей военной службы.

Однажды в Кастилии я лежал в наружном пикете. Неприятель стоял очень близко от нас; нам дали обычные приказания относительно курения, разговоров, относительно разведения огня; обе армии были молчаливы как мыши; вдруг я увидел, что английский часовой сделал мне знак, подняв свой мушкет. Я ответил ему тем же. Мы оба поползли вперед и встретились в русле пересохшего потока, составлявшего демаркационную линию между двумя армиями. Часовому хотелось вина, у них оно кончилось, а у нас оставался еще большой запас его. Англичанин дал мне денег, я же, как это обыкновенно у нас делалось, оставил ему в залог свое ружье и отправился за мехом. Когда я вернулся с вином, представьте себе, оказалось, какому-то беспокойному дьяволу в образе английского офицера понадобилось переместить отводный караул. Положение было ужасно, я попал в затруднение и в будущем мог ожидать только наказания. Правда, наши офицеры всегда смотрели сквозь пальцы на обмен подобных любезностей, но на такой крупный проступок, как мой, или, вернее, на такое плачевное приключение, как случившееся со мною, им пришлось бы обратить внимание. Вы можете себе вообразить, как я ночью

блуждал по кастильской равнине с мехом вина, не зная, куда деть его и даже не представляя себе, какая судьба постигла мое ружье, попавшее куда-то в армию лорда Веллингтона. Однако мой англичанин был очень честен, или же ему страшно хотелось выпить. В конце концов он дал мне знак, где его найти. И вот этот-то английский солдат, стоявший в Кастилии на часах, и раненый герой, вошедший в дургамскую харчевню, оказались одним и тем же лицом. Будь он немного менее пьян или не уйди я так поспешно из харчевни, странствования мистера Сент-Ива пришли бы к безвременному концу.

Мне кажется, это соображение и пробудило мои силы, заронило в меня дух сопротивления, и вот, несмотря на холод, тьму, несмотря на возможность встретиться с ночными бродягами и разбойниками, я решил идти до утра. Это счастливое намерение дало мне возможность быть свидетелем одного из тех обычаев, которые служат характеристикой страны и навлекают на нее осуждение. Около полуночи я увидел впереди себя на довольно большом расстоянии свет множества зажженных факелов. Вскоре я услышал скрип колес и шум медленных шагов, а через некоторое мгновение я сам уже присоединился к отталкивающему, ужасному, молчаливому шествию, к одной из тех процессий, которые иногда снятся нам. Около ста человек, освещенных светом факелов, шли в мертвенном молчании, среди толпы ехала телега, а в ней на наклоненной платформе лежал человеческий труп. Он составлял как бы центр этого торжественного шествия, казался героем, похороны которого мы справляли в странный неурочный час. Это было тело некрасивого, смуглого человека, которому казалось лет около пятидесяти или шестидесяти; на шее мертвеца виднелся порез, рубашка его была расстегнута как бы для того, чтобы показать ужасную рану; синие брюки и коричневые чулки дополняли его наряд, если так можно выразиться о мертвом. Труп походил на ужасную восковую фигуру. При колеблющемся неровном свете факелов казалось, будто лицо мертвого делало нам гримасы, хмурилось, порой чудилось, будто он готов заговорить. Телега, нагруженная этой печальной и ужасной поклажей, со скрипом двигалась по дороге, ее освещало пламя факелов, молчаливая толпа шла кругом. С чувством глубокого изумления я вместе с другими следовал за телегой, и скоро мое удивление превратилось в ужас. Шествие остановилось, дойдя до перекрестка; факелы вытянулись в линию вдоль края дороги. В эту минуту я увидел выкопанную яму и большую кучу негашеной извести, лежавшей в канаве. Телегу осадили у самого края ямы, тело соскользнуло с платформы и тяжело упало в приготовленную для него могилу. До этой минуты заостренный кол поддерживал труп. Теперь палку вынули, и когда тело упало в яму, несколько человек схватили его, чтобы оно не сдвинулось с места, а один парень взял деревянный молоток (я до сих пор иногда по ночам слышу звук его ударов) и стал проколачивать колом грудь мертвеца. Когда молодой крестьянин окончил свое дело, могилу засыпали известью. Все участники церемонии, по-видимому, освободились от угнетавшей их тяжести и принялись шепотом переговариваться.

Я чувствовал, что рубашка моя прилипла к телу, а сердце замерло от ужаса. С трудом произнося слова, я спросил у моего соседа:

– Извините, но не объясните ли вы мне, что все это значит? Что сделал он? Все, что я видел, позволяется?

– Откуда вы? – спросил мой собеседник.

– Я путешественник, сэръ, – ответил я, – и эта часть Англии мне совершенно незнакома. Я сбился с пути, увидел свет ваших факелов и нечаянно сделался свидетелем этой... этой невероятной сцены. Что это за человек?

– Самоубийца, – был ответ. – Нехорошо жил Джонни Грин.

Оказалось, что Грин был мошенником, совершившим множество зверских убийств. Когда он узнал, что его деяния должны открыться, то покончил с собой. Вся сцена на перекрестке, похожая на видение ужасного кошмара, была обычным наказанием, которое английские законы налагали за поступок, почитавшийся римлянами подвигом добродетели. Когда

я слышу, что англичанин начинает при мне болтать о цивилизации (а бритты любят это), я слышу мерные удары деревянного молота, вижу толпу, стоящую кругом могилы с факелами в руках, слегка улыбаюсь про себя с сознанием собственного превосходства и выпиваю крошечную рюмочку водки для здоровья желудка.

Кажется, на следующую же ночь (помнится, я лег очень рано) мне случилось остановиться в хорошем отеле, устроенном по образцу старых английских гостиниц; в моей комнате прислуживала прехорошенькая горничная. Мы с ней весело болтали, пока она хлопотала у стола и грела мне постель латунной грелкой, бывшей больше ее самой. Девушка казалась так же смела, как и миловидна, поэтому можно сказать, что она сделала первые шаги к дружескому сближению. Не знаю уж почему (разве потому, что у служанки были очень нежные глаза), я выбрал ее в поверенные и рассказал ей о своей любви к молодой шотландке; девушка ободряла меня не без своеобразного остроумия.

Пока я спал, подле гостиницы остановился дилижанс, шедший к югу; пассажиры зашли поужинать, и один из них оставил на столе номер «Эдинбургского Курьера». На следующее утро моя хорошенькая горничная принесла мне газету, заметив, что я могу в ней узнать новости о той, которую любил. Я с жадностью схватил листок, надеясь, что в нем прочту нечто о беглецах из Эдинбургского замка, но в этом отношении мне пришлось разочароваться. Я уже собирался отложить газету в сторону, как вдруг увидел статью, прямо касающуюся меня. Опасно больной Фаа лежал в госпитале, было отдано приказание арестовать Сима и Кэндлиша. Эти люди поступили относительно меня так честно, их постигла такая большая неприятность, что я чувствовал себя обязанным отплатить им их же монетой. Я решил, что если мое свидание с дядей окончится счастливо и мои денежные дела устроятся, я немедленно вернусь в Эдинбург, передам процесс Сима и Кэндлиша в руки опытного адвоката и стану выжидать дальнейших событий. Так я в уме очень скоро привел к благополучному окончанию это серьезное дело. Сим и Кэндлиш были в своем роде славными людьми, и я искренно верю, что, не будь даже у меня особых побуждений вернуться в Эдинбург, я все же приложил бы много стараний, чтобы помочь им. Однако мое сердце было переполнено другими намерениями, и я почти с удовольствием узнал о неприятности, постигшей погонщиков. Никто не назовет дурным тот ветер, который дует в сторону, привлекающую его, и вы, конечно, поверите, что я не мог найти ничего неприятного в обстоятельстве, которое могло меня снова вернуть в Эдинбург к Флоре. С этой минуты я принялся представлять себе сцены встреч и свиданий с любимой девушкой и ее родными, я в воображении приводил тетку в крайнее замешательство, мстил Рональду, и то шутливо и остроумно, то прочувствованно, с глубоким волнением говорил о Флоре, о своей любви к ней и слышал от нее признание во взаимности. Благодаря этому занятию, мое решение становилось все тверже с каждым днем; наконец, во мне скопилось такая масса упрямой настойчивости, что желание подавить ее, казалось, вызвало бы переворот в природе.

– Да, – сказал я горничной, – здесь действительно есть новости о той, которую я люблю, и очень хорошие новости.

Весь этот день я, чувствуя холодное дыхание зимнего ветра, кутался в мой плед, и мне чудилось, будто руки милой девушки обнимают меня.

Глава XII

Я иду за крытым фургоном почти до самой цели моих странствований

Мало-помалу я приближался к Вэкфильду; имя мистера Берчеля Фенна все чаще и чаще приходило мне на ум. Этот человек (как, вероятно, читатель не забыл) помогал французским беглецам. Я не знал, как принимался он за дело. Была ли у него вывеска: «Тут помогают беглецам, обратитесь в дом», какую плату брал он за свои услуги или не оказывал ли помощи даром, во имя милосердия. Все это было мне совершенно неизвестно и крайне занимало меня. Я хорошо владел английским языком, свободно располагал деньгами, переданными мне мистером Романом, а потому обходился довольно хорошо и без Берчеля Фенна; однако я не мог быть спокойным, не разгадав всех этих тайн, и главным затруднением для уразумения их служило то обстоятельство, что мне было известно только имя этого человека, больше же ровно ничего. Я не знал, чем занимается он кроме помощи бежавшим, не знал, беден ли Фенн или богат, живет ли в деревне или в городе, не мог даже сообразить, как обратиться к нему, чтобы заслужить его доверие. Было бы очень неблагоприятно идти вдоль дороги и справляться у всех и каждого о человеке, о котором я мог сказать так мало, это было бы очень подозрительно, а если бы я явился в его дом как раз в то время, когда его заняла полиция, я поступил бы как глупец. Тем не менее желание разрешить загадку увлекало меня, и я свернул с прямой дороги, чтобы пройти через Вэкфильд; я насторожил уши, надеясь услышать имя Фенна, а во всем остальном полагался на мою счастливую звезду. Если удача (это божество должно быть женского рода) доставит мне встречу с Фенном, рассуждал я, буду благодарен ей от души, в противном же случае – не стану долго горевать. Конечно, можно считать чудом, что я, находившийся в положении человека, делающего опыт, мог довести задуманное до счастливого конца; многие святые календари имеют право пожелать стать на место Сент-Ива.

Я переночевал в Вэкфильде в хорошей гостинице, позавтракал при свете свечи за одним столом с пассажирами дилижанса, шедшего на север, затем двинулся вперед, очень недовольный собой и всем окружающим. Было еще раннее утро; в воздухе чувствовались резкость и холод; солнце стояло низко и вскоре скрылось под широкой завесой дождевых облаков, собравшихся на северо-западе, а затем затянувших все небо. Полились светлые струйки дождя, послышалось журчание воды в стоках и в канавах; я уже ожидал, что мне придется промокнуть насквозь и целый день мучиться, чувствуя на своем теле мокрое платье: ощущение сырости я ненавижу, как кошка! Вдруг на повороте дороги при свете последнего луча солнца, пропадавшего в тучах, я заметил небольшой закрытый фургон невиданной мною формы; экипаж, запряженный двумя клячами, медленно двигался передо мной. Все, что может заставить пешехода забыть неприятности, которые ему готовит дождливый день, крайне интересно для него; я ускорил шаги, чтобы нагнать странную фуру.

По мере того, как я подходил к ней, вид ее поражал меня все больше и больше. Экипаж походил на фургончики, которые, как я слышал, бывают у продавцов ситца. На двух колесах стоял ящик, спереди были устроены козлы для кучера. Ящик закрывался дверью, и в нем могло бы поместиться большое количество материи или (в случае крайности) человек пять. Но если бы человеческим существам было суждено путешествовать в такой коробке, я от души пожалел бы их. Им пришлось бы ехать в темноте (в ящике не было ничего похожего на окошко), их бы трясло всю дорогу, как мы трясем банку, наполненную лекарством, потому что экипаж не только казался до крайности неуклюж на вид, но еще был плохо уравновешен на одной оси и сильно качался. Вообще, если в моей голове и промелькнула мысль, что фургон мог служить каретой, я сейчас же разуверял себя в том; тем не менее, мне очень хотелось узнать, что заклю-

чается в нем и откуда он едет. На колесах и на лошадях виднелось множество брызг дорожной грязи различных цветов, так что можно было подумать, что странный экипаж приехал издалека и пересек различные области страны. Кучер постоянно и безуспешно хлопал бичом. По-видимому, был сделан длинный переезд, очень вероятно продолжавшийся целую ночь, и теперь, в этот ранний утренний час (стрелка моих часов перешла немного за восемь), кучер чувствовал, что он запоздал. Я поискал имя владельца на дышле и вздрогнул, прочитав: «Берчель Фенн». Счастье улыбалось беззаботному человеку.

– Дождливое утро, братец! – сказал я.

Кучер, на вид глуповатый малый с неуклюжей головой и лицом, напоминающим репу, вместо ответа принялся жестоко стегать своих лошадей; однако усталые животные, с трудом передвигавшие ноги, не обратили на это ни малейшего внимания, и я без труда мог продолжать идти рядом с фурой, украдкой посмеиваясь над бесплодными стараниями возницы и в то же время чувствуя громадное желание узнать, зачем он старается уехать от меня. Во мне не было ничего такого страшного, что заставляло бы людей бежать от меня, а как человек с нечистой совестью, я чаще чувствовал себя в тревоге, нежели смущал своим приближением других. Наконец кучер перестал размахивать бичом и с видом побежденного человека, отложил его в сторону.

– Вам хотелось уехать от меня? – заметил я. – Ну уж это совсем не по-английски.

– Простите, я не желал вас обидеть, – проговорил кучер, приподнимая свою шляпу.

– Да я и не обиделся! – вскрикнул я. – Мне очень хотелось побалагурить и поболтать с вами.

Кучер пробормотал, что ему не до веселья.

– Тогда я попробую что-нибудь иное, – сказал я. – О, я могу быть «всеми для всех», как апостол. Смею сказать, что мне приходилось путешествовать с людьми еще более тяжелыми, нежели вы, и я всегда умел поладить с ними. Вы домой?

– Да, я еду домой, – ответил он.

– Это мне очень приятно, – проговорил я. – Пожалуй, нам придется долгое время пробыть вместе; мы с вами попутчики. А вот что мне пришло в голову: не подвезете ли вы меня? На козлах у вас есть еще для меня местечко.

Кучер внезапно ударил лошадей и опередил меня ярда на два, однако, сделав несколько скачков, лошади остановились. Кучер погрозил мне бичом.

– Не делайте этого! – проговорил он. – Со мною так не поступают.

– Как не поступают? Я попросил у вас позволения сесть на козлы, но у меня и в мыслях не было насильно вскочить рядом с вами, – произнес я.

– Ладно, мне поручена фура и лошади, – сказал кучер. – Я не имею дел с бродягами.

– Благодарю вас за трогательное доверие, – заметил я и как бы нечаянно подошел поближе к экипажу. – Здесь пустынное место и того и гляди что-нибудь случится. Но уж, конечно, не с вами! Мне это нравится в вас, нравится ваша осторожность, ваша пастушеская застенчивость. Но почему бы вам не лишить меня возможности быть для вас опасным? Почему бы вам не поместить меня в ваш ящик или как вам будет угодно назвать этот экипаж.

При этом я самым демонстративным образом положил руку на корпус странного фургона.

Уже и раньше кучер выказывал боязливость, но в это мгновение он, казалось, потерял дар речи и только смотрел на меня, как бы охваченный сильнейшим ужасом.

– Почему бы нет? – продолжал я. – Ведь мысль моя недурна. Сидя в ящике, я был бы вполне безвреден для вас, будь я самым чудовищем Уильямсом. Главное – запереть меня на ключ. Дверь, конечно, запирается, она и теперь заперта, – проговорил я, пробуя дверцу. – Да, кстати, скажите, какой товар везете вы? Верно, что-нибудь драгоценное?

Кучер не ответил. Я постучал в дверцу, точно хорошо дрессированный лакей. Спросив: «Дома ли кто-нибудь?», я прислушался. В ящике кто-то чихнул, стараясь подавить первое появление неудержимого пароксизма. Сейчас же послышалось новое чихание. Кучер с проклятием обернулся ко мне и потом с такой яростью ударил лошадей, что у них внезапно явились силы, клячи поскакали галопом, увлекая экипаж.

Когда я услышал чиханье, я отшатнулся, точно подстреленный. В следующую же минуту в голове моей просветлело, и я все понял. Я напал на тайну ремесла Фенна; вот каким способом перевозил он беглых. Он ночью, под видом товара, переправлял их в закрытом фургоне. Со мной рядом был француз, чихнул мой соотечественник, мой товарищ, быть может, мой друг. Я бросился бежать.

– Стой, – кричал я, – стой! Это все хорошо! Стой!

Но кучер только на одно мгновение повернул ко мне свое бледное лицо и тотчас же с удвоенным рвением принялся погонять лошадей; он кричал на них, наклонялся вперед и усиленно работал бичом; лошади скакали, вытягиваясь по земле, звон их копыт о большую дорогу так и раздавался. Экипаж прыгал по колеям, исчезая во мгле дождя и разлетающихся брызг грязи. Всего минуту тому назад он тащился как хромя корова, теперь же можно было подумывать, будто бегуны Аполлона увлекали таинственный ящик на колесах. Чего не сделает напуганный человек.

Мне оставалось последовать примеру кучера: я бежал изо всех сил, чтобы расстояние между мной и экипажем не увеличилось; с тех пор, как я знал, что мои соотечественники так близко от меня, моей главной целью сделалось старание не отстать от фуры. Ярдов через сто кучер свернул в сторону на проселочную дорогу, обсаженную безлиственными деревьями; экипаж скрылся из виду; когда я снова увидел его, то заметил, что благодаря стараниям возницы расстояние между мной и фургоном сильно увеличилось, но всякая опасность потерять его след пропала – лошади еле плелись. Убедившись, что кучеру не удастся уехать от меня, я пошел медленнее.

Дорога сделала поворот под прямым углом, и я увидел калитку и начало усыпанного гравием склона; вскоре передо мной показался красный кирпичный дом, выстроенный лет семьдесят тому назад в красивом архитектурном стиле. Его фасад со множеством окон выходил на зеленую площадку и в сад. Дальше я заметил различные хозяйственные строения и верхушки стогов; я понял, что эта барская усадьба в настоящее время превратилась в жилище арендатора-фермера, который мало заботился о ее внешнем виде и о комфорте. Повсюду виднелись следы небрежности: кусты цветущих растений разрослись и перевесились через терновые бордюры, лужки имели неухоженный вид; во многих окнах дома не хватало стекол, и они были безобразно заклеены бумагой. Чаща деревьев, по большей части молодых, окружала усадьбу, скрывая ее от нескромных взглядов соседей. Когда я увидел дом Фенна в это печальное зимнее утро, дождь лил потоками, а поднявшийся ветер налетал порывами и выл, проносясь над старыми трубами. Экипаж уже стоял перед входной дверью, и кучер о чем-то с жаром рассуждал с мистером Берчелем Фенном. Фенн смотрел на своего слугу, заложив руки за спину. Это был человек с неуклюжим, толстым телом, с отвислыми, как у теленка, губами и лицом красным, точно осенняя луна; его костюм – жокейская фуражка, синяя блуза и сапоги с отворотами – придавал ему сходство с солидным фермером-арендатором.

Фенн и кучер, несмотря на мое приближение, продолжали разговаривать, но, наконец, умолкли, выпучив на меня глаза. Я снял шляпу.

– Я имею удовольствие говорить с мистером Берчелем Фенном? – спросил я.

– Точно так, – ответил Фенн и в ответ на мой поклон снял фуражку. Однако его движение было медленно, а взгляд рассеян, как это бывает с людьми, занятыми какими-либо мыслями.

– А вы кто? – спросил он.

– Я вам скажу это со временем, – сказал я. – Теперь же вам достаточно знать, что я пришел по делу.

Фенн, по-видимому, очень усердно пережевывал мои слова – рот его полуоткрылся, маленькие глазки ни на минуту не отрывались от моего лица.

– Простите, сэръ, если я напомню вам, что стоит дьявольски сырое утро, – заметил я, – и что уголок подле камина и, если возможно, стакан чего-либо горячего крайне необходим сегодня.

И действительно, дождь превратился в страшный ливень, водосточные трубы дома Фенна положительно ревели; пронзительный непрерывный треск переполнял воздух. Тупость орошенного дождем лица Фенна производила на меня далеко не успокоительное впечатление. Напротив, меня терзало темное предчувствие, страх, который не уменьшался от того, что кучер, наклонясь с козел, смотрел на нас с выражением лица птицы, замершей под влиянием чар. Так молча стояли мы, пока в экипаже не послышалось снова чихания; кучер мгновенно точно переродился, ударил по лошадям, экипаж покатился, переваливаясь из стороны в сторону, и исчез за углом дома. Мистер Фенн пришел в себя и, повернувшись к двери, у которой стоял, сказал мне:

– Войдите пожалуйста, прошу извинения, замок ходит немного туго.

Действительно, Фенн употребил необыкновенно много времени на то, чтобы открыть дверь, она не только была заперта снаружи, но, кроме того, по-видимому, давно не отпиралась, а потому замок еле двигался. Наконец, Фенн отступил, давая мне дорогу, и я вошел в дом; меня встретил тот особенный явственный звук дождя, который раздается только в пустых комнатах. Передняя была просторна и пропорциональна, по ее углам стояли растения, посаженные в вазы; на каменном полу виднелись грязные следы ног, валялась солома. Все убранство комнаты составлял стол из красного дерева, такой, какие обыкновенно ставят в передних. К нему когда-то была прилеплена свеча, догоревшая до конца, горела она давно; я ясно видел это, потому, что следы, оставшиеся от нее, покрылись зеленой плесенью. Под наплывом новых впечатлений мой ум работал с поразительной живостью. Ни в уединенном доме, ни в заброшенном саду, ни в роще не было ни души, кроме меня, Фенна и его слуги: обстоятельства, по-видимому, могли благоприятствовать темному деянию. Мне представилась следующая картина: две плиты вынуты из пола в передней, и кучер в дождливый день закрывает ими мою могилу. Это не понравилось мне. Я почувствовал, что завел шутку чересчур далеко, и она стала небезопасной; мне следовало, не теряя времени, сообщить Фенну, кто я такой на самом деле. Я уже обдумывал, в каких выражениях заговорю с ним, как вдруг сзади меня громко захлопнулась входная дверь. Я быстро обернулся, наотмашь ударил палкой и этим спас себе жизнь. Промедли я мгновение – было бы уже поздно.

Внезапность нападения и собственная массивность давали моему противнику значительный перевес надо мной. В правой руке Фенн держал очень большой пистолет, и мне пришлось приложить все мои силы, чтобы отклонить от себя это смертоносное оружие; левой он, обхватив меня, прижимал к себе с такой силой, что мне казалось, будто силач или раздавит, или задушит меня. Лицо Фенна побагровело, рот открылся, и из его гортани вырывались какие-то нечеловеческие звуки. Однако бывшие попойки, от которых так распухло тело Фенна, теперь отозвались на его энергии. Он сделал страшное усилие и еще раз стиснул меня так, что это почти лишило меня сознания; в то же мгновение пистолет, на мое счастье, выстрелил; затем я почувствовал, что объятие моего врага стало не так страшно сжимать меня. Все мышцы Фенна ослабели, ноги его согнулись, и он тяжело упал на колени.

– Пощадите! – задыхаясь прошептал Фенн.

Я не только страшно испугался, я был потрясен; все, что есть в моей натуре тонкого и нежного, глубоко возмущалось. Я испытывал чувство женщины, которой грозило насилие подобного зверя. Я отодвинулся от Фенна, чтобы не прикасаться к этому отвратительному

человеку, поднял пистолет (даже разряженный он мог служить отличным оружием) и, взяв его за дуло, замахнулся прикладом на моего противника.

– Вас-то щадить? – крикнул я. – Животное!

Слова Фенна умирали, не выходя из его жирного горла, но губы с жаром повторяли, по-видимому, ту же самую мольбу. Гнев мой почти улегся, но отвращение еще переполняло меня. Вид этого человека был мне противен, и я с нетерпением желал поскорее уйти от него.

– Ну, – произнес я, – довольно! Мне надоело все это. Я не убью вас, слышите? Вы мне нужны.

Почти прекрасное выражение покоя разлилось по лицу Фенна.

– Я готов на все, чего вы пожелаете, – проговорил он.

Все – слово, имеющее большое значение; услышав его в устах Фенна, я на минуту задумался.

– Что вы хотите сказать? – спросил я. – Не то ли, что вы готовы махнуть рукой на ваше дело?

Он ответил мне «да», сопровождая это слово жаркими уверениями.

– Я знаю, что виконт де Сент-Ив замешан в ваше предприятие, – продолжал я. – По его бумагам мы выследили вас. Вы согласитесь выдать остальных?

– Да, да, назову всех, – воскликнул он. – Всю шайку. Между ними есть люди с громкими именами. Я выступлю свидетелем.

– Значит, пусть вешают всех, кроме вас? Ах, вы проклятый негодяй! – говорил я. – Поймите же вы, я не шпион и не полицейский, я родственник виконта и действую в его интересах. Честное слово, мистер Берчель Фенн, славно вы поступаете! Ну, вставайте же, бесчестный негодяй!

Фенн с трудом поднялся. Если бы он не потерял всякого мужества, мне пришлось бы очень плохо. Я нерешительно смотрел на него и действительно имел полное основание колебаться. Этот человек оказался изменником вдвойне; он хотел убить меня, а я сперва заставил его потерпеть неудачу, а потом уличил и оскорбил его; было ли благоразумно оставаться у него в руках? Правда, с его помощью я мог совершить мое путешествие в более короткое время, нежели без него, но, конечно, в этом случае странствие мое стало бы гораздо менее приятным; вдобавок, все ясно указывало на то, что полагаться на Фенна было рискованно. Словом, не соблазни меня страстное и естественное желание очутиться в обществе французских офицеров, я немедленно расстался бы с Фенном. Я мог увидеть моих соотечественников, только немедленно помирившись с Фенном; это было ясно как день, однако вступить с ним в хорошие отношения казалось нелегко. Люди превращаются в друзей путем обоюдных уступок, а что уступить мог я? Что знал я о Фенне, кроме того, что он оказался низким, дрянным человеком и глупцом?

– Ну, – заметил я, – то, что произошло между нами, чистые пустяки; полагаю, вам не особенно приятно думать обо всем этом, да, говоря правду, я и сам с удовольствием забуду о случившемся. Постараемся сделать это. Возьмите-ка ваш пистолет, он прескверно пахнет; спрячьте его в карман или, словом, туда, где вы держали его до сих пор. Так! Теперь мы будто бы только что встретились. Позвольте пожелать вам доброго утра, мистер Фенн. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо? Я являюсь к вам по рекомендации виконта де Сент-Ива.

– Вы действительно полагаете, что нам возможно будет забыть наше маленькое недоразумение? – воскликнул Фенн.

– Еще бы! – подтвердил я. – То, что произошло, выяснило, что вы смелый малый, способный забыть все в случае нужды. В нашем маленьком столкновении не было ничего, что говорило бы против вас; вы доказали только, что смелости у вас больше, чем силы. Вы теперь уже не так молоды, вот и все.

– Вас же я попрошу только об одном: не выдавайте меня виконту, – проговорил Фенн. – Просто у меня замерло сердце, и я сказал то же, что сказал бы всякий другой на моем месте.

Я подтвердил его слова:

– Конечно, мое мнение совершенно то же.

– Я беспокоюсь насчет виконта, так как он, как мне кажется, способен принимать быстрые решения, – продолжал Фенн. – Между тем мое дело очень выгодно, только трудно, сэр, очень трудно. Оно прежде времени состарило меня. Вы сами, сэр, могли убедиться, что колени у меня ослабели. Колени и дыхание – вот мое горе. Но я уверен, сэр, что вы, как истинный джентльмен, не пожелаете ссорить двух друзей.

– И имеете полное право так думать, – сказал я. – Без сомнения, я не остановлюсь ни на одном из этих второстепенных обстоятельств, когда буду передавать виконту обо всем, что произошло.

– Чем окажете ему услугу (если позволите мне выразиться таким образом), – сказал Фенн. – Мне следовало бы сразу почувствовать, кто вы такой. Смею ли я вам предложить домашнего эля? Покорно прошу! Пожалуйте сюда. Я очень счастлив, что могу чем-нибудь служить такому джентльмену, вдобавок родственнику виконта, и той семье, которою вы, сэр, можете гордиться. Прошу вас осторожнее, тут порог. Надеюсь, вы имеете хорошие известия о здоровье виконта? А о здоровье графа тоже?

Прости Господи! Этот ужасный человек еще не отдышался после своего свирепого нападения на меня, а уже впал в ласковый и почтительно-фамильярный тон старого слуги, уже льстиво говорил мне о моих родственниках!

Я вслед за Фенном прошел через дом и вскоре очутился на черном дворе. Кучер под навесом мыл экипаж. Конечно, он слышал выстрел, иначе и быть не могло: пистолет напоминал размером маленький мушкет, заряжен он был крайне сильно, и выстрел раздался громко, точно выстрел полевой пушки. Он слышал его и не обратил на это внимания; когда мы показались во дворе, кучер поднял бледное лицо, выражение которого показалось мне красноречивым как признание. Мошенник ожидал, что он увидит Фенна одного, что хозяин позовет его и велит ему исполнить то дело, которое он исполнял в картине, созданной моей фантазией.

Не стану рассказывать читателю, как мы вошли в кухню, как приправляли пряностями подогретый эль (что вышло очень вкусно), как пили и беседовали – Фенн, держась тона старого, верного подчиненного, а я... ну, право же, чувствуя удивленное восхищение при виде его поразительного бесстыдства, слыша его неестественно ласковые речи; скоро мне удалось победить в себе всякое злобное чувство. Этот человек даже притягивал меня к себе своей бесконечной наглостью. Я начал видеть в нем какую-то странную прелесть – его апломб был так величествен. Я никогда еще не видел подобного негодяя. Низость Фенна по величине не уступала размерам его огромного живота, и мне чудилось, что ни за то, ни за другое его даже и винить нельзя. Фенн был так добр, что пустился в рассказы о себе; он сообщил, что несмотря на войну и высокие цены на продукты, фермерское дело совсем не шло. Говорил и о том, что вдоль большой дороги тянется холодная сырая местность, что ветры, дожди, времена года – все, точно умышленно, является несвоевременно; рассказал мне толстяк и о том, как умерла миссис Фенн. «С тех пор прошло два года. Она, моя хозяйюшка, была замечательно хороша собой, сэр, если позволите сказать это», – проговорил он, поддаваясь внезапному припадку смирения. Словом, Фенн дал мне возможность изучить Джона Буля без прикрас: он показал мне его жадность, склонность к ростовщичеству, лицемерие, коварство, вырывающееся наружу, – все эти дурные свойства, доведенные до превосходной степени и достойные человека, с которым у меня произошло недоразумение в передней.

Глава XIII

Я встречаю двух соотечественников

Когда Берчель Фенн наговорился вволю, стал дышать правильнее и пришел в хорошее расположение духа, я решил, что могу, не подвергаясь опасности, попросить его познакомить меня с французами, которым предстояло сделаться моими спутниками. Я высказал ему эту просьбу. Оказалось, что в доме Берчеля скрывалось двое беглецов. Фенн повел меня к ним. По мере того, как приближалась минута моего свидания с французскими офицерами, сердце все сильнее и сильнее билось в моей груди. Созерцание представителя коварного Альбиона, только что показавшегося мне во всей своей непривлекательности, заставило меня с необычайной силой желать повидаться с соотечественниками. Я был готов с восторгом и слезами обнять их. Между тем меня ждало разочарование.

Беглецы помещались в большой низкой комнате, окна которой выходили во двор. Вероятно, в то время, как старый дом видел лучшие дни, эта зала служила библиотекой, так как вдоль обшивки ее стен тянулись следы полок. В одном из углов комнаты виднелось четыре или пять матрацев и беспорядочная груда постельного белья; там же стоял умывальник с куском мыла; отдаленную часть комнаты занимали простой кухонный стол и несколько стульев из соснового дерева, сдвинутые в кучу. Освещался низкий покой четырьмя окнами, согревал же его маленький ветхий очаг с косою решеткой и дымовым ходом, примыкавшим к отверстию гостеприимной большой трубы; в очаге лежали сильно дымившие и горевшие слабым огнем угли. Старый, измученный, седовласый офицер сидел на стуле, придвинутом как можно ближе к этому намеку на огонь. Старик кутался в камлотовый плащ с поднятым воротником, колени его упирались в прутья решетки, руки простирались над самым дымом, а между тем он дрожал от холода. Второй француз, высокое, цветущее, красивое создание, каждым жестом обличавшее, что женщины обожают его, по-видимому, перестал верить в спасительную силу огня и ходил взад и вперед по комнате; он страшно чихал, жестоко сморкался и не переставал браниться, жаловаться и сыпать отборными казарменными проклятиями.

Фенн ввел меня в комнату, сказав:

– Господа, вот вам еще спутник! – и ушел.

Старше только мельком взглянул на меня своими тусклыми глазами и сейчас же снова устремил их на огонь; по его телу пробежала дрожь, сильная, острая и судорожная, похожая на припадок икоты; затем он словно замер. Второй француз, изображавший из себя красавца, страдающего катаром, дерзко осмотрел мою фигуру, спросив:

– А вы кто такой?

Я отдал офицерам честь, сказав:

– Я Шамдивер, рядовой восьмого линейного полка.

– Превосходно, – проговорил младший из офицеров. – И вы едете с нами? Трое в одном экипаже и притом третий – неряха, рядовой! А кто же заплатит за вас, милейший?

– Если вам угодно, сударь, коснуться этой стороны дела, – вежливо ответил я, – я осмелюсь спросить – кто заплатит за вас?

– Ах, вы, кажется, желаете острить? – сказал он и принялся снова насмехаться над своей судьбой, жаловаться на погоду, на простуду, на опасность и дороговизну бегства, главное же – на стряпню проклятых англичан. По-видимому, его особенно сильно раздражала мысль о том, что я отправлюсь вместе с ними.

– Если бы вы знали, что вы делаете (тридцать тысяч миллионов свиней!), вы не навязывались бы нам! Лошади не могут тащить фуру. Дороги – сплошная топь и рытвины. В прошлую ночь нам с полковником пришлось половину пути идти пешком, – гром Господень! –

и вдобавок по колено в грязи... А у меня эта чертова простуда... Потом страх, что нас поймут!.. К счастью, мы не встретили ни души, кругом была пустыня, настоящая пустыня, как и вся эта ужасная страна. Есть положительно нечего, да, нечего; дают только полусырое мясо да зелень, вареную в воде; пить тоже нечего, кроме ворчестерского варева. Ну, страдая катаром, у меня нет аппетита, правда? Будь я во Франции, я ел бы хороший бульон с гренками, яичницу, курицу с рисом, куропатку в капусте, словом, такие вещи, которые возбудили бы во мне желание покушать, черт возьми! Но тут, Господи, Боже ты мой! Что за страна! Что за холод! Толкуют о России... Ну, и здесь, мне кажется, достаточно холодно! А народ-то, взгляните! Что за раса! Не встретишь ни одного красивого человека, ни одного стройного офицера... – Он бросил беглый, на мгновение повеселевший взгляд на свою талию, потом продолжал: – Женщины – чистые кульки! Одно ясно мне – я не перевариваю англичан и ничего английского.

В этом человеке было что-то до такой степени антипатичное мне, что я невольно поморщился. Я положительно не выношу фатов и денди, даже когда они приличны и хорошо одеты. Майор же (младший офицер был в этом чине) походил на лакея, которому в жизни повезло. Мне даже казалось не по силам тяжело соглашаться с ним или делать вид, что я соглашаюсь с его речами.

– Вряд ли даже возможно ожидать, что вы переварите англичан, – вежливым тоном заметил я, – так как вам пришлось проглотить и переварить ваше честное слово.

Майор повернулся на каблуках с выражением лица, которое, вероятно, представлялось ему ужасным; заговорить же он не мог, так как снова стал чихать самым жестоким образом.

– Самому мне не случалось отведывать этого кушанья, – воспользовавшись благоприятной минутой, прибавил я. – Говорят, оно невкусно. А как вы нашли его, сударь?

В это мгновение полковник с поразительной быстротой пробудился от своей летаргии. Не успели мы с майором произнести ни слова, как старик уже стоял между нами, говоря:

– Стыдитесь, господа! Неужели теперь время для того, чтобы французы, товарищи по оружию, ссорились между собой? Мы окружены врагами. Шум голосов, одно чересчур громкое слово, и мы снова очутимся в неволе. Monsieur le Commandant, вы жестоко оскорблены, но я прошу, я требую, в случае нужды, я приказываю, чтобы дело было отложено до того времени, когда мы вернемся во Францию и нам не будет грозить никакая опасность. Тогда, если вы пожелаете, я предложу вам свои услуги. Вы же, молодой человек, выказали жестокость и легкомыслие, свойственное юности. Этот джентльмен выше вас по чину, он уже не молод. (Можете вообразить, какое лицо состроил майор в эту минуту!). Он нарушил свое слово, я не знаю, какое побуждение руководило им; вам тоже это неизвестно, быть может, в нем говорил патриотизм (во время вражды двух стран в этом нет ничего невероятного); может быть, человеколюбие, крайняя необходимость заставили его поступить так, как он поступил. Вы не знаете ничего о его прошлом, между тем решаетесь набросить тень на его честь. Нарушившего слово следует жалеть, а не поднимать на смех. Я, полковник империи, тоже нарушил данное слово. Но почему? В течение многих лет я хлопотал, чтобы меня обменяли на кого-нибудь из пленных англичан, однако люди, имевшие силу при военном министерстве, постоянно перебивали мне дорогу. Мне приходилось ждать, а там, дома, дочь моя лежит, не вставая с постели. Я и то боюсь, что опоздал! Она больна, очень больна, при смерти. У меня нет ничего, кроме моей дочери, моего императора, моей чести; я жертвую честью – пусть тот, кто желает, осуждает меня! Сердце мое сжалось.

– Ради Бога, – воскликнул я, – забудьте то, что я сказал! Слово? Может ли оно бороться с жизнью, смертью и любовью? Я прошу у вас извинения, а также и у майора. Пока мы будем вместе с вами, вам не придется более жаловаться на меня. Молю Бога, чтобы вы встретили вашу дочь живой и здоровой.

– Об этом поздно молиться, – проговорил полковник; в то же мгновение огонь оживления, на секунду вспыхнувший в нем, погас; он снова подсел к очагу и опять погрузился в прежнюю бесчувственность.

Я же не мог успокоиться. Я увидел страдания этого человека; я видел выражение его лица, и это переполняло меня горьким раскаянием; я настойчиво просил майора пожать мне руку (на что тот согласился без малейшего удовольствия) и продолжал рассыпаться в извинениях и оправданиях.

– И кто я такой? Разве я смею говорить о слове! Я простой рядовой, и мне незачем было давать или свято хранить слово. Раз я вышел за укрепления – я свободен, как ветер. Прошу вас поверить мне, что я до глубины души сожалею о вырвавшихся у меня невеликодушных словах. Позвольте мне... Как в этом проклятом доме привлекают к себе внимание? Где этот Фенн?

Я подбежал к одному из окон и распахнул его. Фенн, проходивший в эту минуту по двору, всплеснул руками, точно в порыве сильнейшего отчаяния; он закричал, чтобы я отошел от окна, сам же вбежал в дом и через мгновение появился на пороге нашей комнаты.

– О, сэр, – сказал он, – не подходите к этим окнам, вас могут увидеть с дороги, идущей по задворкам.

– Хорошо, – ответил я. – Я сделаюсь осторожен как мышь и невидим как дух. Но, Бога ради, принесите нам бутылку коньяку. Здесь сыро, точно в колодце, и эти господа умирают от холода.

Я заплатил Фенну (мне кажется, всегда лучше давать деньги вперед), а затем занялся очагом. Оттого ли, что я очень старательно раздувал угли, или оттого, что они достаточно согрелись, но вскоре в камине зашумело яркое пламя. Его отсвет, заблеставший среди мглы темного дождливого дня, по-видимому, оживил полковника, точно солнечный луч. Как только угли разгорелись, образовалась тяга, избавившая нас от дыма, и когда появился Фенн с бутылкой под мышкой и со стаканом в руках, в воздухе уже носилось что-то радостное, согревавшее душу.

Я налил в стакан немного коньяку и сказал:

– Полковник, я молодой человек, рядовой! Пробыв в этой комнате очень недолгое время, я уже успел показать вспыльчивость и неумение держаться. Будьте же настолько человеколюбивы, чтобы забыть мои прегрешения, и сделайте мне честь, приняв от меня этот стакан.

Полковник поднял голову и пристально, недоверчиво взглянул на меня.

– Дитя мое, – сказал он, – вы не в состоянии предложить мне выпить.

Я постарался успокоить его.

– Тогда благодарю вас; мне очень холодно, – проговорил старик. Он взял стакан, выпил; легкая краска набежала на его лицо.

– Благодарю вас вторично; коньяк идет к самому сердцу, – прибавил полковник.

Я попросил майора самого налить себе, и он, не скупясь, исполнил мою просьбу; весь остаток утра мой недавний враг поддевал себе коньяку то извиняясь, то бессловесно, и бутылка почти опустела раньше, чем накрыли на стол. Нам подали обед, который напороочил майор: мясо, овощи, картофель. Горчица лежала в чайной чашке; пиво принесли в коричневом кувшине, на котором изображалась охота: скакали собаки, охотники на лошадях, вдали неслась лиса. Посредине кувшина сидел и курил трубку гигантский Джон Буль (как две капли воды похожий на Фенна). Голову его украшал круглый парик. Пиво было очень хорошим, но майор остался им недоволен; он мешал его с коньяком, «чтобы отделаться от простуды», говорил он; ради лечебной цели майор выпил все оставшееся в бутылке. Он несколько раз указывал мне на это обстоятельство: налил мне остатки, подбросил бутылку в воздух и стал выделять с нею всякие штуки. Наконец, истощив свою изобретательность и видя, что я не обращаю ни малейшего внимания на его намеки, он сам потребовал себе бутылку коньяку и заплатил за нее из собственного кармана.

Полковник уже ничего не ел; он сидел, погружившись в глубокое раздумье, и только изредка как бы просыпался и начинал сознавать, где он и что с ним происходит. В течение каждого из этих коротких прозрений он в той или другой форме выражал мне свою благодарность и любезно, даже добро и ласково, обращался ко мне; это переполняло меня чувством невыразимой глубокой нежности к нему.

– Шамдивер, ваше здоровье, милый мальчик, – говорил он. – Нам с майором пришлось идти почти всю прошедшую ночь, и мне положительно казалось, что я не буду в состоянии проглотить ни одного куска, но вам пришла в голову счастливая мысль – вы дали мне коньяку, и это совсем переродило меня!

Полковник принимался за кушанье, отрезал себе большой кусок, но, не успев проглотить его, забывал об обеде, о своих товарищах, о том, где он находился, о своем бегстве; перед его умственным взором вставали невеселые видения – комната больной и умирающая девушка. Этот истомленный, слабый старик казался мне связкой еле живых костей, телом, в котором собралось множество смертельных страданий, а потому в его глубокой тревоге мне чудилось что-то высоко трагическое.

Я не мог обедать, мне представлялось, что есть за одним столом с этим пораженным горем отцом было бы грехом, было бы чем-то вроде грубой нахальной выходки. И, несмотря на мою давнишнюю привычку к невкусной английской пище, я ел едва ли больше, нежели онсам. Когда окончился обед, полковник погрузился в сон, напоминая латаргию. Старик лежал на одном из матрацев, вытянув ноги и руки; дыхание его точно прекратилось; он походил на мертвеца.

За столом остались только мы с майором. Не думайте, что мы долго сидели с ним; зато все время оживленно беседовали. Майор пил, как рыба, или как англичанин, кричал, бил по столу кулаком, завывал отрывки каких-то песен, бранился со мной, мирился и, наконец, попробовал начать выбрасывать из окна блюда и тарелки, но после обеда это не могло удасться ему.

Мы пиروвали необычайно шумно для беглецов, которым следовало тщательно скрываться. Видя, что майор зашел уже так далеко, и сознавая, что нет ни малейшей возможности вернуть его к благоразумию, я сам притворился безумцем, постоянно наливал его стакан до краев, и то и дело предлагал ему всевозможные тосты; раньше чем я мог надеяться, мой собутыльник впал в сонливое состояние и стал заплетающимся языком лепетать бессвязные слова. С упрямством, свойственным всем подобным глупцам, он ни за что не хотел лечь на один из матрацев до тех пор, пока я сам не лег на другом. Но скоро комедия кончилась: майор заснул сном праведника; его храпение раздавалось, точно военная музыка, Я снова встал, придумывая, как бы протянуть скучное время до отъезда.

Накануне я спал в хорошей постели; теперь я не мог сомкнуть глаз, и мне оставалось только ходить по комнате из угла в угол, поддерживать огонь в камине да раздумывать о своем положении. Я сравнивал вчерашний день с сегодняшним. Вчера я чувствовал себя в безопасности, пользовался комфортом, свежим воздухом, свободно шел по большой дороге, входил в понравившиеся мне гостиницы; сегодня я скучал, тревожился, испытывал всевозможные неудобства. Я помнил, что нахожусь в руках Фенна, который, конечно, не был более фальшивым, чем я считал его, но мог оказаться мстительнее, нежели я предполагал. Я представил себе, что по ночам я буду трястись в закрытом фургоне, а днем скучать в каких-нибудь укромных местах. Мужество мое исчезало; я готов был улучшить минуту, бежать и снова начать свое одинокое странствование, но мысль о полковнике остановила меня. Я мало знал старика, но считал, что в душе он ребенок, что характерную черту его натуры составляет та наивность и приветливая вежливость, которые свойственны только старым воинам да священникам; мне казалось, что бремя лет и печалей совершенно подорвало его силы. Я не мог бросить в несчастье этого старика, не мог оставить его наедине с себялюбивым воителем, храпевшим в эту минуту на матраце рядом со мной.

– Шамдивер, ваше здоровье, мой мальчик, – шептал мне на ухо тихий голос, не позволяя бежать. Мало обстоятельств, которыми я впоследствии был бы более доволен, нежели те, что заставили меня подумать о полковнике и задержаться в доме Фенна.

Вероятно, часов около четырех пополудни (по крайней мере, в это время дождь прекратился и солнце заходило, украшая небо своеобразным зимним убором) ход моих мыслей был нарушен: к крыльцу подъехала одноколка с двумя седоками. Я решил, что это соседи Фенна, какие-нибудь фермеры. Крупные, дюжие малые в серых блузах и сапогах с отворотами, по-видимому, хорошо угостились водкой еще до своего приезда к приятелю. Просидев же у него несколько часов, они окончательно напились. Фермеры и Фенн расположились в кухне, внизу, пили, кричали, пели; отзвук их веселья в некотором роде заменял мне общество. Нельзя сказать, чтобы их репертуар отличался разнообразием; например, песню о «Видикомбской ярмарке» я слышал по крайней мере раза три. Однако, хотя пение пировавших не отличалось особыми достоинствами, все же оно было приятнее храпения майора. Стемнело; отблеск огня, горевшего в камине, мерцал на обшивке стены. Свет в наших окнах, конечно, был виден не только с дороги, проходившей по задворкам, как говорил Фенн, но и со двора, на котором стояла одноколка, ожидавшая фермеров. Выйдя из дому, гости Берчеля должны были неминуемо увидеть освещенные окна и понять, что в доме кто-то есть. Предположив, что они станут допытываться, кто помещается в освещенной комнате, оставалось вопросом, окажется ли Фенн достаточно честным, чтобы скрыть нас, и хватит ли у него, после обильных возлияний, ума и хитрости благоразумно ответить на расспросы своих гостей. В таких размышлениях не заключалось ничего особенно приятного! Когда снизу в третий раз донеслось:

«Том Пирс, Том Пирс, дай мне твою серую лошадь.
Я уеду далеко, далеко.
Мне нужно поехать на Видикомбскую ярмарку...»

я почувствовал, что сам очень охотно взял бы серую лошадь, чтобы умчаться на ней из того котла, кипевшего заботами, в который я попал благодаря моему визиту к Фенну. В отдаленном углу залитой светом комнаты лежали мои товарищи; один из них спал беззвучно, другой шумно храпел; полковник казался олицетворением смерти, майор – опьянения. Не следует удивляться, что я еле сдерживал желание присоединить свой голос к пению, доносившемуся до меня снизу, что я порой готов был засмеяться, порой же едва подавлял слезы – мне было так скучно, и я еле выносил муку ожидания!

Наконец часов в шесть вечера шумливые менестрели вышли во двор. Впереди них шествовал Фенн с фонарем в руках. Фермеры, громко разговаривая, взобрались в свою бричку; один из них схватил вожжи, одноколка тронулась и пропала из виду с чудесной быстротой, даже стук ее колес чуть не мгновенно замер в отдалении. Я уверен, что для пьяных существует свое особенное провидение, которое за них правит лошадьми и вообще хранит их от всяких бед и опасностей, но, без сомнения, эта одноколка даже ему доставила множество хлопот. Когда экипаж двинулся, Фенн с сердитым восклицанием отшатнулся от его колес, чтобы спасти пальцы своих ног, и неуверенными шагами пошел в дальний угол двора; фонарь, который он нес в руках, описывал неправильные дуги. В открытых дверях экипажного сарая уже виднелась большая голова кучера; он вывозил наружу закрытый фургон. Мне следовало воспользоваться этой минутой, чтобы поговорить с Фенном наедине; другого благоприятного случая трудно было бы ожидать.

Я ошупью спустился с лестницы и подошел к нашему хозяину как раз в то время, когда он освещал лошадиную сбрую, осматривая ее.

– Скоро мы расстанемся, – сказал я, – и вы сделали бы мне большое одолжение, приказав вашему кучеру доставить меня поближе к Дунстаблю. Я решил до этого пункта ехать в обществе полковника Икс и майора Игрек. У меня очень важное дело в окрестностях Дунстабля.

Фенн исполнил мою просьбу с почтительностью, которая явилась, по-видимому, следствием попойки.

Глава XIV

Путешествие в фургоне

Моих товарищей подняли с большим трудом; бедный старик полковник сейчас же ушел в свои вечные непрерывные грезы. О нем можно было только сказать, что он был глух ко всему окружающему и до крайности как-то тревожно вежлив; у майора хмель все еще не вполне выскочил из головы. Мы, сидя подле камина, напились чаю, потом осторожно, точно преступники, прокрались из дому; на воздухе нас охватил страшный, смертельный холод. Погода успела измениться. Как только дождик прекратился, начался настоящий мороз. Когда мы двинулись в путь, месяц, еще молодой, стоял почти в зените; его свет блестел на ледяных пеленах, покрывавших землю, дробился и искрился в замерзших сосульках. Стояла самая неудобная для поездок ночь. Однако лошади успели отлично отдохнуть за день, и Кинг (так звали большеголового малого) уверял, что наше путешествие обойдется без всяких неприятных приключений. На слова этого человека следовало полагаться. Несмотря на глупый вид, Кинг был незаменим в должности кучера Фенна; он превосходно знал все, что касалось лошадей, и в течение нескольких дней прекрасно, ни разу не сбившись с пути, вез нас по различным проселочным дорогам.

Внутри инструмента для пыток, называвшегося фургоном, было устроено сиденье. Мы сейчас же опустились на него. Дверца закрылась; нас окружила густая, душная тьма, и мы почувствовали, что экипаж осторожно выехал со двора. И всю эту ночь нас везли «осторожно»; не часто впоследствии удавалось нам пользоваться этим преимуществом. Обыкновенно мы передвигались в течение ночи и части дня, причем кучер нередко гнал лошадей быстрой рысью, а все дороги, которые выбирал он, были крайне плохими полевыми проселками: нас сильно трясло на жесткой скамье; на ухабах мы ударялись о потолок и стенки фургона и потому к концу переезда бывали в самом жалком положении; выйдя из нашей передвижной тюрьмы, мы зачастую прямо бросались на постели, не дотронувшись до еды; заснув же, спали как убитые до той минуты, когда нас снова сажали в фургон; только при первом жестоком толчке наша дремота проходила окончательно. Временами случались перерывы, и мы приветствовали их, как облегчение судьбы. Несколько раз фургон увязал в грязи; однажды он опрокинулся; нам пришлось выйти из ящика и помочь кучеру поднять фуру; иногда лошади совершенно выбивались из сил (так же, как в тот раз, когда я впервые встретил Кинга), и нам приходилось шагать вдоль дороги по грязи или по замерзшей земле до тех пор, пока не показывались первые лучи рассвета, или пока наше шествие не приближалось к какой-либо деревне; тогда мы, как при видения, скрывались в фургоне.

Большие английские дороги превосходны; они ровны, гладки, отлично проложены и содержатся до того хорошо, что в любую погоду почти на каждой из них человек может пообедать без малейшего отвращения. По английской большой дороге под звуки рожка мчатся дилижансы, делая по шестидесяти миль в день; скачут коляски вслед за покачивающимися курьерами, пролетают кровные рысаки, запряженные в легкие шарабаны, то в одиночку, то в пару гуськом, вселяя восхищение в сердца верноподданных короля и в то же время грозя им бедой. Тут же медленно тянутся фуры, позвякивая колокольчиками и бубенцами, целый день виднеются люди, путешествующие верхом, или путники-пешеходы (увы, и мистер Сент-Ив еще так недавно был свободным пешеходом!); они идут, встречаются, кланяются друг другу, разинув рот зевают один на другого; со всей Англии стекаются они на большую дорогу. Нет, нигде в мире путешествие не доставляет такого наслаждения, как в этой стране. К несчастью, нам необходимо было скрываться, и вся оживленная картина того, что делалось на большой дороге, была не про нас; мы вползали на холмы и спускались в долины, проезжая вдоль изгородей, по

камням и рытвинам окольных проселков. Только дважды донеслось до меня дыхание большой дороги. Первый раз я один услышал его. Не знаю, где это было. Стояла темная ночь; я шел, пробираясь между камнями и выбоинами, и вдруг услышал звук почтового рожка; вероятно, дилижанс подходил к станции, и кондуктор давал знак приготовить свежих лошадей. Знакомый сигнал произвел на меня впечатление солнечного луча, внезапно блеснувшего среди ночной тьмы, отзвука голоса внешнего мира в тюрьме, петушиного пения, раздавшегося в море; уж не знаю, чему уподобить его, придумайте сравнение сами; во всяком случае, я едва не заплакал, услышав этот звук. Другой раз мы сильно запоздали; близился рассвет, лошади еле тащились, было холодно, неприветливо. Кинг колотил измученных животных, я вел под руку старого полковника, майор шумно кашлял. Наконец, Кинг, по-видимому, перестал даже стараться прибавить лошадям ходу – они привели его в полное отчаяние; несмотря на холод, несчастный кучер запыхался и его лицо пылало. Незадолго до восхода солнца мы взобрались на вершину холма: перед нами лежала большая дорога, она тянулась через луга, среди рядов стриженных деревьев; по ней несся Йоркский почтовый дилижанс, запряженный четверкой скачущих лошадей; кроме того, мы увидели также и карету и покачивавшегося форејтора, даже высунувшегося из окна экипажа путешественника, который или хотел подышать утренним воздухом, или же смотрел на проезжавший дилижанс. Итак, в течение одной минуты мы наслаждались картиной свободной жизни на большой дороге, представшей нам в самом заманчивом виде, видели воочию, с какой быстротой и комфортом люди передвигаются по ней! Потом, чувствуя жгучее ощущение всей невыгодности нашего положения, мы снова вошли в противную подвижную темницу.

Останавливались мы в различные странные часы, в разнообразных странных местах. Следует заметить, что лучше всего мне было во время моего первого совместного отдыха с майором и полковником, то есть в доме Берчеля. Нам нигде не предлагалось такого хорошего помещения и сытного обеда, как у него; впрочем, благодаря продолжительности и таинственности нашего путешествия, это было понятно. После первого переезда мы в течение шести часов лежали в сарае, стоявшем в жалком болотистом фруктовом саду и набитом сеном; для того, чтобы сделать сарай окончательно привлекательным, нам рассказали, что некоторое время тому назад в нем было совершено отвратительное убийство, и теперь призрак убитого являлся на место злодеяния. Однако светало, и мы так устали, что нам было не до мистических ужасов. На второй или третий раз нам пришлось около полуночи выйти из фургона в открытой степи; мы развели огонь, чтобы согреться, и спрятались под тернами; поужинали мы, как нищие, хлебом и холодной копченой свиной грудинкой, спали же точно цыгане, оборотив ноги к костру. Кинг уехал с фургоном уж не знаю куда, чтобы переменить лошадей; он вернулся поздно, когда наступило темное утро; вслед за его появлением мы снова двинулись в путь и продолжали ехать до утренней стоянки. Однажды, также среди ночи, мы остановились подле старого выбеленного двухэтажного коттеджа; живая изгородь из бирючины окружала его; луна обливала своим бледным светом окна верхнего этажа, но внизу, в кухне, горел огонь; он освещал потолок, отсвечивал от блюд и тарелок, висевших на стене. Кинг долго стучался, наконец ему удалось разбудить очень дряхлую старуху, спавшую на стуле подле печки, где она сидела как бы на часах. Нас впустили в дом и напоили горячим чаем. Старуха приходилась теткой Берчелю Фенну и волей-неволей помогала ему в его опасном ремесле. Хотя дом стоял в очень уединенном месте, и в этот час вряд ли на дороге мог очутиться какой-нибудь прохожий или проезжий, Кинг и старуха разговаривали между собою еле слышным шепотом. В этом осторожном говоре было что-то мрачное, что-то напоминавшее о комнате тяжелобольного. Опасения старухи невольно сообщались и всем остальным. Мы ели, точно мыши, которых сторожит тонко слышащая кошка; если кто-либо из нас нечаянно звенел чайной ложкой, все остальные вздрагивали; когда наступило время снова двинуться в дорогу, все мы вздохнули с облегчением и положительно с чувством успокоения взобрались в наш фургон. Чтобы закусить, мы чаще всего

смело входили в придорожные харчевни, обыкновенно в неурочное для этого время, то есть когда остальные посетители бывали в полях или занимались домашними работами. Теперь я расскажу о нашем последнем посещении одной из таких харчевен и о том, как неудачно было оно. Впрочем, так как после этого я расстался с моими спутниками, я прежде всего должен покончить с ними.

Мне не пришлось поколебаться в том мнении, которое я с первого же раза составил себе о полковнике. Мне всегда казалось, да кажется и теперь, что старик был «солью земли». Я видел его в самом ужасном тяжелом положении, он на моих глазах терпел жестокий холод и голод; он при мне умирал, сознавая это, а между тем я не запомню, чтобы с его губ когда-нибудь сорвалось жесткое, резкое или нетерпеливое слово. Напротив, он всегда, забывая о себе, старался угодить другим. Даже в тех случаях, когда старик заговаривался, по его еле понятным, но всегда кротким «речам» было видно, что он старый, полубезумный герой, до конца верный своему знамени. Я не стану перечислять, сколько раз он, внезапно пробуждаясь от своей летаргии, рассказывал нам о том, как он получил крест, как император собственноручно надел ему на грудь орден, как дома его встретила молоденькая дочь, не стану также передавать и невинных (но вместе с тем, право же, неумных) речей этой дочери. Полковник очень часто повторял другое повествование, возражая им на жалобы майора, который надоедал нам, постоянно браня все английское. Это был рассказ о «braves gens»⁸, у которых полковник квартировал. Правда, старик отличался простотой и способностью чувствовать благодарность за малейшие услуги так, что самая простая вежливость трогала его до глубины сердца и навеки врезалась в его память; однако множество незначительных подробностей дало мне право думать, что это английское семейство действительно любило его и необыкновенно добро обходилось с ним. В комнате старика постоянно топили камин, и хозяйские сыновья и дочери собственноручно поддерживали огонь в нем; эти чужие полковнику люди ожидали писем из Франции едва ли не с большим нетерпением, нежели он сам, а когда приходили желанные вести издалека, старый француз вслух читал письма своей дочери собравшимся в гостиной членам английской семьи, причем переводил их, как умел. Полковник еле лепетал по-английски; вряд ли его дочь была интересным корреспондентом, а потому, представляя себе подобные сцены, я был уверен в том, что только личность полковника влекла в гостиную полюбивших его англичан. В себе самом, в своей собственной груди ощущал я те противоречивые чувства, смех и слезы, желание улыбнуться и глубокое трогательное волнение, словом, все, что, наверное, волновало английскую семью при взгляде на старого француза. Гостеприимные хозяева полковника оставались добры к нему до самого конца. По-видимому, семья знала о его замысле бежать; камлотовый плащ был приготовлен для него, и в своем кармане полковник вез в Париж письмо дочери хозяйки дома, адресованное к его собственной дочери. Когда наступил последний вечер и старик простился со всеми членами семьи как бы на ночь, каждый из них понимал, что он не увидит больше пленника. Полковник встал, отговорившись усталостью, и, обернувшись к молодой девушке, бывшей его главной союзницей, сказал:

– Позвольте, моя дорогая, старому и очень несчастному солдату обнять вас; да благословит вас Бог за вашу доброту!

Молодая девушка обняла его за шею и зарыдала на его груди; хозяйка дома залилась слезами. «Et je vous jure, le père se mouchait»⁹, – прибавлял полковник, молодежато покручивая усы и в то же время смахивая слезы, выступившие у него на глазах при одном воспоминании об этом прощании.

Мне было приятно думать, что он нашел себе в неволе таких друзей, что он отправился в роковое путешествие после задушевного теплого прощания. Старик нарушил честное слово

⁸ Славных людях.

⁹ И, клянусь вам, отец сморкался.

ради дочери; но я скоро перестал надеяться, что он когда-нибудь окажется у одра ее болезни, выдержав до конца все лишения, подавляющую усталость и жестокий холод, которые мы терпели во время наших странствований. Я делал для него все, что мог, ухаживал за ним, закутывал его, стерег его, когда он спал, иногда, в трудных местах дороги, поддерживал его. «Шамдивер, – однажды сказал он мне, – вы точно мой сын, точно мой сын!» Приятно вспоминать такие вещи, но в то время я порой испытывал настоящую пытку. Все мои заботы о старике не привели ни к чему. Мы быстро продвигались к Франции, но еще скорее двигался полковник к другому месту успокоения. С каждым днем бедный старик видимо слабел и становился все апатичнее. В речи полковника появился старинный народный нижненормандский акцент, давно исчезнувший из его произношения, и постепенно делался заметнее и сильнее, все чаще и чаще полковник употреблял в разговоре старые слова: *patois, ouistreham, matrasse* и другие, смысла которых мы не понимали. В последний день своей жизни старик принялся снова рассказывать историю о заслуженном им кресте и императоре. Как раз в то время майору особенно нездоровилось или он был раздражен еще сильнее обыкновенного; он сердито протестовал против рассказа старика.

– *Pardonnez moi, monsieur le commandant, mais c'est pour monsieur*¹⁰, – заметил полковник. – *Monsieur* еще не слышал этого, и он был так добр, что заинтересовался моей историей, – прибавил старик. Однако вскоре бедняк потерял нить своего рассказа и, наконец, проговорил: – *Que, que j'ai? Je m'embrouille!*¹¹, – потом произнес: – *Surfit: s'm'a la donne, ei Berthe en e'tait bien contenté!*¹². – Слова эти поразили меня: мне почудилось, будто упал занавес, будто захлопнулись двери sklepa.

Очень скоро после того полковник заснул тихим, словно детским сном, который перешел в смертельный сон. Я обвивал рукой его тело и не заметил ничего, только видел, что он немного вытянулся. Таким-то милостивым образом смерть прекратила эту несчастную жизнь. Когда фургон остановился для вечернего отдыха, мы с майором в первый раз заметили, что везли с собою бедный прах. В ту же ночь мы украли в поле лопату (кажется, это было близ Босворта) и, отойдя немного подальше от дороги в молодую дубовую рощу, при свете фонаря Кинга погребли старого солдата империи; на его похоронах не было недостатка ни в молитвах, ни в слезах.

Если бы мы ничего не знали о небе, нам было бы необходимо придумать себе его. В нашей земной жизни слишком много горького! Майора я давно простил. Он отнес печальную весть дочери бедного полковника и, как мне говорили, очень хорошо выполнил эту задачу; да, впрочем, никто не мог бы передать ей грустного известия без слез! Срок его пребывания в чистилище не будет длинен, и так как я не мог очень хвалить его поведения в этой жизни, то и решил не называть его имени в моем рассказе. Фамилии полковника я тоже не упоминаю из-за нарушенного им слова. *Requiescat!*

¹⁰ Извините меня, господин командир, но это говорится не для вас.

¹¹ Что со мной? Я путаюсь.

¹² Будет, мне его дали, и Берта была очень довольна.

Глава XV

Приключение с клерком адвоката

Я уже упоминал о нашем обыкновении закусывать в различных неважных придорожных гостиницах, известных Кингу. Это было делом довольно опасным, мы ежедневно рисковали, чтобы насытиться, и из-за куска хлеба клали голову в львиную пасть. Иногда, чтобы уменьшить риск, мы выходили из фургона раньше, нежели кто-либо мог заметить нас из харчевни, расходились и появлялись в комнате поодиночке, давая различные приказания каждый за себя, точно совершенно ничем не связанные между собой путники. Подобным же образом мы и уходили обратно, а затем собирались подле фургона, который ждал нас в заранее условленном месте, приблизительно в полумиле от харчевни. И полковник, и майор знали по несколько английских слов. Боже, что это было за произношение! Однако они могли заказывать себе ломтики свиного сала, суп и требовать расчет. Правду говоря, деревенские хозяева гостиниц и их прислуга не трудились (да вряд ли даже и были в состоянии) относиться критически к говору моих спутников.

Около девяти или десяти часов вечера голод и холод заставили нас зайти в шинок, стоявший на Бедфордширской равнине, недалеко от самого Бедфорда. В кухне мы увидели высокого, худощавого человека лет, вероятно, сорока, в черной одежде. Он сидел на скамейке у огня и курил длиннейшую трубку из тех, которые англичане называют «ярд глины». Его шляпа и парик висели подле него на дверной ручке. На его голове, гладкой как ком свиного сала, не росло ни одного волоска. В лице этой характерной фигуры проглядывали хитрость, наблюдательность и недоверчивость. По-видимому, он считал себя выше остальных посетителей шинка и старался придать себе вид светского человека, попавшего в стадо простых, неотесанных людей; впрочем, он действительно имел полное право держаться таким образом, будучи, как я впоследствии узнал, клерком адвоката. Я взял на себя самую неблагоприятную роль – пришел последним; в то мгновение, когда я очутился в шинке, майор уже сидел за боковым столиком и ужинал. Мне показалось, что в кухне только что происходил общий разговор, и я почувствовал, что в воздухе носилась опасность. Майор казался взволнованным; клерк смотрел на него с торжествующим видом; несколько крестьян в блузах, сидевших (изображая хор) подле огня, забыли о своих трубках, и те погасли.

– Доброго вам вечера, сэр, – сказал мне клерк.

– И вам тоже, – ответил я.

– Мне кажется, он подходит нам, – сказал клерк, подмигнув крестьянам.

Как только я заказал себе кушанье, клерк снова обратился ко мне, спросив:

– Куда вы направляетесь?

– Сэр, – ответил я, – я не из тех людей, которые говорят о своих делах или о том, куда они идут.

– Хороший ответ и превосходное правило, – заметил мой собеседник. – Вы говорите по-французски?

– Нет, сэр, – проговорил я. – Вот испанский язык мне немного знаком.

– Однако, может быть, вам случалось слышать французский акцент?

– О, да, – произнес я. – Мне кажется, я на десятом слове узнаю по акценту француза.

– Ну, так вам предстоит здесь подобная задача, – сказал он. – Сам я ничуть не сомневаюсь, но некоторые из сидящих в комнате не желают мне верить. Сами знаете – недостаток образования! Решаюсь сказать, что без благодетней просвещения человек не может ни двигаться, ни слышать, ни видеть.

Он повернулся к майору, у которого, по-видимому, пища застряла в горле.

– Ну, сэ, – продолжал клерк, обращаясь к нему, – поговорите-ка пожалуйста. Так куда вы направляетесь? Повторите!

– Сэр, – ломая слова, медленно произнес майор, – я е...ду в Лон...дон.

Я чуть не бросил тарелкой в моего товарища за то, что он оказался таким ослом, и за то, что у него было так мало способностей к языкам, когда в этом существовала крайняя необходимость.

– Что вы скажете? – спросил клерк. – Не правда ли, это достаточно по-французски?

Я внезапно подскочил, точно завидя знакомого.

– Господи Боже ты мой! Это вы, мистер Дюбуа? Мог ли я ждать встречи с вами так далеко от вашего дома!

Говоря, я крепко пожал руку майору, затем, обернувшись к нашему мучителю, прибавил:

– О, вы можете вполне успокоиться, сэ. Это честнейший малый, живший прежде по соседству со мной в городе Карлейле.

Мне показалось, что клерк готов покончить все дело, но я плохо знал его.

– Однако несмотря на все сказанное, он француз, – проговорил клерк.

– Ну, конечно, – ответил я, – француз-эмигрант: он не из бонапартовской шайки. Могу засвидетельствовать, что его политические взгляды так же здравы, как ваши собственные.

– Одно немножко странно, то, – спокойно проговорил клерк, – что мистер Дюбуа отрицал это.

Я, не моргнув, выслушал его замечание и улыбнулся; однако слова клерка жестоко смущили меня и, продолжая говорить с нашим мучителем, я сделал то, что редко делаю, – ошибку в одной из английских фраз. В течение нескольких недель моя жизнь и свобода зависели от знания английского языка, поэтому вы, конечно, не ожидаете, чтобы я стал вам объяснять все подробности. Мне достаточно сказать, что я сделал очень маленькую ошибку, которая могла пройти незамеченной в девяноста девяти случаях из ста. Но мой законник так быстро подметил ее, точно всю жизнь занимался преподаванием языков.

– Ага, – воскликнул он, – и вы тоже француз! Ваш язык выдает вас! Два француза поодиночке случайно заходят в шинок в десять часов ночи в Бедфордшире, они неожиданно встречаются друг с другом? Нет, сэ, тут дело нечисто! Вы беглые пленники, а, может быть, что-нибудь и похуже. Знайте же – вы арестованы. Я попрошу вас показать мне ваши бумаги.

– Ну, если дело на то пошло, где же ваши-то полномочия? – сказал я. – Мои бумаги! Стану я их показывать по одному ipse dixit неизвестного мне человека, встреченного в придорожном шинке!

– Вы противитесь закону? – спросил он.

– Не закону, сэ, – ответил я. – Я слишком хороший подданный для этого; я противлюсь безымянному лысому малому, одетому в гингамовые штаны. Да, этого человека я, конечно, не послушаюсь! Таково мое прирожденное право, как и право всякого англичанина. А то в чем состояла бы Magna Charta?

– Ну, посмотрим, – сказал он, потом, обратившись к присутствующим, спросил: – Где живет констебль?

– Господь с вами! – закричал хозяин шинка. – Что вы задумали? Беспокоить констебля в десять часов ночи! Он уж, конечно, давно лежит в постели и спит, наевшись и напившись допьяна часа два тому назад.

– Конечно, так! – подтвердили хором крестьяне.

Это озадачило клерка. Он не смел и подумать о насилии; ни в хозяине шинка, ни в посетителях не было и признака воинственного жара; каждый из них то слушал, разинув рот, то почесывал голову, то зажигал свою трубку об угли, тлевшие в очаге. С другой стороны, мы с майором были готовы к смелой защите и бросали ему вызов, имея на то некоторое законное основание. Наконец, он предложил мне отправиться к какому-то сквайру Мертону, знамени-

тейшему лицу во всем округе и имевшему отношение к мировому институту; жил Мертон, по его словам, совсем близко. Я ответил клерку, что не пройду и фута, даже если зависело от этого спасение его души. Затем он предложил мне остаться в шинке до утра, чтобы констебль мог рассмотреть мое дело, будучи еще трезвым. На это я ответил, что уйду, когда захочу, и направлюсь туда, куда пожелаю; что мы честные путешественники, почитающие Бога и короля, что я ни за что не потерплю насилия с чьей бы то ни было стороны. В то же время я решил, что все эти переговоры тянутся чересчур долго, и задумал покончить дело с клерком.

Я поднялся со стула, на котором до сих пор беззаботно сидел, и сказал:

– Видите ли, подобный вопрос можно решить только одним путем, то есть, есть только один чисто английский способ для разрешения его – поединок. Снимите ваш сюртук, сэр, и все эти господа будут нашими свидетелями.

Глаза клерка приняли выражение, в смысле которого я не мог ошибиться. В его воспитании оказывался пробел; одно существенное и чисто британское искусство было ему незнакомо; он не умел боксировать. Я был в таком же положении, уверяю вас; зато я обладал большим нахальством, и все слышали, что предложение исходило от меня.

– Он говорит, что я не англичанин, но ведь, если желают убедиться в том, что пудинг – пудинг, его съедают, – проговорил я, сбросил куртку и принял надлежащую позу. На том и кончались мои познания относительно этого варварского искусства.

– Как, сэр, вы, по-видимому, несколько отступаете? – заметил я. – Ну, я встречу вас как следует и славно разотрею; однако для меня непонятен человек, которого нужно заставлять драться...

Я вынул из жилетного кармана банковский билет и бросил его содержателю шинка:

– Это ставка; я буду драться с вами до первой крови, так как вы, по-видимому, придаете делу большое значение. Если вам удастся первому увидеть мой кларет, я пойду с вами к какому вам угодно сквайру. Если же раньше прольется ваша кровь, вам придется уступить и позволить мне идти по моему частному делу, когда я найду нужным. Правильно ли это, молодцы? – спросил я, обращаясь к зрителям.

– Да, да! – подтвердил хор дураков. – Он не может предложить ничего более честного, да и этого он не скажет! Эй, ты, мастер, снимай-ка сюртук!

Теперь общественное мнение было не на стороне законоведа; положение быстро менялось в нашу пользу, и это дало мне смелость продолжать в том же духе. Майор заплатил за ужин безучастному хозяину. В эту минуту я увидел бледное лицо Кинга, стоявшего у задней двери; он делал нам знаки торопиться.

– Ого, – произнес мой враг, – да вы лицемерны, как лиса? Но я вижу вас насквозь, совершенно насквозь. Вы желаете изменить положение вещей.

– Может быть, я совершенно прозрачен, – проговорил я, – но, если вы сделаете мне одолжение и встанете, вы увидите, что я могу хорошо драться.

– Но я ведь не затрагивал этого вопроса, – возразил клерк и прибавил, обращаясь к находившимся в комнате:

– Эй, вы, невежественные шуты! Неужели вы не видите, что этот человек дурачит вас? Не видите, что он старается обвести меня вокруг пальца? Я ему говорю, что он французский пленник, а он отвечает, что умеет боксировать. Может ли одно иметь отношение к другому? Я не удивлюсь, если окажется, что он и танцует прекрасно, они все там танцмейстеры! Я говорю и повторяю, что он француз. Он утверждает противное. Пусть же этот молодчик покажет свои бумаги, если они у него имеются. Он, конечно, не стал бы прятать свои документы, если бы они были у него. Всякий человек с бумагами в порядке ухватился бы за мысль идти к сквайру Мертону. Все вы простые, прямые, честные бедфордширцы и не позволите какому-то французскому обманщику заговорить себе зубы, а он не что иное, как французский обманщик! Погодите, вот я ему скажу, чтобы он гнал своих свиней на другой рынок, потому что они не

годятся здесь и не могут годиться у нас в Бедфордшире. Посмотрите на *этого* человека, на его ноги! Есть ли у кого-нибудь другого в комнате такие ноги? Взгляните, как он стоит? Ну, держится ли кто-нибудь из нас, вы все, я или хозяин, подобным образом? Он француз: это так же ясно написано на нем, как на вывеске!

Все это было прекрасно, и при других обстоятельствах замечания клерка, пожалуй, доставили бы мне удовольствие; но мне казалось ясным, что, если я не прерву его речей, он сумеет снова изменить наше взаимное отношение не в мою пользу. Клерк, по-видимому, не был силен в боксе, но я чувствовал, что мой законовед учился судебно-ораторскому искусству в хорошей школе. Слушая его речь, я мог придумать только одно средство освободиться от него, а именно броситься вон из дома, как бы в припадке ярости. Конечно, это была выдумка не остроумная, а самая примитивная, но выбора мне не оставалось.

– Ах, вы, собака! – крикнул я. – Как вы смеете называть себя англичанином и в то же время отказываться драться! Я не могу больше терпеть и ухожу из этого места, где меня оскорбили. Ну, что с меня следует? Возьмите сами!

Я бросил хозяину шинка пригоршню серебра и двинулся к двери, прибавив:

– Дайте мне обратно мой банковский билет!

Содержатель шинка, следуя своему обычному правилу угождать каждому, не стал мешать мне. Положение моего врага ухудшилось. Он потерял из виду двух моих товарищей. Я тоже ускользал от него, и он не мог надеяться на то, чтобы бывшие в шинке согласятся оказать ему помощь. Наблюдая за ним исподтишка, я заметил, что в течение одной секунды он колебался, однако через мгновение встал и снял с дверной ручки свою шляпу и парик, сделанный из черного конского волоса, а из-за скамьи достал сюртук и маленький чемоданчик. «Черт возьми, – подумал я, – неужели этот негодяй пойдет за мною?»

Едва я вышел из харчевни, как мой законовед очутился сзади меня. При свете месяца я рассмотрел его лицо.

В чертах клерка читалось выражение решительности и спокойствия. Я невольно вздрогнул, подумав, что это нельзя назвать обыкновенным приключением. Сент-Ив, ты напал на человека с характером. За тобой гонится зубастый бульдог, хищная ласка. Как ты отделаешься от него? Кто он?

По некоторым его выражениям я заключил, что он постоянный посетитель судебных заседаний; но в качестве кого бывал он в залах суда? В качестве простого зрителя, клерка адвоката, подсудимого или же (что было хуже всего) в качестве шпиона, сыщика?

В полумиле расстояния от шинка меня, вероятно, ждал наш фургон, как раз на той дороге, по которой я шел; я мысленно сказал себе, что будь мой преследователь сыщиком или нет, через несколько минут он очутится в моих руках. Вскоре я решил, что этот навязчивый человек не должен видеть фургона. До тех пор, пока я его не убью или не прогоню, думалось мне, я останусь в разлуке с товарищами, буду брести один по замерзшей проселочной дороге, ведущей неизвестно куда, чувствуя шаги ищейки, преследующей меня по пятам, и не имея с собою другого спутника, кроме палки из остролиста.

Мы очутились у разветвления дороги; левая ветвь ее шла под густой темной чашей нависших ветвей деревьев. Ни один луч лунного света не проникал через листву. Я наудачу свернул на эту дорогу. Негодяй, шедший за мной, последовал моему примеру. Некоторое время мы молча шагали по замерзшим лужам. Наконец он захихикал и сказал:

– Это не дорога к мистеру Мертону.

– Нет? – ответил я. – Зато это мой путь.

– Значит, и мой, – проговорил он.

Мы снова умолкли и, вероятно, около полумили шли в густой тени ветвей; вдруг дорожка сделала внезапный поворот, и мы попали в яркий свет. Я обернулся. На плечи клерка был наброшен плащ с капюшоном; из-под шляпы виднелся черный парик; он держал свой дорож-

ный мешок в руке и с угрюмой сдержанностью ступал по льду; я едва узнавал моего противника, так сильно изменился он, изменился во всех отношениях; из прежнего в нем осталось только сухое, педантичное выражение лица, говорившее о неуступчивости, о постоянных усидчивых занятиях и о привычке к высоким сиденьям. Я заметил, что в мешке клерка, должно быть, лежало что-нибудь тяжелое. Обсудив положение вещей, я составил новый план и сказал:

– Ночь вполне соответствует времени года. Не побежать ли нам? Мороз меня так и подгоняет.

– С большим удовольствием, – ответил мой враг.

Его голос звучал очень уверенно, и это не особенно утешило меня. Но мне оставалось только или попробовать осуществить задуманный мною план, или прибегнуть к насилию, что я всегда мог успеть сделать. Итак, мы пустились бежать – я впереди, он сзади; некоторое время топот наших ударявших о землю ног, вероятно, разносился на расстояние полумили кругом. Когда мы пустились бежать, мой спутник держался на шаг позади меня; когда мы остановились, расстояние между нами не увеличилось ни на йоту. Несмотря на свои лета, несмотря на тяжесть чемоданчика, этот человек ни на волос не отстал от меня! Пусть дьявол гоняется с ним, если он хочет, думалось мне, у меня же не хватает на это сил.

Кроме того, бежать так скоро значило действовать против моих же собственных интересов. Мы непременно скоро прибежали бы куда-нибудь; после каждого поворота дороги я мог очутиться перед калиткой какого-нибудь сквайра Мертона среди деревни, в которой констэбль не напивается, или в руках ночного дозора. Нечего было делать – следовало покончить с моим преследователем. Оглянувшись кругом, я увидел, что мы находимся как раз в самом подходящем для этого месте. Нигде не виднелось жилья, не блестело ни огонька, расстилались только сжатые или оставленные под пар поля, да стояло несколько чахлах деревьев. Я остановился и гневным взглядом посмотрел прямо в глаза моему врагу, сказав:

– Довольно дурачиться!

Он тоже обернулся; его лицо было бледно, но не носило на себе отпечатка страха.

– Я вполне разделяю ваше мнение, – произнес клерк. – Вы желали посмотреть, как я бегаю, теперь не будет ли вам угодно взглянуть, умею ли я прыгать? Получите совершенно такой же результат. Исход может быть только один.

Моя палка со свистом закружилась в воздухе.

– Полагаю, вам известен этот исход? – проговорил я. – Мы одни, стоит ночь, и я окончательно решился. Вы не боитесь?

– Нет, – отвечал он, – ничуть. Я не умею боксировать, сэр, но я не трус, и для упрощения наших отношений с вами я скажу, что никогда не отправляюсь в дорогу без оружия.

Моя палочка с быстротой молнии просвистала над его головой, так же поспешно отклонился и мой законовед; через секунду в его руках заблестел пистолет.

– Довольно, господин французский пленник! Мне не хочется иметь на совести вашу смерть.

– А мне вашу, поверьте, – ответил я, опустил палку и невольно с чувством, похожим на восхищение, взглянул на моего врага. – По-видимому, вы упускаете из виду одно обстоятельство, а именно, что, по всей вероятности, вы промахнетесь.

– У меня их пара, – ответил клерк. – Никогда не путешествуйте без пары таких ревунов.

– Поздравляю вас! – проговорил я. – Вы умеете постоять за себя – это хорошая черта. Однако, милейший, взглянем на дело спокойно. Вы не трус, я тоже. По каким бы то ни было причинам, но я желаю держать свои дела в тайне и идти без спутников. Ну, скажите мне, неужели я должен выносить ваше присутствие, ваше постоянное и – простите мне выражение – очень дерзкое вторжение, *ingérence*, в мои частные дела?

– Опять французское слово, – спокойно заметил он.

– Ах, да подите вы с вашими французскими словами! – вскричал я. – Вы сами, должно быть, француз!

– Я пользовался всеми встречавшимися мне случаями, чтобы учиться, – объяснил мне мой спутник. – Мало найдется людей, знающих лучше меня сходства и различия наречий или акцентов двух языков.

– При этом вы говорите очень высоким слогом.

– О, я умею делать различие, – ответил законовед. – Я могу говорить с бедфордширскими крестьянами, но, надеюсь, могу и выражаться как следует, разговаривая с образованными джентльменами вроде вас.

– Если вы считаете себя джентльменом... – начал было я, но он меня перебил, заметив:

– Прошу прощения, у меня нет этой претензии, просто я в силу своей обязанности встречаюсь с людьми высшего круга. Сам же я человек простой.

– Бога ради, – крикнул я, – успокойте меня в одном отношении – кто и что вы такое?

– Я не вижу причины стыдиться ни своего имени, ни своего занятия. Честь имею рекомендоваться: я – Томас Деджон, клерк мистера Даниэля Ромэна, лондонского адвоката; наш адрес – Гольборн.

Только по силе охватившего меня восторга понял я, как велик был мой страх. Я бросил палку и вскрикнул:

– Ромэн? Даниэль Ромэн? Старый, краснолицый, большеголовый скряга, одетый точно квакер? Дорогой друг мой, придите в мои объятия!

– Перестаньте! – слабо протестовал Деджон.

Я не слушал его. Страх мой кончился, и мне чудилось, что вместе с моими опасениями для меня пропала и всякая опасность, что пистолет, блестящий в одной руке моего противника, не в состоянии повредить мне более, нежели чемоданчик, который он сперва держал в другой руке, а затем поставил перед собой как бы для того, чтобы преградить мне доступ к себе.

– Довольно, не то, уверяю вас, я выстрелю! – кричал Деджон. – Берегитесь, Бога ради! Мой пистолет...

Я предоставил ему волю кричать и привлек его к себе на грудь; я сжимал клерка в своих объятиях, я целовал его безобразное лицо, как, наверное, никто не целовал его ни до этой минуты, ни после. В порыве нежности я сбил с него шляпу, сдвинул парик на сторону. Он отбивался от меня и блеял, точно овца в руках мясника. Когда я теперь вспоминаю всю эту историю, она мне кажется нелепой. Я представляю себе безумцем за то, что не отнял у него свободы действий; он же является в моих глазах настоящим дураком, так как мог выстрелить в меня и не сделал этого. Однако все хорошо, что хорошо кончается, или как в наше время поют и свистят на улицах:

«Там наверху есть маленький нежный херувим,
Который наблюдает за душой бедного Джека.»

Я слегка разжал свои объятия, но все же держал Деджона за плечи.

– Теперь я вас *bien et bel embrasse*¹³ и вот, как вы, наверное, скажете, снова произнес французскую фразу!

Парик законоведа съехал набок, а сам он имел очень спокойный, но в то же время несколько смущенный вид.

– Мужайтесь, Деджон, – продолжал я, – ваше испытание окончилось, целовать вас больше не будут. Прежде всего, Бога ради, положите ваш пистолет; вы обращаетесь с ним крайне небрежно и можете быть уверены, рано или поздно он выстрелит. Вот ваша шляпа; нет, дайте,

¹³ Хорошо расцеловал.

я как следует надену ее вам на голову; прежде же поправим парик. Вы не должны позволять обстоятельствам мешать вам исполнять обязанности по отношению к себе. Если вам не для кого одеваться, одевайтесь ради Бога.

«Надевайте парик прямо
На вашу лысую голову,
Брейте подбородок,
Умывайте лицо.»

– Сочините ли вы что-нибудь подобное? Все обязанности человека в четверостишии! И заметьте, я не профессиональный бард; вы слышали произведение дилетанта.

– Однако, дорогой сэръ! – заметил он.

– Однако, дорогой сэръ, – повторил я, – я никому не позволю прерывать течение моих мыслей. Вы скажете мне, что вы думаете о моем четверостишии, или, клянусь вам, мы поссоримся!

– Вы большой оригинал, – сказал он.

– Да, – подтвердил я, – и передо мной не менее оригинальный человек.

Он улыбнулся и проговорил:

– Ну, так прослушайте два стиха, заслуживающие внимания как по смыслу, так и по форме:

«Достоинство создает человека; недостаток его – унижает.
Все остальное – тлен и прах».

– Ну, уж это нехорошо! Стихи написал Поп. Это не ваше произведение, Деджон. Поймите вы меня, – говорил я, крутя пуговицу на его груди, – прежде всего стихотворение должно быть моим, моим, сэръ. Вдохновение так и кипит в моей груди, потому что – если сказать правду – я дьявольски доволен оборотом дела. Я убежден, Деджон, что вы тоже рады. Да, а прогос, позвольте мне задать вам один вопрос; скажите мне как другу, вы когда-нибудь стреляли из пистолета?

– Да, сэръ, – ответил он, – два раза в придорожных воробьев.

– И вы, кровожадный человек, вы выстрелили бы в меня? – вскрикнул я.

– В ответ на это я скажу, что вы очень неосторожно размахивали палкой.

– Да? Неужели? Ну, ну! Все это дело прошлое, история старинная, как рассказ о Карле Фарамонде, – это тоже французское выражение, если вам угодно продолжать собирать улики, – проговорил я. – Но мы, к счастью, теперь закадычные друзья, и нами руководят общие интересы.

– Извините, но вы немножко увлекаетесь, мистер... Я не знаю вашего имени...

– Не знаете, никогда даже не слышали его, – подтвердил я.

– Объясните мне... – начал было Деджон.

– Нет, нет, – прервал я его. – Станьте на практическую точку. Я знаю, что для вас необходимо – ужин. Rien ne creuse comme l'émotion¹⁴. Я и сам проголодался, хотя и привык к воинственному трепету более, нежели вы, человек, охотившийся только на воробьев! Дайте мне критическим взглядом посмотреть вам в лицо. Вот какое меню нужно для вас: три куска холодного ростбифа, поджаренный хлеб с сыром, кружка портера и стакана два хорошего темного портвейна, который подают в старых бутылках... Знаете, настоящее английское молоко!

¹⁴ Ничто так не опустошает чрево, как волнение.

Мне почудилось, что глаза клерка блеснули, и он невольно облизнулся при этом перечислении.

– Еще не поздно, – продолжал я, – держу пари, что едва перевалило за одиннадцать. Где бы нам найти хорошую гостиницу? Заметьте, хорошую, – значит, нужно, чтобы в ней нашелся порядочный портвейн, а не такой, от которого голова болит.

– Право, сэр, – слегка улыбаясь, сказал клерк, – вы придаете делу такой оборот...

– Неужели ничто не заставит вас увлечься моим предложением? У вас необыкновенно малоподвижный характер. Как можете вы надеяться сделать карьеру!.. Где же гостиница?

– Ну, и шутник же вы! – сказал Деджон. – Я вижу, что вам необходимо уступить. Мы не более как в трех милях от Бедфорда.

– Решено, – крикнул я. – Идем в Бедфорд!

Я взял его под руку, поднял его чемоданчик; Деджон не сопротивлялся. Мы вышли на открытый, очень покатый склон. У себя под ногами я чувствовал мягкую дорогу, не покрытую льдом. Нежный яркий свет луны заливал луга и безлиственные деревья. Теперь я совсем покончил с муками чистилища в закрытом фургоне. Я был невдалеке от моего дяди; мистер Деджон перестал пугать меня; все вместе взятое служило для меня достаточным источником веселья. Я представлял себе, что мы с Деджоном две крошечные одинокие куклы под морозным покровом полуночи; кругом расстилалась гладкая равнина; луна разливала свой свет, самая незначительная из звезд так и сияла; под ногами, казалось, был выметенный и натертый пол. Не хватало только музыкантов, чтобы пуститься в пляс. Вся душа моя ликовала, и я решил сам заменить музыку.

«Весело танцевала жена квакера,
Весело танцевал квакер!»

Запев эту живую мелодию, я обхватил рукой стан Деджона, и мы с ним понеслись по отлогому склону. Сперва он немного сопротивлялся, но звуки песни, красота ночи и мой пример увлекли его. Даже оловянный человечек затанцевал бы в эту минуту, и вот сам Деджон оказался живым существом. Мы делали все более и более высокие прыжки, и на освещенной луной дороге тени повторяли все наши движения и жесты. Вдруг в моем уме блеснул как бы яркий луч; я представил себе, какая фигура была у человека, танцевавшего со мной, какое длинное, желчное лицо смотрело из-под безволосого лба; я вспомнил, сколько волнений заставил меня пережить этот мошенник!

Наконец перед нами засияли огни Бедфорда. Мой спутник-пуританин высвободился из сжимавших его объятий и сказал:

– Это немножко *infra dig*, сэр, не правда ли? Всякий, увидав нас, мог бы подумать, что мы недавно выпили...

– Да вы и выпьете, Деджон, – ответил я. – Лицемер этакий, вы не только выпьете, но и напьетесь, будете мертвецки пьяны, уверяю вас, и не сами ляжете в постель, – вас отнесет и уложит чистильщик сапог. Мы предупредим его, как только войдем в гостиницу. Никогда не забывайте о предусмотрительности и никогда не откладывайте на завтра того, что можете сделать сегодня!

Однако клерку не пришлось более жаловаться на мое легкомыслие. Мы дошли до гостиницы и перешагнули через ее порог вполне приличным образом. В гостинице еще горел свет, в ее комнатах сидело несколько запоздалых путешественников; мы с надлежащей строгостью дали приказания, надеясь, что благодаря нашей суровости, они будут исполнены немедленно; вскоре мы уселись за один из боковых столиков, стоявших близ камина и освещенных ярким светом свечей. Нам подали те кушанья, о которых я давно мечтал. Несколько дней подряд я трясся в закрытом фургоне, голодал, замерзал, терпел такие неудобства, которые сломали бы

самого мужественного человека, а потому белая скатерть на столе, блестящий хрусталь, отсвет огня, красные занавески, турецкий ковер на полу, портреты на стенах, вид спокойных лиц нескольких запоздавших гостей, сидевших в молчании, стараясь продлить удовольствие, которое им доставляло пищеварение, и, наконец, рюмка превосходного, слегка сухого портвейна – все приводило меня в настроение, которое можно назвать небесным. Мысль о полковнике и о том, как он наслаждался бы этой уютной комнатой и теплом шумящего пламени, воспоминание о его холодной могиле в лесу близ Босворта примешивала к моему наслаждению несколько капель горечи, но – говорю это со стыдом – не была способна вполне уничтожить мою радость. Что делать? В этом свете каждая собака подвешена за свой собственный хвост. Я же был свободным искателем приключений, который привел к счастливому окончанию – или, по крайней мере, мог надеяться на это – очень трудное и опасное предприятие! Я смотрел через стол на мистера Деджона, с удовольствием замечая, что портвейн заставил слегка порозоветь его лицо, что его деревянные черты озарились доверчивой и немного глупой улыбкой; в то время я чувствовал, что к моему спокойствию начинает примешиваться некоторая доля расположения к клерку. Этот мошенник выказал много мужества, что заставило бы меня найти достоинство в самом дьяволе. Кроме того, если Деджон и был очень неподатлив вначале, – он более чем загладил это впоследствии.

– Ну, Деджон, я вам объясню кое-что, – начал я. – Я знаю вашего принципала, он знает меня, ему известно мое дело, и он одобряет мои замыслы. Еще я могу прибавить вам, что направляюсь в Амершем.

– Ого! – воскликнул Деджон. – Я начинаю понимать.

– Очень рад, – продолжал я, передавая ему бутылку, – так как больше я ничего прибавить не могу. В остальном поверьте мне на слово; думайте, что я говорю правду или лгу, как вам будет угодно. Если вы не верите мне, наймите завтра коляску, отвезите меня в Гольборн и устройте очную ставку с мистером Ромэном; в результате получится ваше успокоение и расстройство планов вашего принципала. Если я не ошибаюсь в вас, – мне кажется, вы очень догадливый человек, – вам это придется не по душе. Вы знаете, что подчиненный выигрывает услужливостью, а насколько я помню мистера Ромэна, мне кажется, у него не такое лицо, на котором я с удовольствием увидел бы выражение гнева; поэтому я решаюсь предсказать вам удивительные для вас перемены в вашем недельном вознаграждении, если вы получаете жалование еженедельно. Словом, не помешав мне свободно уйти, вы покончите все дело; если же вы отвезете меня в Лондон – начнется целая история, и, как я полагаю, вы испытаете множество беспокойств. Выбирайте любое!

– Нетрудно решиться, – ответил клерк. – Отправляйтесь завтра в Амершем или хоть к самому дьяволу, если это вам угодно, – я умываю руки и не хочу ничего знать ни о вас, ни о ваших делах. Конечно, я не стану совать голову между Ромэном и его клиентом! Он хороший делец, сэр, но человек жесткий, как жернов. Я могу у него нажиться, это верно. Однако все же жаль... – прибавил он, вздохнув, покачал головой и печально выпил вина.

– Вы заставили меня вспомнить об одной вещи, – сказал я. – Меня мучит страшное любопытство, и вы можете удовлетворить его. Что заставило вас так привязаться к бедному Дюбуа? Почему затем вы обратили все ваше внимание на меня? И вообще, из-за чего вы преследовали нас?

Деджон густо покраснел.

– Я надеюсь, сэр, – сказал он, – на свете существует нечто, называемое патриотизмом!

Глава XVI

Виконт мистера Роулея приезжает домой

На следующее утро мы с Деджоном простились около восьми часов. К этому времени я успел вполне сойтись с ним; мне даже хотелось, чтобы он сопровождал меня в Амершем. Но оказалось, что клерку было крайне необходимо вернуться в ту харчевню, в которой мы впервые встретились с ним: на Деджона было возложено устройство какого-то дела моего дяди, земля которого находилась рядом с шинком. Итак, если бы Деджону удалось тогда схватить меня, собственный агент дяди арестовал бы меня на его земле. Право, это было бы высшей степенью неудачи!

После полудня я в закрытом экипаже двинулся к Дунстаблю и вскоре заметил, что одно упоминание об Амершеме заставляло всех любезно улыбаться и возбуждало в них желание услужить мне. Очевидно, дом моего дяди был настоящим дворцом или замком, и граф вел в нем жизнь, соответствующую своему положению. Слава о нем все возрастала по мере нашего приближения, точно горная цепь. В Бедфорде при упоминании об Амершеме снимали шляпы; в Дунстебле готовы были ползать передо мной. Я думал, что хозяйка гостиницы, узнав, что я еду в Амершем, расцелует меня; она не знала, что и придумать, улыбалась, выказывала самую нежную заботливость, хлопотала обо мне так, что ее букольки приходили в совершенный беспорядок, а ключи громко звенели.

– Вероятно, сэр, вас ждут в Амершеме? Надеюсь, что вы получите лучшие известия о здоровье его сиятельства. Мы слышали, что графу очень дурно. Да, сэр, все мы почувствуем, когда не станет этого милого, благородного господина. Не знаю, есть ли на свете более вежливый человек, чем он. Люди говорят, что он страшно богат, что до революции он был настоящим принцем в своей собственной стране. Но простите меня, сэр, я слишком много болтаю и говорю вещи, без сомнения, уже известные вам. У вас есть фамильные черты, сэр. Я вас сейчас же узнала бы всюду по сходству с нашим дорогим виконтом. Ах, бедный виконт, невесело ему, должно быть, в настоящее время!

Из окон этой же гостиницы я заметил слугу в ливрее, составлявшей принадлежность моего дома, ливрее, которую, понятно, я никогда не видывал до тех пор или если видел, то так давно, что не мог этого помнить. Правда, я очень часто воображал себя маршалом, герцогом, кавалером большого креста ордена Почетного Легиона и так далее, представляя, что при этом кругом меня будет толпиться целый ряд лакеев, одетых в мои цвета. Но воображать и видеть в действительности – две совершенно различные вещи; вдобавок, с одним чувством смотрел бы я на свои ливреи в моем доме в Париже, с другим – увидел, что они красуются в самом сердце враждебной Англии. Боюсь, что если бы этот лакей не был на противоположной стороне улицы, а я не стоял за стеклом одностворчатого окна, я поступил бы, как глупец. Было что-то сказочное в этом перемещении в чужую страну богатства и значения нашего рода, то есть в перемещении того, что по самой своей природе прикреплено к земле. Было что-то ужасное в сознании, что я еду в родной дом, стоящий так далеко от моей родины.

По мере того, как я отъезжал от Дунстабля, подобные впечатления делались все сильнее и сильнее. Тому, кто не был в Англии, трудно себе представить, что такое замки английских аристократов или, лучше сказать, их усадьбы, и ничто не дает ему понятия о раболепстве населения, окружающего жилища этих богачей. Я ехал в закрытом экипаже, но, очевидно, слух о том, куда я направлялся, предшествовал моему появлению: встречавшиеся мне женщины приседали, мужчины неловко кланялись. Когда я подъехал к замку моего дяди, я понял, что внушало такое глубокое, широко распространенное уважение к нему: стена, окружавшая парк графа, даже снаружи имела грандиозный вид; когда же я увидел сам дом, меня охватило нечто

вроде тщеславия при мысли, что все это принадлежит моему дяде. Я безмолвно смотрел пристальным взглядом на великолепное здание. Величиной замок был приблизительно с Тюильри. Главный его фасад выходил на север, и когда я впервые увидел его, солнце, похожее на раскаленное ядро, садилось среди клубов снежно-белых облаков, и последние лучи дневного светила отражались в бесконечном ряде окон. Портик из дорических колонн, сделавший бы честь любому храму, украшал фасад дома графа. Меня встретил слуга чрезмерно – я чуть не сказал «оскорбительно» – вежливо. Он через стеклянные двери ввел меня в переднюю; ее нагревал и уже освещал большой камин, в котором горела груда буковых корней.

На вопрос слуги, как доложить обо мне, я ответил: «Виконт Анн де Сеит-Ив». Слуга поклонился мне еще ниже, провел к мажордому, право же, способному навести ужас! В свое время я видел много сановников, но никто из них не мог бы вполне сравниться с этим важным существом. Он был велик, он лоснился, казался вежливым, в разговоре пропускал букву «h» и, несмотря на все эти качества, имел снисходительность носить простое имя Даусон.

От него я узнал, что моему дяде стало очень плохо, что доктор постоянно наблюдал за графом, что мистера Ромэна ждали каждую минуту, что за моим двоюродным братом послали утром в этот же день.

– Значит, с ним случился внезапный припадок? – спросил я.

Даусон не мог сказать этого; граф постепенно угасал, таял; но накануне ему внезапно стало гораздо хуже; дядя послал за мистером Ромэном, а мажордом немного попозже решил от своего имени отправить записку к виконту.

– Мне казалось, милорд, – сказал он, – что в такие минуты вся семья должна быть в сборе.

Губы мои согласились с этим замечанием, но не сердце. Очевидно, Даусон всецело стоял на стороне моего двоюродного брата.

– А когда могу я надеяться увидеть графа? – спросил я.

– В течение вечера, – был ответ. В то же время мажордом объявил мне, что он проводит меня в комнату, давно уже приготовленную для меня, что я приблизительно через час пообеду с доктором, то есть в том случае, если «мое сиятельство» не будет иметь ничего против этого.

«Мое сиятельство» не сделало никаких возражений.

– Но, – сказал я, – со мной случилось очень неприятное происшествие: я потерял мои вещи, и у меня нет никакого платья, кроме надетого на мне. Не знаю, формалист ли доктор или нет, я же во всяком случае не в состоянии появиться за обедом в надлежащем виде.

Даусон попросил меня не беспокоиться.

– Мы уже давно ждем вас, – заметил он, – все готово.

Он сказал правду. Для меня была приготовлена просторная комната. Последние лучи зимнего заката падали через большие окна, смешиваясь с отсветом великолепного пламени в камине, постель стояла открытой; перед огнем висело вечернее платье, и из дальнего угла комнаты мне навстречу вышел молодой слуга с заискивающей улыбкой на губах. Греза, среди которой я жил все это время, достигла своего апогея; можно было подумать, что только вчера вечером покинул я этот дом, эту комнату. Я пришел к «себе» и впервые в жизни понял значение слов «дом» и «добро пожаловать».

– Все ли по вашему вкусу, сэр? – спросил Даусон. – Этому слугу, Роулея, мы отдаем в полное ваше распоряжение, сэр. Нельзя сказать, чтобы он был настоящим лакеем, но господин Поуль, камердинер господина виконта, дал ему несколько уроков, и можно надеяться, что мальчик будет служить вам удовлетворительно. Если вы, сэр, пожелаете потребовать что-нибудь, скажите это Роулею – я сочту своей обязанностью, сэр, постараться удовлетворить ваше желание.

Сказав это, важный и уже ставший мне ненавистным Даусон ушел. Я остался наедине с Роулеем. Мое сознание, можно сказать, пробудилось в тюрьме аббатства среди полных гра-

ции и глубокого драматизма образов мужественных и чистых честных людей, ждавших смертного часа и лишенных самых необходимых удобств, поэтому я никогда не испытывал роскоши и удовольствий, связанных с положением, которое я по рождению имел право занимать в обществе. Я пользовался услугами слуг только в гостиницах. В течение долгого времени я совершал свой туалет быстро, по-военному, между двумя сигналами рожка и нередко подле какой-нибудь канавы. Поэтому нечего удивляться, что я с некоторым недоверием смотрел на моего нового слугу. Однако я вспомнил, что как он был моим первым лакеем, так и я был его первым господином, и это соображение успокоило меня; я велел приготовить себе ванну уже вполне уверенным тоном. Ванная комната находилась рядом с моей спальней. Через невероятно короткий промежуток времени вода закипела, и вскоре я уже сидел в шалевом шлафроке, наслаждаясь роскошью довольства и комфорта, и, развалившись на кресле перед зеркалом, смотрел, как Роулей готовил бритвы; на лице моего молодого слуги виднелась очень понятная для меня смесь двух чувств – гордости и тревоги.

– Роулей, – обратился я к нему, чувствуя некоторое беспокойство при мысли, что мне придется идти в огонь под руководством такого неопытного командира, – у вас все в порядке? Вы умеете обращаться с этими инструментами?

– О, да, – ответил он, – все в порядке, ваше сиятельство.

– Простите, Роулей, но ради краткости я попрошу вас не титуловать меня, когда мы будем наедине, – сказал я. – С меня достаточно, если, обращаясь ко мне, вы станете говорить мистер Анн. Так принято у меня на родине, как вам, вероятно, известно.

Роулей был поражен.

– Но ведь вы носите тот же титул, как и виконт мистера Поуля.

– Как виконт мистера Поуля? – переспросил я со смехом и прибавил: – Будьте покойны, виконт мистера Роулея такой же настоящий виконт, как и тот. Только, видите ли, я принадлежу к младшей линии, и потому вместе с титулом следует упоминать мое имя; Ален – виконт, я – виконт Анн. Говоря мне мистер Анн, вы ничем не нарушите правил этикета, уверяю вас.

– Хорошо, мистер Анн, – произнес кроткий юноша. – Что же касается бритвы, сэр, вам нечего беспокоиться. Мистер Поуль говорит, что у меня очень большие способности к бритью.

– Поуль? – повторил я. – Мне кажется, это не вполне французское имя.

– Нет, сэр, ваше сиятельство, – начал Роулей, почувствовав ко мне доверие, – нет, мистер Анн, это не французское имя. Мне кажется, оно скорее произносится Поли.

– И этот Поуль служит виконту?

– Да, мистер Анн, – ответил Роулей. – Ему выпал тяжелый жребий. Виконт очень требовательный господин. Мне кажется, вы будете не таким, мистер Анн, – прибавил он, доверчиво улыбаясь мне в зеркало.

Роулею казалось около шестнадцати лет; он был строен; его веселое веснушчатое лицо освещала пара ясных глаз. В чертах юноши светилось ласковое и заискивающее выражение, которое мне показалось хорошо знакомым. Я вспомнил картины из моей собственной ранней юности, вспомнил то страстное обожание, которое я питал к нескольким людям, с тех пор давно потерявшим мое уважение или умершим; во мне воскресла память о том, с каким замиранием сердца я мысленно старался служить моим бывшим героям, с какой радостью я в своем воображении бывал готов умереть за них. Насколько выше и благороднее казалась мне их жизнь и смерть, нежели это было в действительности! Когда я смотрел в зеркало, мне чудилось, что в чертах Роулея я вижу эхо или призрак моей собственной ранней юности. Я всегда утверждал (частью оспаривая мнение моих друзей), что я прежде всего экономист, и, конечно, я ни за что на свете не пренебрег бы такой драгоценной собственностью, как поклонение юноши, видевшего во мне героя.

– Вы бреете как ангел, мистер Роулей, – заметил я.

– Благодарю вас, виконт, – ответил он и продолжал: – Мистер Поуль не боялся за меня. Поверьте мне, сэр, я бы не получил место при вас, если бы не был достаточно искусен. Мы ждали вас весь этот месяц, Господи Боже! Я никогда не видывал таких приготовлений! Каждый день топили, делали постель и т. д. Как только стало известно, что вы приедете, сэр, мне начали платить жалованье. И с тех пор я бегал то вверх, то вниз, ну, точно чертик в табакерке. Как только в аллее застучат колеса, я, бывало, бросаюсь к окошку. Много раз пришлось мне разочароваться; но сегодня, как только вы вышли из экипажа, я понял, что это мой... что это вы. О, да, вас ждали. Когда я сойду вниз ужинать, я сделаюсь героем нашей столовой. Всем так любопытно.

– Ну, – сказал я, – надеюсь, вы можете дать мне отличный аттестат: трезвого поведения, степенный, трудолюбивый человек, с хорошим характером, превосходные рекомендации с прежнего места. Да?

Роулей засмеялся с замешательством.

– Ваши волосы прелестно вьются, – сказал он, желая переменить разговор. – Но вот у кого они особенно сильно завиваются, у виконта! Только не от природы, да и редеть начинают. Виконт старится. Он пожил в свое удовольствие. Ведь правда, сэр?

– Дело в том, – заметил я, – что я очень мало знаю его. Наши семьи не видались, и я еще почти ребенком поступил на военную службу.

– На военную службу, мистер Анн, сэр? – вскрикнул Роулей с лихорадочным оживлением. – Были ли вы ранены?

Я не считаю нужным умерять восхищение, пробуждаемое моей личностью, потому, спустив шлафрок с одного плеча, молча показал мальчику рубец от раны, которую получил в Эдинбургском замке. Роулей посмотрел на него с благоговением.

– Боже мой, и вас ранил француз? – невпопад спросил юноша.

Я не солгал, подтвердив его догадку.

– Французская сталь, – заметил он с ужасом и наслаждением.

Хотя я имел основание предполагать, что ножницы, которыми мы дрались, были английского изделия, я не считал уместным противоречить ему.

– Да, – продолжал он, – в самом воспитании уже была разница. Тот виконт занимался лошадиными скачками, играл в кости, и так всю жизнь. Все это, без сомнения, хорошо, но я говорю, что это не ведет ни к чему. Между тем...

– Между тем виконт мистера Роулея... – подсказал я.

– Мой виконт? – повторил он. – Да, сэр, я говорил, что вы иное дело. А теперь, увидав вас, снова повторю это.

Я не мог удержаться от улыбки, и мошенник увидел ее в зеркале; он тоже улыбнулся мне.

– Да, опять повторяю это, мистер Анн, – проговорил Роулей. – Я знаю, где раки зимуют! Я понимаю, когда джентльмен – джентльмен. Мистер Поуль может убираться к черту со своим виконтом! Прошу прощения за то, что говорю так свободно, – вдруг прервал он свою речь и вспыхнул пунцовым румянцем, – мистер Поуль говорил мне, что не следует так болтать.

– Дисциплина прежде всего, – подтвердил я, – следуйте примеру старшего.

После этого мы обратили внимание на мое платье. Я с удивлением заметил, что оно мне было совершенно впору, не сидело на мне *à la diable*, как сидит солдатская форма или одежда, купленная готовой; все части костюма красиво облегли меня; так приходится только произведение искусного артиста, сшитое на любимого клиента.

– Это удивительно, – заметил я, – платье мне совершенно впору.

– Действительно, мистер Анн, вы оба точно сделаны по одной мерке, – сказал Роулей.

– Кто, кто оба? – спросил я.

– Вы и виконт.

– Черт возьми! Уж и платье-то на мне не его ли?

Однако Роулей успокоил меня. Как только зашла речь о моем приезде, граф передал вопрос о гардеробе в руки портного, шившего на него самого и на моего двоюродного брата; благодаря слухам о нашем сходстве, мне сшили платье по мерке Алена.

– Но все было сделано специально для вас, мистер Анн, уверяю, граф ничего не делает вполовину: топили камин, заказали самое тонкое платье, отдельного лакея приучали к его должности.

– Ну, – сказал я, – камин топится хорошо, платье отличное, а что за лакей мистер Роулей! Одно следует сказать в пользу моего кузена, то есть виконта мистера Поуля, – у него прекрасная фигура!

– О, не впадайте в заблуждение, мистер Анн, – проговорил Роулей, – его шнуруют в корсет.

– Полно, полно, мистер Роулей, – возразил я. – Не увлекайтесь, не обманывайтесь. Самые великие люди древности, включая Цезаря, Аннибала и папу Иоанна, были бы рады в наши с Аленом лета носить корсет, это общее несчастье, – сказал я и поклонился себе в зеркало, как бы собираясь танцевать менуэт. – Когда результат так удачен, как этот, кто же не станет восхищаться и аплодировать?

Мой туалет окончился; теперь меня ожидали новые сюрпризы. Моя комната, мой слуга и платье оказались лучше, нежели я мог надеяться; затем обед послужил откровением того, на что может быть способен человек. Я даже не воображал, чтобы повар из обыкновенного бычьего или бараньего мяса был способен создавать такие тонкие блюда. Вино оказалось превосходным на вкус, а доктор отличным собеседником, и я не мог отогнать от себя мысли о том, что все это богатство и изобилие могло сделаться моею собственностью. Да, для солдата, питавшегося из походного котла, для пленника, получавшего казенную порцию, для беглеца, испытавшего весь ужас закрытого фургона, перемена была заметной.

Глава XVII

Шкатулка

Едва доктор пообедал, как извинился и поспешил к своему пациенту; почти сейчас же и меня повели по высокой лестнице, по нескончаемым коридорам к моему дяде графу. До сих пор перед моими глазами были только доказательства значения и богатства этого важного человека, но с ним самим я еще не видался. Вспомните при этом, что с самого детства его унижали в моем мнении (первые эмигранты не могли заслуживать сочувствия того общества, в котором жил мой отец). Даже впоследствии все сведения, полученные мною о дяде, были какого-то сомнительного характера; сам Ромэн нарисовал мне не особенно симпатичный портрет графа; поэтому, войдя в его комнату, я устремил на него критический взгляд. Мой внучатый дядя лежал высоко в подушках на маленькой складной кровати, размером не больше походной койки; дышал он тихо и незаметно. Дяде было около восьмидесяти лет, и на вид он не казался моложе; не то, чтобы множество морщин покрывало его лицо, но чудилось, будто из его тела исчезла вся кровь, будто он уже потерял все краски жизни, будто его глаза, которые он постоянно закрывал, чтобы свет не тревожил их, выцвели и полиняли. В чертах больного проглядывало что-то хитрое, вселявшее в меня неприятную тревогу. Этот старик, лежавший со сложенными руками, напоминал мне паука, поджидающего добычу. Говорил он плавно и вежливо, но его голос звучал тихо, едва слышнее вдоха.

– Добро пожаловать, *monsieur le vicomte Anne*, – сказал он, смотря на меня в упор своими бесцветными глазами, но не двигаясь. – Я послал за вами и благодарю вас за вашу любезную поспешность, глубоко сожалея, что не могу встать и встретить вас как следует. Надеюсь, что вы останетесь всем довольны.

– *Monsieur mon oncle*, – сказал я с очень низким поклоном, – я явился по требованию главы семьи.

– Это хорошо, – ответил граф. – Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне обо всем, что послужило причиной того, что я имею удовольствие видеть вас здесь.

Холодность старика и воспоминания о далеком, печальном прошлом, которые он разбудил во мне своими словами, навеяли на меня грусть. Я вдруг почувствовал себя снова бездомным, одиноким и лишенным друзей; восхитительное сознание того, что я дома, что всё и все приветствуют меня, превратились в прах и пепел.

– Это недолго рассказать, *monseigneur*, – ответил я. – Мне ведь, понятно, незачем говорить о кончине моих несчастных родителей? Их история – история брошенной собаки.

– Вы правы. Я достаточно знаю об этом печальном деле; мне тяжело думать о нем. Знаете, племянник, ваш отец принадлежал к числу людей, которым трудно советовать что бы то ни было, – произнес граф. – Просто-напросто расскажите мне о себе самом.

– Боюсь, что вначале мне придется возмутить вашу чувствительность, – с горькой улыбкой сказал я, – моя история начинается у подножия гильотины. Когда однажды ночью прочитали список, и в числе других имен прозвучало «ее» имя, я был уже настолько понятлив, не благодаря летам, а вследствие горького опыта, что сознавал всю глубину своего несчастья. Она... – Я замолчал на мгновение. – Достаточно будет сказать, что она попросила свою подругу, госпожу де Шассерадес, взять на себя заботы обо мне. Благодаря милости наших тюремщиков мне было позволено остаться под кровом аббатства, составлявшего мое единственное пристанище; кроме тюрьмы, во Франции не было ни одного метра земли, на который я мог бы с безопасностью ступить. Граф, вы сами не хуже меня знаете, какую жизнь вели в аббатстве и как смерть косила заключенных. Вскоре и имя госпожи де Шассерадес появилось в том же списке, в котором недавно стояло имя моей матери. Она передала меня госпоже де Нойто, та, в свою

очередь, попросила mademoiselle де Брэ заботиться обо мне и так далее. Только я один продолжал существовать, все же эти женщины проносились как облака, каждая из них день, два заботилась обо мне; затем мне говорилось последнее прости, и где-то там, в шумном Париже, окружавшем нас, происходила кровавая сцена. Меня любили, я составлял последнее утешение этих обреченных женщин! Став взрослым, я участвовал в жарких битвах, граф, но мне никогда не случалось встречать такого мужества, примеры которого я видал в детстве. Все делалось с улыбкой, сохранялся тон хорошего общества, меня приучали называть каждую из моих покровительниц belle maman. И вот в течение двух-трех дней моя «хорошенькая маменька» постоянно возилась со мной, ласкала меня, учила танцевать менуэт, заставляла читать молитвы, затем, нежно обняв и поцеловав меня, с улыбкой шла вслед за другими. Некоторые плакали. Таково было мое детство! Все это время господин де Кулемберг наблюдал за мной. Он даже готов был взять меня из аббатства на свое собственное попечение, но мои «маменьки» одна за другой противились этому. Где я мог находиться в большей безопасности, нежели в аббатстве, говорили они, и что случилось бы с ними без любимца всей тюрьмы? Вскоре оказалось, насколько прочна была моя безопасность в аббатстве. Наступил день истребления. Всю тюрьму опустошили; однако никто не обратил на меня ни малейшего внимания, даже последняя из моих «маменек», так как ужасная судьба постигла ее. Я смущенно бродил из угла в угол, пока меня не нашел один из людей, близких господину де Кулембергу. Впоследствии я узнал, что человек этот был нарочно послан за мной; чтобы проникнуть в тюрьму, он принял участие в невыразимых жестокостях; вот какой ценой заплатили за мое ничтожное, плаксивое, маленькое существо. Когда человек, посланный за мной, взял меня за руку, я пошел, не сопротивляясь. Помню только одно из моего бегства, а именно образ моей последней маменьки, которую я увидел. Описать вам картину, представившуюся моим глазам? – спросил я с внезапной жестокостью.

– Избегайте тяжелых подробностей, – заметил мой внучатый дядя, и его слова сразу умиротворили меня. Раньше я сердился на старика, я не старался щадить его; в эту же минуту я ясно понял, что и щадить-то было решительно нечего. Вследствие ли природной сухости или благодаря престарелому возрасту, но у графа совершенно отсутствовала душа; мой благодетель, приказывавший целый месяц топить камин в моей пустой комнате, мой единственный родственник (если не считать Алена, оказавшегося продажным шпионом) затушил во мне последние проблески надежды на него.

– Постараюсь, – ответил я, – да вскоре мне и не придется вспоминать о тяжелых вещах. Господин де Кулемберг взял меня к себе. Полагаю, сэр, вы знали аббата Кулемберга?

Дядя, не открывая глаз, утвердительно кивнул мне головой.

– Он был очень мужественным и очень начитанным человеком.

– И вел святую, благочестивую жизнь, – любезно прибавил мой дядя.

– Он вел святую жизнь, как вы изволили заметить, – продолжал я. – Аббат сделал бесконечно много добра и во время террора сумел спастись от гильотины. Он дал мне воспитание, достаточно хорошее для солдата. В его деревенском доме в Даммарике, близ Мелена, я познакомился с вашим агентом, мистером Викари, который точно только затем скрывался там, чтобы пасть, попавшись в руки шайки разбойников-поджаривателей.

– Бедный Викари, – заметил дядя. – Он несколько раз ездил во Францию по моим делам, и тогда его впервые постигла неудача. *Quel charmant homme, n'est ce pas?*¹⁵

– Вполне очаровательный, – подтвердил я. – Но я не стану более утруждать вашего внимания рассказом, подробности которого естественным образом должны быть более или менее неприятны для вас. Скажу лишь, что по совету аббата я в шестнадцатилетнем возрасте вступил на службу Франции и с тех пор не складывал оружия и вел себя так, что это не могло навлечь позора на мою семью.

¹⁵ Не правда ли, очаровательный человек?

– Вы это хорошо рассказываете, *vous avez la voix chaude*¹⁶, – сказал мой дядя и несколько повернулся, как бы желая лучше рассмотреть меня. – Де Мозеан, которому вы помогли в Испании, очень хорошо отзывался о вас. И аббат Кулемберг, человек хорошего рода, воспитывал вас. Да, вы годитесь. У вас прекрасные манеры, вы красивы (что всегда кстати). Мы все красивы, даже я сам имел успех, воспоминания о котором до сих пор доставляют мне наслаждение. Я намереваюсь, племянник, сделать вас моим наследником; другим моим племянником, виконтом, я не вполне доволен; он не был почтителен ко мне, а человек в моем возрасте имеет право требовать к себе уважения. Кроме того, другие причины также заставляют меня изменить мои намерения.

Я был готов бросить в лицо графу наследство, которое он так холодно предлагал мне. В то же время я невольно вспомнил о том, что дядя – старик, что он мой единственный родственник; что я очень беден и нахожусь в затруднительном положении, что в моей душе живет сладкая надежда, которая может осуществиться с помощью этого наследства. Не был я в состоянии также прогнать из головы мысли о том, что, несмотря на свое ледяное обращение, граф с самого начала выказал относительно меня щедрость, и – я чуть было не написал – доброту, но это слово не применимо к понятию о дяде.

Я поклонился и сказал:

– Ваша воля должна быть для меня законом.

– У вас есть рассудок, *monsieur mon neveu*¹⁷, – сказал старик. – Большинство оглушило бы меня своими благодарностями... Благодарность! – повторил он со странным выражением в голосе, затем откинулся и улыбнулся своим мыслям. – Однако поговорим о вещах, гораздо более важных. Возможно ли будет вам, военнопленному, утвердиться в правах наследства и сделаться владельцем имений, находящихся в Англии, положительно не знаю. Живя здесь, я не изучал того, что называют законами. Теперь далее: вдруг Ромэн опоздает. Мне необходимо совершить два дела: умереть и написать завещание. Как ни хотелось бы мне услужить вам, я все же не в состоянии отложить первого, чтобы успеть сделать второе; я могу располагать всего несколькими часами.

– Хорошо, сэр, в таком случае мне придется жить, как я жил до сих пор.

– Нет, – сказал граф. – Можно сделать нечто иное. Я только что взял от банкира мои наличные деньги, значительную сумму, и теперь намереваюсь передать их вам. У вас появятся эти средства, они пропадут для... – Дядя замолчал и улыбнулся такой злой усмешкой, которая удивила меня. – Однако необходимо, чтобы передача произошла при ком-нибудь. У виконта очень недоверчивый характер; если деньги будут переданы без свидетелей, он, пожалуй, заговорит о краже.

Граф позвонил. В комнату вошел слуга, похожий на доверенного камердинера. Дядя дал ему ключ и сказал:

– Ла Ферьер, принесите сюда ту шкатулку, которую вчера привезли; затем попросите доктора Гентера и господина аббата пожаловать ко мне на несколько минут.

Шкатулка графа оказалась большим ящиком, обтянутым русской кожей. Дядя передал мне ее в присутствии доктора и милого улыбавшегося священника; при этом граф ясным образом выразил свою волю. Свидетели остались, чтобы написать и скрепить своею подписью бумагу, говорившую о том, что произошло; меня же де Кэруэль отослал. Я направился в свою комнату. Ла Ферьер нес за мною драгоценный ящик.

У дверей моей спальни я, поблагодарив, отпустил старого слугу, взял из его рук шкатулку и вошел в отведенное помещение. Тут все уже было приготовлено к ночи. Роулей спустил занавеси и привел камин в порядок; в ту минуту, когда я вошел, мой молодой слуга опраивлял

¹⁶ У вас горячий голос.

¹⁷ Мой племянничек.

постель. Он обернулся и приветливо взглянул на меня; сердце мое согрелось от этого взгляда. Действительно, я никогда еще так не нуждался в симпатии человеческого существа, хотя бы самого простого, как в ту минуту, когда вошел к себе в спальню с целым состоянием в руках. В комнате моего дяди я испытал полное разочарование. Он наполнил деньгами мои карманы, но задушил всякое человеческое чувство почтения или расположения к себе. Старость и опытность произвели на меня такое удручающее, мертвящее впечатление, что один вид молодого человека заставил меня довериться Роулею; он был еще мальчиком; его сердце еще должно было биться, в нем, без сомнения, сохранилась часть естественных и невинных чувств; он умел болтать глупости, он не превратился в машину, сделанную для произнесения безупречных речей. В то же время я уже начал освобождаться от тяжелого впечатления, произведенного на меня свиданием с дядей, и несколько воспрянул духом. В то мгновение, когда ко мне подбежал Роулей, чтобы взять из моих рук шкатулку, когда он взглянул на меня своим веселым, ничего не значащим взглядом, – Сент-Ив снова стал самим собой.

– Ну, Роулей, не торопитесь, – сказал я. – Это важная минута! Вы человек и слуга и уже прослужили мне целых три часа. При этом вы, конечно, успели заметить, что я довольно суровый господин, который больше всего на свете ненавидит хотя бы намек на фамильярность. Мистер Поуль, или Поли, вероятно, пророчески почуяв истину, предупреждал вас.

– Да, мистер Анн, – проговорил оторопевший Роулей.

– Теперь произошел один из тех редких случаев, которые иногда заставляют меня отступать от моих основных правил. Дядя дал мне ящик, который вы назвали бы рождественским подарком. Я не знаю, что лежит в нем; не знаете этого и вы: может быть, я одурачен, как человек, обманутый первого апреля, но может статься, что я стал чудовищным богачом. В этом, по-видимому, безобидном ящике могут лежать пятьсот фунтов.

– Господи! – воскликнул Роулей.

– Ну, Роулей, поднимите вашу правую руку и повторите за мною слова клятвы, – сказал я, поставив шкатулку на стол. – Говорите: «Бейте меня до синяков, если я когда-нибудь открою мистеру Поулю, или его виконту, или кому бы то ни было близкому к мистеру Поулю, не говоря уже о мистере Даусоне и докторе, какие сокровища лежат в этой шкатулке; бейте меня до багрово-синих подтеков, если я перестану любить, почитать и слушаться моего господина, если я не последую на все четыре стороны света и в воды, которые под землей, за вышеназванным (я вижу, что я забыл назвать его) виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом, известным под названием виконта мистера Роулея. Да будет так. Аминь». Роулей повторил клятву с такою же крайней серьезностью, с какой я проговорил ее ему. – Теперь возьмите ключ, – сказал я. – Я же буду держать крышку обеими руками.

Роулей повернул ключ.

– Зажгите все свечи, какие тут только есть, и поставьте их в ряд. Что-то там? Горгона? Чертик или пружина, которая заставит выстрелить пистолет? Ну, сэр, на колени перед чудом.

С этими словами я положил шкатулку боком на стол. При виде огромного количества банковских билетов и золота, очутившихся перед нами между свечей и частью упавших на пол, я остолбенел.

– Господи! – крикнул Роулей. – О, Господи, Господи, Господи!

Он пополз, чтобы поднять упавшие гиней.

– О, мистер Анн, сколько денег! Точно в чудной волшебной сказке! Точно рассказ о сорока ворах!

– Успокоимся, Роулей, будем деловыми людьми, – проговорил я. – Богатство обманчиво, особенно когда деньги не сочтены, и первое, что нам предстоит сделать, это узнать цифру моего, скажем, скромного состояния. Если я не ошибаюсь, тут у меня столько денег, что я буду в состоянии всю нашу жизнь наряжать вас в золотые запонки. Собирайте золото, я возьму бумаги.

Мы сели на ковер перед камином, и некоторое время в комнате слышался только шелест бумаги, звон гиней, да изредка раздавались радостные восклицания Роулея.

Арифметическая операция, которой занимались мы, продолжалась много времени; может быть, она наскучила бы кому-либо другому, но меня и моего помощника это дело крайне интересовало.

– Десять тысяч фунтов! – наконец возвестил я.

– Десять тысяч, – повторил Роулей. И мы посмотрели друг на друга.

От громадности моего состояния у меня дух замер. Имея в руках такие деньги, мне нечего будет бояться врагов. В девяти случаях из десяти людей арестовывают не потому, что полиция отличалась хитростью, а потому, что у них оказывается недостаток в деньгах; тут же, в шкатулке, у меня была целая серия способов скрываться и переодеваться, словом, полное обеспечение моей свободы в будущем. И не только одно это давала мне шкатулка. Сделавшись обладателем десяти тысяч фунтов, я превратился в хорошего жениха. Все, что я сделал, когда был рядовым, заключенным в военную тюрьму, или беглым, можно было назвать поступками, совершенными под влиянием отчаяния; пожалуй, можно было и извинить эти поступки, как вызванные полной безнадежностью. Теперь же я имел право явиться с парадного подъезда, подойти к дракону с адвокатом и предложить ее племяннице руку и огромные средства. Бедному французскому пленнику Шамдиверу должен был вечно грозить арест, но богатый путешественник Сент-Ив, сидя в почтовой коляске и держа подле себя шкатулку, мог улыбаться судьбе и смеяться над слесарями. Я с восторгом повторял поговорку: любовь смеется над слесарями. В одно мгновение, благодаря этим деньгам, моя любовь сделалась возможной, стала близкой, очутилась на расстоянии вытянутой руки. Может быть, следует объяснить странностями человеческой природы то, что в эту минуту страсть загорелась во мне ярче прежнего.

– Роулей, – сказал я, – ваш виконт сделался человеком.

– Мы оба, – проговорил он.

– Да, оба, – подтвердил я, – и вы попляшете у меня на свадьбе!

Я бросил ему на голову пачку банковских билетов и только собрался осыпать его горстью гиней, как вдруг дверь отворилась и на пороге показался мистер Ромэн.

Глава XVIII

Мистер Ромэн бранит меня

Чувствуя себя в глупом положении от того, что Ромэн застал меня врасплох, я вскочил с ковра и попытался как следует принять моего гостя. Он пожал мне руку, но так неприветливо и холодно, что я был поражен. Во взгляде, который адвокат устремил на меня, читалось выражение печали и суровости.

– Итак, сэр, вы здесь, – произнес Ромэн далеко не ободряющим тоном. – А это вы, Джордж? Вы можете уйти; у меня есть дело к вашему господину.

Он указал Роулею на дверь, запер ее за ним, сел в кресло подле камина и взглянул на меня с нескрываемой суровостью.

– Не знаю, что и говорить, – произнес адвокат. – Вы создали целый лабиринт из ошибок и затруднений, и я положительно не знаю, с чего начать. Пожалуй, лучше всего дать вам прочесть вот эту статью.

Он передал мне газету. Заметка, о которой упомянул Ромэн, была очень коротка. В ней говорилось о том, что один бежавший из Эдинбургского замка пленник снова пойман, что его зовут Клозель; в конце прибавлялось, что он сообщил подробности возмутительного убийства, совершенного в замке, и назвал убийцу.

«Преступник – рядовой, по имени Шамдивер; он бежал и, вероятно, его постигла та же участь, которой подверглись и его товарищи. Несмотря на тщательные поиски, до сих пор не удалось узнать ничего о том, куда направилось судно, захваченное этими отчаянными людьми в Грэнгмоуте, и теперь почти с полной уверенностью можно сказать, что они погребены в пучине вод».

Читая статью, я почувствовал, как мое сердце заныло. Созданный мной воздушный замок рушился; сам я из простого беглеца превратился в преследуемого убийцу, которого ждала виселица. Любовь моя, которая за минуту перед тем казалась такой близкой ко мне, улетела в страну невозможного. Однако отчаяние, охватившее меня в первое мгновение, не долго владело мной. Я понял, что моим товарищам удалась-таки их странная попытка, что все предполагали, будто и я был с ними и погиб во время путешествия, составлявшего самый вероятный исход их предприятия. Если же люди полагали, что я лежу на дне Северного моря, мне нечего было особенно бояться их бдительности на улицах Эдинбурга. Кроме того, бежал Шамдивер; кто мог соединить его личность с личностью Сент-Ива? Конечно, майор Чевеникс, встретившись со мною, узнал бы меня; нечего было и толковать об этом: он так интересовался мной, что я не мог надеяться обмануть его каким бы то ни было искусным переодеванием. Пусть так! В крайнем случае перед ним будут два свидетеля; он знает Клозеля, знает меня. Я был уверен, что майор решит в пользу честного человека. В ту же минуту в моем воображении восстал образ Флоры; его блеск и сияние заставили побледнеть все другие соображения. Кровь моя заволновалась, и я поклялся в душе увидеть и победить ее, хотя бы это стоило мне головы.

– Конечно, неприятная статья, – проговорил я, отдавая Ромэну газету.

– Вы говорите, неприятная? – спросил он.

– Ну, досадная, ужасная, если вам угодно, – согласился я.

– И это правда?

– В известном смысле, пожалуй, правда, – проговорил я, – но, быть может, лучше рассказать вам все как было?

– Полагаю, – произнес адвокат.

Я, насколько это было необходимо, передал ему о нашей ссоре с Гогелой, о дуэли, о смерти моего противника, описал личность Клозеля.

Ромэн слушал, храня неприятное для меня молчание, и ничем не выдавая своих чувств; только в то время, когда я рассказывал ему эпизод с ножницами, его красное лицо стало заметно бледнее.

– Надеюсь, я могу верить вам? – спросил Ромэн, когда я замолчал.

– В ином случае прекратим наше свидание, – заметил я.

– Неужели вы не понимаете, что мы говорим об очень важных вещах? Неужели вы не понимаете, что я чувствую на себе бремя ответственности за вас, что вам следовало бы бросить вашу запальчивую обидчивость теперь, когда вы говорите с вашим собственным поверенным? В жизни бывают серьезные минуты, мистер Анн, – сурово говорил Ромэн. – Страшное обвинение, имеющее некрасивую окраску и очень невыгодные подробности, присутствие этого Клозеля, который (по вашим же словам) под влиянием сильной злобы готов будет поклясться, называя белое черным, исчезновение всех других свидетелей, рассеявшихся и, быть может, утонувших в море, естественное предубеждение англичан против французского бежавшего пленника, – все вместе заставляет вашего поверенного глубоко задуматься, и тяжесть моих размышлений ничуть не делается легче, благодаря вашему безумию и легкомысленности.

– Прошу у вас извинения, – сказал я.

– О, я тщательно выбирал выражения, говоря с вами, – возразил он. – Как застал я вас, войдя к вам с тем, чтобы рассказать о случившемся? Вы сидели на каминном коврикe, и, как неразумное дитя, играли с вашим слугой, а весь пол был усеян золотыми монетами и банковскими билетами! Хорошо занятие для человека в вашем положении! На счастье, в комнату вошел я, но ведь мог войти и кто-нибудь иной, например, ваш двоюродный брат.

– Вы застали меня врасплох, сэр, это правда, – согласился я. – Я не подумал о предосторожностях, и вы имеете полное право сердиться. А *propos*¹⁸, мистер Ромэн, как сами вы добрались сюда и давно ли уже здесь? – прибавил я, удивившись задним числом при мысли о том, что я не слышал, как он подъехал.

– В парной коляске, – ответил адвокат. – Все могли слышать стук колес моего экипажа. Но полагаю, вы не прислушивались? Вы слишком хорошо чувствовали себя в доме вашего врага и под тяжестью обвинения в уголовном преступлении! А между тем я довольно долгое время хлопотал о вас. Да, прости меня, Боже, я думал о вас, даже не успев еще получить объяснений по поводу этой газетной заметки. Некоторое время тому назад было приготовлено завещание; теперь оно подписано, и ваш дядя не слышал ничего о ваших последних подвигах. Почему? Ну, мне просто не хотелось раздражать умирающего; кроме того, вы могли оказаться невиновным, и в конце концов я предпочел убийцу шпиону.

Без сомнения, этот человек поступал относительно меня самым дружеским образом; однако употреблял он невыносимо неприятные выражения!

– Может быть, – заметил я, – вы найдете, что я чересчур шепетил, но вы употребили слово...

– Я стараюсь говорить по возможности кратко, сэр, – крикнул он и ударил рукой по газете, – здесь шестью буквами написано это слово! Пожалуйста, не будьте так самоуверенны, вы еще ничего не доказали! Безобразное, противное дело. Все это крайне неприятно. Я бы отдал свою руку... Я хочу сказать, что мне не было бы жаль ста фунтов, чтобы только бросить его. Однако теперь нам необходимо действовать. Вам нет выбора. Прежде всего вы должны покинуть Англию, отправиться во Францию, в Голландию или же на Мадагаскар.

– Ну, это еще посмотрим, – возразил я.

– Нечего смотреть, – проговорил Ромэн. – Все возражения неуместны. Дело ясно как день. Вы сумели поставить себя в такое непривлекательное положение, что вам можно наде-

¹⁸ Кстати.

яться только на одно: на отсрочку. Со временем, если обстоятельства переменятся, мы создадим вам нечто лучшее. Но теперь это немислимо, теперь вас здесь ждет только виселица.

– Вы рассуждаете под влиянием фальшивого впечатления, мистер Ромэн, – сказал я. – Я сам не стремлюсь очутиться на скамье подсудимых и не менее вас желал бы отложить мое появление на ней. С другой стороны, мне совершенно не хочется уезжать из Англии, в которой я чувствую себя прекрасно. У меня хорошие манеры, язык мой всегда наготове, мое английское произношение правильно, и, благодаря дядиной щедрости, денег у меня достаточно. Будет унижительно, если при таких счастливых условиях мистер Сент-Ив не получит возможности спокойно жить в каком-нибудь укромном уголке, не обращая внимания на то, как власти станут забавляться розысками Шамдивера. Вы забываете, что эти два человека ничем не связаны.

– А вы забываете, – сказал Ромэн, – о вашем двоюродном брате! Виконт составляет связующее звено между Сент-Ивом и Шамдивером. Алэн знает, что вы Шамдивер.

Ромэн поднял руку, точно желая прислушаться.

– Держу пари, что это он! – вскрикнул адвокат.

Из аллеи до нас донесся стук колес, похожий на звук, который раздается в то время, когда портной, перебросив через конторку кусок материи, рвет его. Очевидно, лошади бежали очень резво; экипаж быстро приближался. Мы с Романом смотрели между занавесями, как по легкому покатуному подъему двигались фонари экипажа.

– Эх, – сказал адвокат, отодвигая полотнище занавески, чтобы лучше видеть. – Это он; по езде заметно. Этот человек сорит деньгами. Идиот, он готов осыпать золотом каждого встречного, ради удовольствия очутиться... Где? Где же, как не в долговом carcere, если не в уголовной тюрьме.

– Он такого рода человек? – спросил я, впившись глазами в экипажные фонари, будто в них можно было прочесть тайну характера моего двоюродного брата.

– Вы увидите, что он человек опасный, – проговорил Ромэн. – Для вас эти фонари – маяки на подветренном берегу! Глядя на виконта, я всегда задумываюсь: каким грозным, сильным существом был он когда-то, каким представительным. И как близко мгновение, которое совершенно сломит его. Никто здесь не любит вашего двоюродного брата; мы все скорее ненавидим его; между тем при виде этого человека я испытываю странное чувство – не жалость (в мои лета ее не ощущают), скорее отвращение, что приходится разбить нечто крупное, большое, значительное; точно то же испытывал бы я, если бы дело шло о прекрасной фарфоровой вазе или громадной дорогой картине. Ну, вот и то, чего я ждал, – заметил Ромэн, когда показались фонари второй кареты. – Нельзя сомневаться – это он! Первый экипаж служил вестником, второй – следствием! Две кареты! Во второй – багаж, множество дорогих, роскошных вещей и один из его слуг. Он не может шагу ступить без лакея.

– Вы несколько раз, говоря о виконте, повторили слово «большой»! – сказал я. – Но он ведь не может быть необыкновенного роста?

– Нет, – ответил адвокат, – приблизительно вашего роста, как я сказал, давая указания портным и, по-видимому, не ошибся. Но в нем есть что-то повелительное, значительное; у него размашистые манеры; своими колясками, каретами, скаковыми лошадьми, игрой в кости... и уж не знаю еще чем он постоянно привлекал к себе всеобщее внимание и волей-неволей до известной степени внушает к себе уважение. На мысль приходит, что, когда фарс окончится, когда Алэна запрут во Флитскую тюрьму, и все дело останется только в руках Бонапарта, лорда Веллингтона и атамана Платова – мир погрузится в сравнительное спокойствие. Но это не относится к делу, – прибавил Ромэн и с усилием отошел от окна. – Теперь, мистер Анн, мы под огнем, как сказали бы ваши солдаты, и нам давно пора приготовиться действовать. Он не должен вас видеть, это было бы губительно. Теперь виконт знает только, что вы на него похожи, и этого с него более чем достаточно. Хорошо было бы устроить так, чтобы он не подозревал, что вы находились здесь.

– Это невозможно, уверяю вас, – ответил я, – некоторые слуги положительно за него, может быть, даже у него на жалованье, например, Даусон.

– Я тоже так думал! – воскликнул Ромэн.

Когда к подъезду с грохотом подкатила первая карета, адвокат прибавил:

– Во всяком случае, теперь поздно – вот он.

Мы со странной тревогой прислушивались к различным звукам, пронесившимся теперь в недавно еще молчаливом доме, к стуку отпирившихся и запиравшихся дверей, к шагам, проходившим мимо моей комнаты и замиравшим в отдалении. Очевидно, приезд виконта составлял нечто важное, почти торжественное для всей прислуги. Вдруг среди смутного и неясного гула раздался звук быстрых, легких шагов. Мы слышали, что кто-то поднимается по лестнице, идет по коридору, останавливается у моей двери... Вот украдкой и поспешно постучались ко мне.

– Мистер Анн, сэр, впустите меня, – сказал голос Роулея.

Мы с адвокатом позволили мальчику войти и снова заперли за ним дверь на замок.

– Это он, – задыхаясь, пролепетал Роулей, – он приехал.

– Вы говорите о виконте? – сказал я. – Мы так и предполагали. Но договаривайте же, Роулей. Вы хотите сообщить еще что-то, это видно по вашему лицу.

– Мистер Анн, вы правы, – проговорил мальчик. – Мистер Ромэн, сэр, вы друг мистера Анна?

– Да, Джордж, – ответил адвокат и, к моему великому удивлению, положил руку мне на плечо.

– Так вот что, – говорил Роулей, – у меня был мистер Поуль, чтобы сыграть роль шпиона! Я с самого начала так и думал! С самого начала я видел, что он ходит вокруг да около, делая разные намеки. Но сегодня он высказался. Я, дескать, должен говорить ему все, что вы будете делать, и он дал мне вот это, – Роулей показал нам монету в полгинеи, – и я взял деньги... Бейте меня до синяков, – произнес юноша, повторяя слова шуточной клятвы и искоса поглядывая при этом на меня.

Я видел, что он потерялся и сознавал это. Почти в течение одного мгновения выражение глаз Роулея изменилось: многозначительный взгляд превратился в умоляющий, лицо, бывшее лицом сообщника, сменилось физиономией виновного; с этой минуты он сделался образцом хорошо вышколенного лакея.

– Бейте до синяков? – повторил адвокат. – Что с этим безумцем, бредит он?

– Нет, – ответил я, – он просто напоминает мне кое о чем.

– Ну, хорошо, и я полагаю, что он окажется верным малым, – сказал Ромэн. – Итак, вы тоже друг мистера Анна? – прибавил он, обращаясь к Роулею.

– Точно так, – ответил мой слуга.

– Это что-то чересчур внезапное, – сказал адвокат, – но, пожалуй, чувство ваше – искреннее расположение. Я, мистер Анн, верю, что малый честен; он из честной семьи! Ну, Джордж Роулей, вы можете за эту монету при первом же удобном случае сказать мистеру Поулю, что ваш господин не уедет раньше полудня завтрашнего дня, а может быть, пробудет в Амершеме и дольше. Скажите ему, что у нас здесь пропасть хлопот, что еще большое количество дел должны мы покончить в моей конторе в Гольборне. Передайте ему все это, – продолжал Ромэн, открывая дверь. – Займитесь-ка мистером Поулем и послушайте, что он скажет. Состряпав же это дело, возвращайтесь сюда, да поскорее.

Как только Роулей ушел, Ромэн взял щепотку табака, взглянул на меня немного поприветливее и сказал:

– Счастливы вы, сэр, что ваше лицо служит для вас таким хорошим рекомендательным письмом. Подумайте: я, жесткий, черствый, старый практик, берусь за ваше неприятное, отчаянное дело; этот мальчик, сын фермера, оказывается настолько умным, что принимает подкуп

и, как честный малый, приходит объявить вам о том, как он поступил... и все это благодаря вашей наружности. Воображаю, какое впечатление произвела бы она на судей!

– И как при взгляде на меня опечалился бы палач, сэръ? – спросил я.

– Absit omen! – благочестиво произнес Ромэн.

В эту секунду я услышал звук, от которого мое сердце сжалось: кто-то тихонько попробовал повернуть дверную ручку; раньше я не уловил шума шагов. С тех пор, как Роулей ушел, в нашем крыле дома стояла тишина; я и адвокат имели полное право предполагать, что мы совершенно одни; было очевидно что новопришедший, кто бы он ни был, явился к моей комнате с каким-то тайным, может быть, даже враждебным намерением.

– Кто там? – спросил Ромэн.

– Только я, сэръ, – ответил слащавый голос Даусона, – я от виконта: он очень желает поговорить с вами по делу.

– Скажите ему, Даусон, что я скоро приду, – проговорил адвокат, – сейчас я занят.

– Благодарю вас, сэръ, – сказал Даусон, и мы услышали, как его шаги удалялись по коридору.

– Да, – произнес Ромэн очень тихим голосом и с видом внимательно прислушивающегося человека, – с ним есть еще кто-то, я не могу ошибиться.

– Мне кажется, вы правы, – подтвердил я, – и вот что беспокоит меня: я не уверен, что второй из бывших здесь ушел. Когда шаги приблизились к верхней площадке лестницы, стало ясно, что идет всего один человек.

– Блокада? – спросил адвокат.

– Осада en régie, – заметил я.

– Отойдем подальше от двери, – сказал Ромэн, – и снова рассмотрим ваше проклятое положение. Без сомнения, Ален был подле комнаты. Он надеялся войти и посмотреть на вас как бы случайно. Это ему не удалось, и он сам стал настороже или в виде часового поставил Даусона. Как вам кажется, которое из двух предположений вернее?

– Конечно, он сам поджидает меня, – сказал я. – Но зачем? Он же не может думать остаться здесь на всю ночь.

– Если бы было возможно не обращать на это внимания! Но вот в чем состоит проклятие вашего положения – нам ни в чем невозможно действовать открыто. Я должен увезти вас из дома тайно, точно запрещенный товар, а как сделать это, когда подле вашей двери стоит часовой?

– Волнением делу не поможешь, – заметил я.

– Не поможешь, – согласился адвокат. – А если подумать, так довольно странно, что я говорил о вашей наружности как раз в то время, когда виконт Ален явился сюда, чтобы посмотреть на ваше лицо. Если вы помните, я говорил, что ваши черты могут значить больше всякого рекомендательного письма. Произвели бы они на мистера Алена то же действие, как и на всех остальных? Что подумал бы он, взглянув на вас?

Мистер Ромэн сидел на стуле подле окна, обернувшись спиной к окнам; я уже стоял на коленях на ковре перед камином, машинально начав собирать разбросанные деньги; вдруг чей-то медоточивый голос произнес:

– Он испытывает удовольствие, мистер Ромэн, и просит присоединить его к числу тех поклонников мистера Анна, о которых вы говорили.

Глава XIX

Дьявол в Амершеме

Никогда люди не вскакивали со своих мест поспешнее, нежели мы с адвокатом в эту минуту. Мы закрыли на засов главные ворота цитадели, но, к несчастью, забыли о калитке для вылазок, то есть о двери в ванную комнату; оттуда-то и зазвучали вражеские трубы, и вся наша оборона оказалась опрокинутой. Однако я успел прошептать на ухо Ромэну:

– Вот вам картина!

Адвокат же только взглянул на меня почти умоляющим взглядом, как бы говоря: лежа-чего не бьют. Я тотчас перевел глаза на врага.

Он вошел в очень высокой, отлично вычищенной шляпе с узкими, загнутыми кверху полями. Его завитые волосы лежали большими прядями, точно у итальянского шарлатана, – непростительная прическа! Одет он был в толстое байковое пальто с пелеринками, какие носят сторожа, но подбитое дорогим мехом. Виконт не застегивал его, чтобы показать свое тонкое белье, множество драгоценных брелков на часовой цепочке, булавки и запонки. Я заметил, что у него ноги и щиколотки безупречной формы. Не стану отрицать, что между нами существовало сходство; столько не имеющих между собою ничего общего людей говорило об этом, что я не могу заподозрить их в соглашении. Однако лично я нашел, что мы очень мало походим друг на друга. Конечно, многие назвали бы Алена красивым человеком: все в нем – манера держаться, профиль, самоуверенные движения – носило характер бьющей в глаза картинности; я мог представить себе его, наряженного в фантастический костюм, на скачках, мог вообразить себе, как он, гуляя по Пиккадилли, нахально смотрит на женщин, как на него самого с восторгом оборачиваются угольщицы. В эту минуту лицо Алена ясно показывало, в каком он душевном состоянии. Виконт был смертельно бледен; его рот раздвигала усмешка, которую можно было бы назвать гримасой злобной и сухой. Злоба его испугала меня, но в то же время придала бодрости и желания сопротивляться. Алена окинул взглядом мою фигуру с ног до головы, затем поклонился мне и снял шляпу.

– Полагаю, вы мой двоюродный брат? – спросил он.

– Имею эту честь, – ответил я.

– Мне честь, – проговорил он, и его голос дрогнул.

– Кажется, я должен сказать вам: добро пожаловать? – продолжал я.

– Почему? – спросил Алена. – Не стану вам и говорить, сколько времени прожил я в этом бедном доме. Поэтому вам совершенно незачем принимать на себя обязанности хозяина и все труды, которые они влекут за собой. Поверьте, роль хозяина скорее прилична мне, а потому я должен сказать вам несколько приветственных слов: с приятным удивлением я вижу вас в платье джентльмена и замечая (он взглянул на разбросанные банковские билеты), что вам уже предоставлены необходимые средства, притом с такой щедростью.

Я поклонился с улыбкой, вероятно, не менее отвратительной, чем улыбка виконта.

– Средства необходимы многим, – сказал я. – Милосердию предоставляется большой выбор. Один выбивается из нужды, другой, такой же бедный, и, быть может, увязший в долгах, остается не при чем.

– Злобность очень непривлекательная черта характера, – заметил виконт.

– А зависть? – сказал я в ответ.

Вероятно, Алена почувствовал, что в этом словесном поединке перевес не на его стороне; может также статься, что он потерял самообладание; в течение всего разговора со мной он сдерживал себя, точно зверя, укрощаемого раскаленным железом. Во всяком случае, он вдруг перестал обращаться ко мне и дерзко сказал адвокату:

– Мистер Ромэн, с каких пор стали вы распоряжаться в этом доме?

– Я, кажется, не отдавал тут никаких приказаний, – возразил Ромэн, – во всяком случае, не вмешивался ни во что выходящее из круга моей деятельности.

– Так кто же велел не впускать меня в дядину комнату? – спросил мой двоюродный брат.

– Доктор, сэр, – ответил Ромэн, – а я полагаю, что даже «вы» признаете право медика делать подобные распоряжения.

– Берегитесь, сэр, – вскрикнул Ален, – не кичитесь вашим положением; оно далеко не так уж прочно, господин поверенный! Я несколько не удивлюсь, если вы потеряете его, и я увижу вас в каком-нибудь грязном кабаке. Верьте мне, я брошу вам тогда милостыню, чтобы вы могли зачинить ваши рваные рукава! Доктор велел! Но, мне кажется, я не ошибаюсь, и вы сегодня вечером говорили с графом о делах, а затем этот неимущий джентльмен имел счастье повидаться с моим дядей, и во время этого свидания (как я с удовольствием вижу) достоинства моего милейшего кузена не помешали ему недурно устроить свои дела. Удивляюсь, что вы так виляете в разговоре со мной.

– Хорошо, если вы называете мои слова *виляньем*, – сказал Ромэн, – то я вам сознаюсь, что сам граф не велел пускать вас к себе; он не желает видеть вас.

– И я должен поверить этому, услышав волю дяди из уст мистера Даниэля Ромэна? – спросил Ален.

– Да, за неимением лучшего, – ответил адвокат.

На одно мгновение судорога исказила лицо моего двоюродного брата, и я ясно слышал, как он заскрипел зубами; однако, к моему большому удивлению, Ален заговорил почти веселым тоном:

– Ну, мистер Ромэн, не будем считать... – Он пододвинул себе стул, сел и продолжал: – Вы одержали надо мной некоторую победу: вы ввели к дяде вашего наполеоновского солдата и (не постигаю, как могло это случиться) его, по-видимому, приняли очень милостиво. Мне не нужно никаких доказательств; я и без них вижу, что мистер Анн буквально окружен деньгами; вероятно, мой кузен разбросал золото и бумаги от чрезмерной радости при первом взгляде на такие громадные суммы денег. Перевес на вашей стороне, но вы еще не выиграли партии. Поднимутся вопросы о зловредном влиянии, о принуждении, о секвестре. Мои свидетели готовы. Я цинично говорю вам об этом, так как вы не в состоянии воспользоваться моими словами и, если мне суждено худшее, я могу надеяться, что мне удастся погубить вас и вернуть то, что я потерял.

– Вы можете делать все, что желаете, – сказал Ромэн, – но я дам вам хороший совет: не предпринимайте ничего; вы только очутитесь в смешном положении, истратите деньги, которых и так у вас немного, и подвергнетесь публичному позору.

– Ну, мистер Ромэн, вы впадаете во всеобщую ошибку, – возразил Ален, – вы презираете вашего противника. Прошу вас вспомнить, сколько неприятностей могу я наделать вам. Вспомните о положении вашего protégé – бежавшего пленника. Хорошо еще, что я веду большую игру и пренебрегаю этими мелочами!

Мы с Романом переглянулись с торжеством. По-видимому, было ясно как день, что Ален не слышал ни слова об аресте Клозеля и его доносе. Успокоившийся адвокат сейчас же изменил свою тактику. Небрежно взял он и спрятал газету, до сих пор лежавшую на столе перед ним.

– Мне кажется, *monsieur* Ален, вы действуете под впечатлением иллюзии, – сказал Ромэн. – Поверьте мне, все это к делу не относится. Вы, очевидно указываете на возможность какой-то сделки? Но я не имею в виду ничего подобного. Вы подозреваете, что я хочу издеваться над вами, желаю скрыть от вас истинное положение вещей? Но мне надо спешить, и я должен как можно лучше объяснить вам все, что главным образом касается вас. Ваш внучатый дядя сегодня вечером уничтожил свое первое завещание и сделал новое в пользу вашего дво-

юродного брата Анна. Если угодно, вы услышите это из его собственных уст! Я устрою все, – прибавил адвокат, вставая. – Пожалуйста, господа!

Ромэн и Ален так быстро вышли из комнаты, что мне пришлось очень торопливо положить остаток денег в шкатулку, запереть ее, а затем бегом догонять их. Я и то едва-едва успел настигнуть адвоката и Алена раньше, чем они пропали в лабиринте коридоров дядиного дома. Сердце мое сжимала мука при мысли о том, что я оставил мое сокровище только под защитой непрочной крышки шкатулки и замка, который нетрудно было бы сломать или открыть отмычкой, меня каждый раз бросало в пот. Адвокат довел нас до гостиной, попросил присесть, сказав, что ему нужно переговорить с доктором. Он ушел, и мы с Аленом остались наедине.

Говоря правду, мой двоюродный брат не сделал ничего, чтобы расположить меня к себе; в каждом слове, которое он произнес, звучала вражда, зависть и то презрение, которое легко переносить, не чувствуя ни малейшего унижения, так как оно порождается гневом. Я тоже говорил не особенно примирительным тоном; между тем теперь во мне поднималось сожаление к этому человеку, бывшему подкупленным шпионом. Мне казалось, что будет больше, чем нехорошо, если Алена, ожидавшего большого наследства (на которое ему было дано право надеяться), выгонят из дому в одиннадцатом часу ночи, предоставят его своей собственной судьбе, отдадут на добычу бедности... долгам. И об этих самых долгах я недавно так не попрыщарски напомнил ему! Оставшись с глазу на глаз с виконтом, я почти сейчас же выкинул парламентерский флаг, сказав:

– Кузен, поверьте, что я не желаю быть вашим врагом.

Ален, не последовавший приглашению Романа сесть и ходивший взад и вперед по комнате, остановился передо мной, когда я заговорил с ним. Он взял из табакерки щепотку табака и при этом взглянул мне в лицо с выражением сильнейшего любопытства.

– Дело дошло уже до этого? – сказал виконт. – Неужели судьба была так милостива ко мне, что внушила вам сожаление к моей особе? Бесконечно благодарен, кузен Анн! Однако подобные чувства не всегда обоюдны, и я предупреждаю вас, что в тот день, когда я поставлю ногу вам на шею, ваш хребет сломается. Вам известны свойства спинного хребта? – прибавил он невыразимо дерзким тоном.

Это было слишком. Я смерил виконта глазами и проговорил:

– Мне также известны свойства пары пистолетов.

Ален поднял вверх палец.

– Нет, нет, нет, – сказал он. – Я отплачу вам, как и когда мне вздумается. Мы принадлежим к одному и тому же роду, поэтому, может быть, сумеем понять друг друга. Я не арестовал вас, когда вы направлялись сюда, я не спрятал пикета солдат в первой чаше деревьев, чтобы он дожидался вас и помешал вам явиться в этот дом, я не сделал ничего подобного, хотя и знал решительно все, хотя этот ябедник Ромэн на моих глазах самым открытым образом составлял заговоры, чтобы заменить меня; меня удерживала самая простая причина: я еще не решил, каким образом лучше отомстить вам.

В это мгновение звон колокольчика прервал его речь. Мы с удивлением прислушались. Вслед за звоном раздался шум множества шагов поднимавшихся по лестнице людей и проходивших мимо двери комнаты, в которой мы были. Мне кажется, нам обоим одинаково хотелось посмотреть, что там такое, но оба мы удерживали любопытство, стесняясь присутствием друг друга, и молчаливо ждали, не двигаясь с места; наконец вошел Ромэн и пригласил нас пройти к дяде. Адвокат повел меня и Алена по кривому коридору, и вскоре мы очутились в спальне графа, позади его кровати. Кажется, я не сказал раньше, что комната эта была очень велика. Теперь мы увидели, что ее наполняли все служащие в доме, начиная с доктора и священника до Даусона и домоправительницы, до Роулея, до последнего слуги в белых чулках, до последней толстушки горничной в чистом платице и белом чепчике, до последнего дворника в переднике. Вся эта толпа (я удивился, как велика была она), по-видимому, чувствовала

смущение и страшное волнение; казалось, будто большая часть присутствовавших в спальне графа стояла на одной ноге, как гаеры, и смотрела вокруг во все глаза; бывшие ближе к углам подталкивали друг друга локтями и усмехались. Дядя лежал на подушках гораздо выше, чем в первый раз, когда я его видел; на его лице виднелась печать серьезности и торжественности, которая должна была возбуждать чувство почтения к нему. Когда мы вошли в комнату, он немедленно заговорил, настолько усилив голос, что его стало вполне слышно. Старик обратился к собравшимся со словами:

– Я беру всех вас в свидетели, – слышите ли вы меня? – я беру всех вас в свидетели того, что признаю своим наследником и представителем моего рода вот этого молодого человека, которого большинство из вас видит впервые. Он – виконт Анн де Сент-Ив, мой внучатый племянник по младшей линии. Я беру вас всех в свидетели того, что я лишая наследства вот этого хорошо известного вам джентльмена, виконта Алена де Сент-Ива, что я отказываюсь от него, поступая таким образом благодаря уважительным причинам. Мне следует еще объяснить, почему я побеспокоил вас всех в такое необычное время и, можно сказать, подверг вас неприятности, так как вы еще не успели окончить вашего ужина, когда я вас созвал. Виконт Алэн стал угрожать, что будет оспаривать мое завещание, и утверждал, будто в вашей уважаемой среде найдутся лица, которые под присягой скажут все, что ему будет угодно внушить им. Поэтому я желаю лишить его этой возможности и закрыть уста его фальшивых свидетелей. Я от души благодарю вас за вашу любезность и имею честь пожелать вам доброго вечера.

Слуги, все еще пораженные услышанным, толпой вышли из комнаты больного; одни из них кланялись, другие ерошили свои волосы, третьи шаркали ногами, словом, каждый действовал согласно степени важности своего положения. В это время я украдкой взглянул на моего двоюродного брата. Он перенес уничтожающее публичное оскорбление, не изменив ни позы, ни выражения лица, и я не мог не почувствовать восхищения при взгляде на него. Еще большего уважения был достоин он, когда все до единого слуги вышли, и в комнате графа остались только мы с ним и адвокат; Алэн сделал шаг к кровати дяди, поклонился и обратился к человеку, осудившему его на разорение, с такими словами:

– Граф, вам было угодно обойтись со мною так, как вы обошлись, и моя благодарность к вам, а также ваше болезненное состояние не позволяют мне судить ваш поступок. Мне только необходимо напомнить вам, насколько продолжительно было то время, в течение которого меня приучали считать себя вашим наследником. Находясь в этом положении, я считал, что не делаю ничего бесчестного, позволяя себе жить довольно широко. Если вы теперь оставите меня с одним шиллингом в награду за мою двадцатилетнюю службу, я окажусь не только нищим, но и несостоятельным должником.

Не знаю, под влиянием ли усталости или благодаря хитрым внушениям ненависти, но дядя снова закрыл глаза и даже не поднял век.

– Без единого шиллинга, – только проговорил он в ответ и улыбнулся слабой улыбкой, которая сейчас же исчезла с его лица, снова ставшего непроницаемой маской, хранившей следы лет, хитрости и усталости. Ошибиться было невозможно: дядя наслаждался положением вещей так, как он редко наслаждался чем-нибудь за последнюю четверть столетия. В его слабом теле еле теплился жизненный огонек, но ненависть, точно нечто бессмертное, оставалась в нем твердой и непреклонной.

Тем не менее мой двоюродный брат продолжал:

– Я говорю при невыгодных условиях: мой заместитель остается в комнате, выказывая этим более благоразумия, нежели деликатности.

Говоря это, Алэн бросил на меня взгляд, который иссушил бы крепкий дуб.

Я очень хотел уйти, и Ромэн тоже выказал полную готовность способствовать моему уходу. Но дядя оставался непреклонным. Тем же тихим тоном и не открывая глаз, он попросил меня не двигаться с места.

– Хорошо, – сказал Ален, – значит, мне будет невозможно напомнить вам о тех двадцати годах, которые прошли над нашими головами в Англии, и о тех услугах, которые я оказал вам. Это было бы нестерпимо. Ваше сиятельство знает меня слишком хорошо, чтобы предположить, что я унижусь до такой степени. Я перестану защищаться – это угодно вашему сиятельству. Я не знаю, какие проступки совершал я, мне известно только мое наказание, и оно так велико, что я теряю мужество при мысли о нем. Дядя, умоляю вас, сжальтесь, простите меня, не осуждайте меня на пожизненное заключение в долговой тюрьме, не превращайте в нищего должника.

– *Chat et vieux, pardonnez*¹⁹, – произнес граф цитату из Лафонтена; затем, взглянув на Алена своими бледно-голубыми широко раскрытыми глазами, он сказал с некоторым пафосом: – *La jeunesse se flatte et croit tout obtenir; la vieillesse est impitoyable*²⁰.

Лицо Алена побагровело. Он обернулся ко мне и к Ромэну, и его глаза запыхтели.

– Теперь ваша очередь, – сказал он, – по крайней мере, в тюрьме будут два виконта!

– Нет, мистер Ален, с вашего позволения, – произнес Ромэн, – придется принять во внимание несколько формальностей.

Но Ален уже бросился к двери.

– Погодите одно мгновение, – крикнул Ромэн. – Вспомните ваш собственный совет не презирать противника.

Ален обернулся.

– Если я не презираю, то ненавижу вас, – крикнул он, отдаваясь чувству злобы. – Знайте это вы оба.

– Вы, кажется, грозите виконту Анну? – сказал адвокат. – Знаете, я не делал бы этого на вашем месте. Боюсь, очень боюсь, что, если вы станете поступать так, как задумали, мне придется принять относительно вас крайние меры.

– Вы превратили меня в нищего и банкрота, – сказал Ален, – что же еще можете сделать вы?

– Мне не хочется говорить о некоторых вещах в этой комнате, – возразил Ромэн, – но есть нечто худшее, чем банкротство; существуют места более ужасные, чем долговая тюрьма.

– Я не понимаю вас, – проговорил Ален.

– Вы понимаете, – продолжал адвокат, – мне кажется, вы отлично понимаете меня. Не предполагайте, что, пока вы деятельно хлопотали, все остальные совершенно бездействовали. Не воображайте, что я, благодаря моей принадлежности к английской нации, совершенно неспособен произвести следствие. Как ни велико мое уважение к вашему роду, виконт Ален де Сент-Ив, но если я услышу, что прямым или косвенным путем вы действуете в указанном вами смысле, я исполню свой долг, чего бы это ни стоило, и сообщу куда следует настоящее имя шпиона, бонапартистского шпиона, который подписывается: *Rue Grégoire de Tours*.

Сознаюсь, мое сердце почти полностью было на стороне моего оскорбленного и несчастного двоюродного брата; если бы я не сочувствовал ему уже раньше, то в это мгновение пожалел бы его – так ужасно потрясли Алена слова адвоката; он схватился за галстук и покачнулся. Мне показалось, что он сейчас упадет, и я подбежал к нему, но в это мгновение виконт ожил и протянул руки, как бы желая предохранить себя от казавшегося ему унижительным прикосновения.

– Прочь руки! – с трудом произнес он.

– Теперь, – продолжал Ромэн все прежним тоном, – я надеюсь, вы поймете положение вещей, поймете, как осторожно следует вам вести себя. Ваш арест, если можно так выразиться, висит на одном волоске, и так как я и мои агенты будем постоянно наблюдать за вами, то вам

¹⁹ Кот и старик, простите!

²⁰ Молодость самонадеянна; все ей кажется достижимо; старость – безжалостна.

придется стараться идти как можно более прямым путем; при первом же сомнении я начну действовать.

Ромэн понюхал табак, устремил испытующий взгляд на человека, которого он терзал, и затем прибавил:

– Теперь позвольте вам напомнить, что ваша карета стоит у подъезда. Этот разговор волнует графа; он, конечно, неприятен вам, и мне кажется, нет никакой надобности продолжать его. В намерения вашего дяди, графа, не входит, чтобы вы снова спали под его кровлей.

Ален повернулся и, не говоря ни слова, вышел из комнаты; я бросился за ним. Вероятно, в моем сердце есть человеколюбие; по крайней мере, эта пытка, это медленное убийство окончательно изменили мои симпатии. В ту минуту, как Ален уходил, я от души ненавидел и графа, и адвоката за их хладнокровную жестокость.

Я наклонился через перила, но услышал только, как Ален поспешно прошел через ту переднюю, в которой недавно в честь его приезда толпились слуги и которая была пуста теперь, когда он уезжал один, потеряв друзей. Через минуту в моих ушах раздался звук захлопнувшейся двери. Ярость, с которой он сделал это, дала мне понять о степени его бешенства. В известном смысле я переживал его чувства; я понимал, с каким удовольствием он придавил бы этой дверью моего дядю, адвоката, меня самого и всю толпу людей, видевших его унижение.

Глава XX

После бури

Как только мой двоюродный брат уехал, я стал обсуждать, какие результаты получатся вследствие всего происшедшего. Много бед было наделано, и мне казалось, что на мою долю выпадет расплата за все. Здесь наедине и на людях травили и дразнили этого гордого зверя так, что в конце концов он потерял способность видеть, слышать и чувствовать; когда же несчастный обезумел от бешенства, перед ним открыли ворота и выпустили его на волю, дав ему возможность придумать на свободе средство отомстить своим врагам. Я невольно сожалел о том, что хотя лично я желал поступать миролюбиво, мои друзья разыгрывали героическую трагедию, выставляя меня героем... или делая жертвой, что почти одно и то же. Героические поэмы должны быть избраны самими вами; если же этого нет, они обращаются в ничто. Уверяю вас, что возвращаясь к себе в комнату, я был далеко не в любезном настроении духа; мне приходило в голову, что мой дядя и адвокат поставили на карту мою жизнь, мою будущность, и я от души клял их за это, чувствуя сильное желание не встречаться ни с одним из них; поэтому я совершенно потерялся, очутившись лицом к лицу с Ромэном.

Он стоял на ковре подле камина, опершись рукой о мраморную доску. Его лицо было задумчиво и мрачно, что мне доставило удовольствие; в чертах адвоката не виделось ни малейшего довольства своими недавними подвигами.

– Ну, – заметил я, – вы теперь закончили дело.

– Он уехал? – спросил Ромэн.

– Да, – ответил я, – придется нам расхлебывать кашу, когда он вернется.

– Вы правы, – согласился адвокат, – а отделяться от него одними баснями да вымыслами, как сегодня, скоро будет недостаточно.

– Как сегодня? – повторил я.

– Да, как сегодня, – подтвердил он.

– Что вы хотите сказать?

– Что сегодня мы отделались от виконта при помощи басен и вымыслов.

– Господи помилуй, – произнес я, – неужели мне придется узнать о ваших поступках нечто такое, чего даже я еще не подозревал? Вы не поверите, до чего вы меня заинтересовали! Вы поступили сурово, я, конечно, видел это и даже мысленно осуждал вас за это. Неужели же все, что вы сказали, вдобавок еще и ложно? В каком же смысле, дорогой сэръ?

Мне кажется, я говорил очень вызывающим тоном; однако адвокат не обратил никакого внимания на интонацию моего голоса.

– Ложно в полном смысле этого слова, – серьезно ответил он. – Мои басни были ложны потому, что в них не было истины; ложны потому, что они не могут осуществиться; ложны потому, что я хвастался и лгал. Разве я могу его арестовать? Ваш дядя сжег бумаги; он поступил великодушно; много великодушных поступков видал я и всегда сожалел о них, всегда. «В этом будет заключаться наследство Алена», – сказал граф. Когда бумаги горели, он не предполагал, что это наследство окажется таким богатым! Размеры его выяснит время.

– Прошу тысячу извинений, мой дорогой сэръ, но меня поражает, что вы, не смущаясь, говорите о вашем поражении; при настоящих же обстоятельствах я могу назвать это даже неприличным!

– Правда, я разбит, совершенно разбит. Я чувствую себя вполне беспомощным относительно вашего двоюродного брата, – произнес адвокат.

– Неужели? И серьезно? – спросил я. – Может быть, именно вследствие этого вы и оскорбляли бедняка всяческими способами? А зачем же вы так заботливо старались доставить мне

то, в чем я совершенно не нуждался, а именно нового врага? Все это вследствие того, что вы беспомощны относительно него? «Вот мой последний метательный снаряд, – говорили вы, – больше у меня нет запасов; подождите, пока я пушу его; он не может ранить врага, он только раздражит его». Ну, он пришел в бешенство, а я ничего не могу сделать, чтобы усмирить его. Еще толчок, еще удар, теперь он обезумел! Станьте рядом со мной, хотя я совершенно беспомощен. Мистер Ромэн, я спрашиваю себя: что скрывается под этой странной шуткой или что вызвало ее? Я задаю себе вопрос: не следует ли дать ей название измены?

– Я почти не удивляюсь, слыша ваши слова, – сказал адвокат. – Действительно, странную игру пришлось нам вести, и мы должны быть счастливы тем, что нам удалось так хорошо выпутаться. Но тут не было измены, мистер Анн; нет, нет, не было, и если вы согласитесь послушать меня в течение минуты, я самым ясным образом докажу вам это.

К Ромэну, по-видимому, вернулась его обычная бодрость духа, и он снова заговорил.

– Видите ли, виконт еще не читал газеты, но кто может сказать, когда ему случится прочесть ее? Проклятый номер мог лежать у него в кармане, а мы и не знали бы об этом. Мы были, следует даже сказать, мы находимся в зависимости от случайности, от покупки, стоящей два пенни.

– Правда, – заметил я, – я и не подумал об этом.

– Да, – вскрикнул Ромэн, – вы предполагали, что быть героем интересной газетной заметки ровно ничего не значит! Вам казалось, что это нечто тайное! Однако дело-то обстоит совершенно иначе. Часть Англии уже твердит имя Шамдивера; дня через два почта разнесет его повсюду. Такова удивительная система для распространения известий! Только подумайте! Когда родился мой отец... Но это иная история. Вернемся к делу: перед нами элементы страшной вспышки, мысль о которой меня пугает; элементы эти: ваш кузен и газета. Взгляни он хоть одним глазком на роковой печатный столбец, и что будет с нами? Легко задать этот вопрос, но нелегко на него ответить, мой молодой друг. Кроме того, позвольте сказать вам, что виконт постоянно читает именно эту газету. Я убежден, что она лежала у него в кармане.

– Прошу извинения, сэр, – сказал я, – я был не прав; я не понимал всей опасности моего положения.

– Кажется, вы никогда не понимаете этого, – заметил Ромэн.

– Однако публичное оскорбление... – начал я.

– Я согласен с вами, эта было безумием, – прервал меня Ромэн. – Но так приказал ваш дядя, мистер Анн, и что мог я сделать? Следовало ли мне сказать ему, что вы убили Гогелу? Не думаю.

– Конечно, не следовало, – произнес я, – это только еще больше запутало бы дело. Мы находились в очень плохом положении.

– Вы до сих пор еще не понимаете всей его серьезности, – возразил Ромэн. – Для вас было совершенно необходимо, чтобы Алэн уехал, уехал немедленно; необходимо удалиться и вам сегодня же, потихоньку, под покровом тьмы, а как вы могли бы сделать это, если бы он оставался рядом с вашей спальней? Значит, следовало его немедленно выгнать, а в этом-то и заключалась трудность.

– Простите меня, мистер Ромэн, но разве дядя не мог попросить его уехать? – спросил я.

– Я вижу, – ответил мне адвокат, – мне нужно объяснить вам, что это было совсем не так легко сделать, как кажется. Вы говорите себе, что замок – дом вашего дяди, и не ошибаетесь. Однако в то же время он и дом вашего кузена. У виконта есть здесь свои комнаты. В течение тридцати лет он пользовался ими, и они переполнены всевозможным хламом – разными корсетами, пуховками для пудры и тому подобными идиотскими полуженскими вещами; никто не имеет права оспаривать, что они принадлежат виконту. Мы могли бы попросить его уехать, а он имел бы полное основание возразить: «Да, я уеду, но возьму с собой мои корсеты и галстуки. Мне прежде всего необходимо собрать девятьсот девяносто девять ящиков, полных нестерпи-

мым хламом, который я собрал в течение тридцати лет и на укладку которого употреблю около тридцати часов». Что бы мы ему тогда ответили?

– В виде возражения мы послали бы к нему двух рослых лакеев с крепкими палками, – ответил я.

– Боже сохрани меня от мудрости мирян! – вскрикнул Ромэн. – В самом начале судебного процесса оказаться неправым? Нет! Можно было сделать только одно: ошеломить, поразить виконта, и я воспользовался этой возможностью, причем истратил свой последний патрон. Теперь мы выиграли часа три; поспешим же ими воспользоваться, потому что, если в чем-либо можно быть уверенным, так именно в том, что ваш кузен оправится завтра же утром.

– Прекрасно, – сказал я, – я признаю себя идиотом. Правильно говорят: старый солдат – это старый младенец! Ведь я и не думал ни о чем подобном.

– Ну, и теперь, услышав все это, будете ли вы по-прежнему отказываться уехать из Англии?

– По-прежнему.

– Это необходимо, – настаивал адвокат.

– А между тем невозможно, – возразил я ему. – Рассудок тут бессилён, а потому не тратьте ваших доводов. Достаточно будет сказать вам, что вопрос касается сердечных дел.

– Да? – произнес Ромэн. – Впрочем, я должен был ожидать этого! Помещайте людей в госпитали, запирайте их в тюрьмы, надев на них желтые сюртуки, делайте с ними что угодно, а все-таки молодой Джессами встретит свою юную Дженни. Поступайте как угодно! Я слишком стар, чтобы спорить с молодыми людьми, которые воображают, что они влюблены; я достаточно опытен, благодарю вас. Только поймите, чем вы рискуете, поймите, что вас может ждать тюрьма, скамья подсудимых, виселица и веревка... вещи ужасно вульгарные, мой юный друг, мрачные, отвратительные, серьезные, в которых нет ничего поэтического.

– Итак, я предупрежден, – весело сказал я. – Никого не могли предостерегать более тонким и красноречивым образом. А между тем мои намерения не изменились. Пока я не увижу этой особы, ничто не заставит меня покинуть Великобританию. Кроме того, я...

Здесь моя речь совершенно оборвалась. Я чуть было не рассказал Роману истории погонщиков; но при первых же словах голос мой замер. Я сообразил, что терпимость адвоката могла иметь предел. Не особенно долгое время пробыл я в Великобритании и большую часть его провел в неволе, в Эдинбургском замке, а между тем мне пришлось уже сознаться Ромэну, что я убил ножницами человека; теперь я чуть было не сказал, что виновен в смерти другого, которого ударил палкой из остролистника. Меня охватила волна скрытности, холодная и глубокая как море.

– Словом, сэр, это вопрос чувства, – в заключение произнес я, – и ничто не помешает мне отправиться в Эдинбург.

Если бы я выстрелил над ухом адвоката, он, наверное, не вздрогнул бы сильнее, чем в эту минуту.

– В Эдинбург? – повторил Ромэн. – В Эдинбург, где самые камни мостовой знают вас!

– В том-то и заключается штука, – проговорил я. – Но, мистер Ромэн, разве иногда в смелости не кроется безопасность? Разве не давно известно правило стратегии являться туда, где враг меньше всего ожидает вас? А где же меньше, чем в Эдинбурге, может он ожидать встречи со мной?

– И то отчасти правда! – вскрикнул адвокат. – Конечно, в вашем соображении есть большая доля правды. Все свидетели утонули, кроме одного, а он в тюрьме; вы же изменились (будем надеяться) до неузнаваемости и прогуливаетесь по улицам города, в котором прославились, как... ну, скажем прославились вашей эксцентричностью. Право, это недурно задумано!

– Значит, вы одобряете меня? – спросил я.

– Уж и одобряю! – ответил адвокат. – Тут нет и вопроса о моем одобрении! Я похвалил бы вас только в одном случае, а именно, если бы вы немедленно переправились во Францию.

– Ну, так, по крайней мере, вы не вполне порицаете мой план?

– Не вполне; да если бы он даже безусловно не нравился мне, дело было бы не в этом, – сказал Ромэн. – Идите своим путем; убедить вас нельзя. И я не уверен, что, поступая по-своему, вы будете подвергаться большей опасности, чем действуя иначе. Пусть слуги улягутся и заснут; тогда выберитесь из дому, сверните на проселочную дорогу и идите всю ночь. Утром же возьмите карету или сядьте в дилижанс, как вам вздумается, и продолжайте путешествовать с таким декорумом, на который вы окажетесь только способны.

– Картина запечатлевается в моем уме, – сказал я, – дайте мне минуту, мне необходимо видеть все в целом; целое противоречит подробностям.

– Шарлатан! – прошептал Ромэн.

– Да, я все вижу теперь, вижу себя со слугой, и этот слуга – Роулей.

– Вы хотите взять Роулея, чтобы иметь лишнее звено, соединяющее вас с дядей! – проговорил адвокат. – Как благоразумно!

– Простите меня, но это именно благоразумно! – вскрикнул я. – Мой обман не будет длиться тридцать лет, я ведь не строю драгоценного гранитного дворца на одну ночь. То, о чем я говорю, переносная палатка, движущаяся картина панорамы, которая появляется, восхищает зрителей, затем через мгновение снова исчезает. Словом, мне нужно только нечто такое, чтоб обмануть глаз, нечто пригодное в гостинице в течение двенадцати часов. Разве это не так?

– Так, однако возражение не разбивается. Роулей – новая опасность, – сказал Ромэн.

– На расстоянии Роулей будет походить, – ответил я, – на слугу, качающегося на сидении быстро несущейся кареты. Вблизи он станет производить впечатление нарядного, красивого, вежливого малого, увидев которого в коридоре гостиницы, один, оглядываясь на него, спросит: «Кто это?», а другой ответит: «Слуга господина из четвертого номера». Право, с ним я буду отлично чувствовать себя, если только мы не встретим моего двоюродного брата или личных друзей Роулея. Что делать, дорогой сэр! Конечно, если мы столкнемся с Аленом или с кем-нибудь из людей, присутствовавших при сегодняшней благоразумной сцене, мы погибли. Кто же спорит об этом? При каждом переодевании, как осторожно ни было оно задумано, остается слабая сторона. В подобных случаях всегда приходится возить с собой табакерку, с которой связан риск (беру сравнение из вашего кармана)... С моим Роулеем соединяется столько же опасности, как со всякими другими. Одним словом, малый этот честен, я ему нравлюсь, он мне внушает доверие и, кроме него, другого слуги у меня не будет.

– Он может не согласиться, – заметил Ромэн.

– Давайте держать пари на тысячу фунтов! – крикнул я. – Вам остается только отправить его на ту дорогу, о которой вы говорили, и предоставить все дело в мои руки. Говорю вам, он будет моим слугой и окажется вполне пригодным.

Я перешел на другую сторону комнаты и стал снимать платье.

– Ну, – сказал адвокат, пожимая плечами, – один лишний риск! *A la guerre comme à la guerre*, как сказали бы вы. Пусть же, по крайней мере, этот мальчишка придет сюда и поможет вам.

Ромэн собирался позвонить, но вдруг заметил, какие изыскания в гардеробе делал я.

– Не приходите в восхищение от этих сюртуков, жилетов, галстуков и так далее, словом, от всех вещей, окружающих вас теперь. Вы не должны путешествовать, имея вид денди, да это и не в моде.

– Вам угодно шутить, сэр, – ответил я, – и шутить довольно неосновательно. Эти платья – моя жизнь; они помогут мне скрываться, и так как я имею возможность взять только очень немного вещей, я поступлю как безумец, если выберу их наскоро, кое-как. Угодно вам раз навсегда понять, к чему я стремлюсь? Первое – стать невидимкой, второе – быть невидимкой

в почтовой карете и в сопровождении слуги. Неужели вы не замечаете, какую тонкую задачу предстоит мне решить? Ничто не должно быть ни слишком грубо, и я слишком тонко: rien de voyant, rien qui détonne²¹; мне необходимо везде оставлять после себя неясный образ молодого человека с хорошим состоянием, путешествующего с удобствами; человека, о котором хозяин гостиницы забудет через день, а горичная, вздыхая, вспомнит не раз, благослови ее, Боже! Нужно крайне тонкое искусство, чтобы одеться таким образом.

– Я с успехом делаю это в течение пятидесяти лет, – сказал Ромэн, засмеявшись, – черный костюм и чистая рубашка – вот и все мое искусство.

– Вы удивляете меня; я не считал вас легкомысленным, – проговорил я, наклоняясь над двумя сюртуками. – Скажите мне, мистер Ромэн, похож ли я на вас, и приходилось ли вам ездить на почтовых с нарядным слугой?

– Не могу сказать ни того, ни другого, это верно, – ответил Ромэн.

– А это меняет все дело, – продолжал я. Мне нужно одеться так, чтобы мое платье подходило к нарядному слуге и шкатулке, обтянутой русской кожей.

Тут мне пришлось на мгновение замолчать. Я подошел к шкатулке и с минутным колебанием посмотрел на нее.

– Да, – продолжал я снова, – я должен надеть платье, подходящее и к этой шкатулке. Она кажется на взгляд вместительной, полной денег; она обозначает, что у меня есть поверенный, она – неоценимая собственность. Но я желал бы, чтобы в ней помещалось поменьше денег. Ответственность слишком велика. Не будет ли умнее, мистер Ромэн, если я возьму с собой только пятьсот фунтов, а остальное отдам вам?

– Да, если вы вполне уверены, что эти деньги не понадобятся вам, – ответил Ромэн.

– Я далеко не уверен в этом! – вскрикнул я. – Во-первых, не уверен как философ. В моих руках еще никогда не бывало большой суммы денег и, мне кажется, я могу скоро истратить ее (кто поручится за себя?) Во-вторых, я не могу сказать, окажется ли мне, как беглецу, достаточной цифра, о которой я говорил. Кто знает, что мне понадобится? Пожалуй, пятьсот фунтов выйдут у меня сразу. Но я всегда буду иметь возможность написать вам, прося выслать мне еще денег.

– Вы меня не поняли, – возразил Ромэн, – я теперь же прекращаю с вами всякие сношения. Вы до вашего отъезда дадите мне полномочие и затем окончательно покончите со мной до наступления лучших дней.

Помнится, я что-то возразил ему.

– Подумайте немножко и обо мне, – сказал Ромэн. – Мне необходимо утверждать, что до сегодняшнего вечера я никогда не видал вас, что сегодня вы дали мне полномочия, и затем я потерял вас из виду и не знаю, куда направились вы; мне незачем было расспрашивать вас! Все это так же важно для вашей безопасности, как и для моей.

– Мне даже нельзя писать вам? – спросил я, немного ошеломленный.

– По-видимому, я совершенно лишил вас здравого рассудка, – возразил он, – однако я говорю вам английским языком: вам даже нельзя мне писать, и если вы напишете, то не получите ответа от меня.

– Между тем письмо... – начал я.

– Послушайте, – прервал меня Ромэн, – как только ваш двоюродный брат прочитает газетную заметку, что он сделает? Тотчас попросит полицию следить за моей перепиской. Словом, ваше письмо на мое имя будет равняться письму в сыскное отделение. Лучше всего – послушайте моего совета и пришлите мне весточку из Франции.

– Черт возьми! – произнес я, начиная видеть, что обстоятельства совершенно противоречат моим желаниям.

²¹ Ничего бросающегося в глаза, ничего кричащего контрастно.

– Что еще такое? – спросил адвокат.

– Нам нужно еще закончить кое-что до нашей разлуки, – ответил я.

– Я даю вам на приготовление целую ночь, – проговорил Ромэн. – С меня довольно, чтобы вы уехали отсюда до рассвета.

– В коротких словах, вот что мне нужно: ваши советы приносили мне такую пользу, что мне до крайности неприятно прекратить сношения с вами, и я даже попрошу вас указать мне человека, который мог бы мне заменить вас. Вы очень обяжете меня, если дадите мне рекомендательное письмо к одному из ваших собратьев в Эдинбурге. Хорошо, если бы это был старый, очень опытный, очень порядочный и скромный человек. Можете ли вы одолжить мне письмо такого рода?

– Нет, – ответил Ромэн. – Конечно, нет, я ни за что не сделаю ничего подобного.

– Это было бы таким одолжением для меня, – просил я.

– Это было бы непростительной ошибкой, – возразил он. – Как дать вам рекомендательное письмо? А когда явится полиция, забыть об этом обстоятельстве? Нет, не будем больше говорить об этом.

– По-видимому, вы всегда правы, – заметил я. – Я вижу, что мне не следует больше и думать о письме, но вы могли в разговоре со мной упомянуть имя адвоката; услышав его в свою очередь, я мог воспользоваться этим обстоятельством и явиться к нему. Таким образом, мое дело попало бы в хорошие руки, а вас я ничуть не скомпрометировал бы.

– Какое дело? – спросил Ромэн.

– Я не сказал, что оно у меня есть, – возразил я, – но кто ответит за будущее? Я имею в виду только возможность.

– Хорошо, – сказал Ромэн, – вот вам имя мистера Робби; теперь покончим с этим вопросом. Или погодите, – прибавил он, – я придумал: я дам вам нечто вроде рекомендации, которая не скомпрометирует меня.

И Ромэн, написав на карточке свое имя и адрес эдинбургского адвоката, передал мне ее.

Глава XXI

Я делаюсь владельцем кареты малинового цвета

Укладка вещей, подписывание бумаг и превосходный холодный ужин, поданный в комнате адвоката, отняли у нас много времени. Было позже двух часов утра, когда мы окончательно собрались в дорогу. Сам Роман выпустил нас из окна, находившегося в хорошо известной Роулею части дома; оказалось, что окно это служило чем-то вроде потайной двери для слуг, и когда у них являлось желание тайно провести где-нибудь вечер, они пользовались им, чтобы уходить из дому и возвращаться без хлопот. Помню, с каким кислым видом адвокат выслушал сообщение Роулея; губы его отвисли, брови сморщились и он все повторял: «Нужно взглянуть на лазейку и завтра же утром загородить ее!» Мне кажется, Ромэн до такой степени погрузился в новую заботу, что даже не заметил, когда я простился с ним; адвокат подал нам наши вещи; затем окно закрылось, и мы потонули в густой тьме ночи и леса.

Мелкий мокрый снег медленно падал на землю, приостанавливался, затем снова начинал сыпаться. Тьма стояла кромешная. Мы шли то между деревьями, то между оградами садов или, как бараны, запутывались в чаще. У Роулея были спички, но он не соглашался их зажигать, его невозможно было ни запугать, ни смягчить.

– Вы знаете, – твердил юноша, – он сказал мне, чтобы я подождал, пока мы зайдем за холм. Теперь уже недалеко. А вы-то еще солдат!

Во всяком случае, солдат был очень доволен, когда его слуга, наконец, согласился зажечь одну из воровских спичек. Ею мы скоро засветили фонарь и при его неясном свете стали пробираться через лабиринт лесных дорожек. Мы были в пальто, в дорожных сапогах, в высоких шляпах, очень похожих одна на другую; в руках мы несли нечто вроде добычи в виде шкатулки, пистолетного ящика и двух увесистых чемоданов; все это, как мне казалось, придавало нам вид двух братьев, возвращавшихся с грабежа из Амершема.

Наконец мы вышли на проселочную дорогу, по которой нам можно было идти рядом и без особенных предосторожностей. Станция Эйльсбери, наша цель, отстояла от дома дяди на девять миль. Я взглянул на часы, составлявшие принадлежность моего нового наряда: они показывали около половины четвертого. Так как на станцию нам надо было попасть не раньше рассвета, нам было незачем торопиться, и я сказал, что мы пойдем спокойным шагом.

– Но, Роулей, – проговорил я, – все это прекрасно. Вы самым любезным образом на свете явились, чтобы снести вот эти чемоданы. Теперь вопрос: что же далее? Что мы будем делать в Эйльсбери? Или, вернее, как поступите вы? Я отправлюсь путешествовать. Поедете ли вы со мной?

Юноша тихонько засмеялся.

– Все это уже решено, мистер Анн, – ответил он, – я уложил мои вещи вот в этот чемодан; там с полдюжины рубашек и еще кое-что. Я совсем готов, вы увидите.

– Черт возьми, – произнес я, – вы вполне уверены в моем согласии!

– Точно так, сэр, – проговорил Роулей.

При свете фонаря он взглянул на меня с выражением юношеской застенчивости и торжества; моя совесть пробудилась. Я не мог позволить этому невинному мальчику идти навстречу всем затруднениям и опасностям, ожидавшим меня, не сделав ему достаточно ясного предостережения, которое, однако, не было бы слишком ясным; это казалось делом трудным и щекотливым.

– Нет, нет, – проговорил я, – вы можете воображать, будто окончательно решились, но вы ничего не обдумали и еще можете изменить намерение. Служить у графа хорошо – а на что вы променяете свое место? Не бросаете ли вы сущности, чтобы гнаться за тенью? Погодите, не

отвечайте мне. Вы воображаете, что я богатый дворянин, только что признанный наследник моего дяди, человек, стоящий на пути к самой завидной судьбе, что, с точки зрения благоразумного слуги, лучше меня трудно и найти господина? Ну, мой милый, я далеко не то, далеко не то!

Проговорив это, я замолчал, поднял фонарь и осветил им Роулея. На черном фоне ночной тьмы выделялось залитое светом лицо молодого человека. Кругом нас падал снег. Роулей стоял, словно окаменев; два чемодана висели у него справа и слева, точно груз осла; юноша не спускал с меня глаз, открыв от изумления рот, ставший круглым, как отверстие мушкета. Никогда в жизни не случалось мне видеть физиономии, более предназначенной выражать удивление, чем лицо Роулея. Это вселило в меня искушение, как открытый рояль вселяет искушение в душу музыканта.

– Да, Роулей, я далеко не то, – продолжал я замогильным голосом. – Все, что вы видели, только хорошенькая внешность! Я в опасности, у меня нет дома, меня преследуют. Едва ли в Англии найдется один человек, который не был бы моим врагом. С этой минуты я бросаю мое имя и мой титул, делаюсь человеком безыменным; я осужденный. Жизнь моя, моя свобода висят на волоске. Если вы пойдете со мной, шпионы будут выслеживать вас, вам придется скрываться под различными чужими фамилиями, прикрываться самыми неправдоподобными вымыслами и, быть может, делить судьбу убийцы, голова которого оценена.

Его лицо невыразимо менялось, изображая все более и более трагическое изумление; за это зрелище, право, стоило бы заплатить! Однако при моих последних словах черты юноши просветлели, он расхохотался и сказал:

– О, я не боюсь! Я с самого начала так и знал!

Я чуть не поколотил Роулея. Но так как я сказал уже слишком много, то мне пришлось, кажется, целые две мили уверять моего слугу, что я говорил серьезно. Я до того увлекся желанием показать мальчику всю опасность моего положения, что забыл все, кроме моей будущей безопасности, и не только рассказал ему историю Гогелы, но и происшествие с погонщиками, и, наконец, выболтал, что я солдат Наполеона и военнопленный.

Когда я начал говорить с Роулеем, это не входило в мои расчеты, но мою всегдашнюю беду составлял длинный язык. Однако, мне кажется, «успех» с особенной любовью относится к этому недостатку. Ну, кто из ваших рассудительных малых решился бы на такой безумно-отважный и в то же время благоразумный поступок? Кто из них взял бы в поверенные молоденького слугу, еще не достигшего двадцатилетнего возраста и положительно пропитанного атмосферой детской? А разве мне пришлось раскаяться в этом? В затруднениях, подобных моим, никто не может быть лучшим советчиком, нежели юный мальчик, в уме которого уже начинает рождаться здравый смысл зрелости, но еще догорают последние искры детского воображения. Он может всей душой отдаться делу с тем крайним рвением, которое, собственно говоря, способна возбуждать только игра. Роулей же был мальчиком, совершенно подходившим для меня. В нем преобладали романтические наклонности; он втайне поклонялся всем военным героям и преступникам. Его путевая библиотека состояла из жизнеописания Уоллеса и нескольких дешевых книжек судебных отчетов, составленных стенографом Гернеем; выбор книг может дать полнейшее понятие о характере этого юноши. Можете же вообразить себе, какой заманчивой представлялась ему его будущность! Быть слугой и спутником беглеца, солдата и убийцы (причем все это соединялось в одном лице), жить при помощи хитрых планов, переодеваний, скрываясь под вымышленным именем, постоянно чувствовать себя окруженным атмосферой полуночи и таинственности, атмосферой густой, почти осязаемой! Право, мне кажется, подобные условия были для него важнее пищи и питья, хотя он обладал превосходным аппетитом. Что же касается меня, то я превратился для него в настоящего идола, так как составлял средоточие и опору всего этого романтизма. Он охотнее лишился бы одной руки, чем отказался бы от счастья мне служить.

Мы придумывали план компании самым дружеским образом, шагая по снегу, который на рассвете стал падать густыми хлопьями. Я выбрал себе имя Раморни, кажется, за его сходство с именем Ромэн; Роулея же, вследствие внезапного изменения хода мыслей, я назвал Гаммоном. Смешно было смотреть на отчаяние мальчика! Сам он избрал было себе скромное прозвище Клод Дюваль. Мы условились насчет того, как будем действовать в различных гостиницах, и репетировали все наши слова и жесты, точно перед военным ученьем, до тех пор, пока, по-видимому, не приготовились достаточно хорошо. Конечно, мы не забывали и о шкатулке. Кто из нас поднимет ее, кто поставит вниз, кто останется с ней, кто будет спать подле нее – все было предусмотрено; мы не упустили из виду ни одной случайности и действовали с одной стороны с совершенством сержантов-инструкторов, с другой – с увлечением детей, которым дали по новой игрушке.

– А не найдут ли странным, если мы оба придем на почтовую станцию со всем этим багажом? – заметил Роулей.

– Вероятно, – сказал я. – Но что же делать?

– Вот что, сэр, – проговорил Роулей. – Я думаю, покажется естественнее, если вы явитесь на станцию одни, без вещей, это будет более по-барски, знаете. Вы можете сказать, что ваш слуга с багажом ждет вас на дороге. Полагаю, я подниму все эти вещи, по крайней мере, в том случае, если вы нагрузите их на меня.

– Пойдите, мистер Роулей, необходимо хорошенько обдумать это! – крикнул я. – Ведь вы останетесь без всякой помощи! И первый ночной бродяга, будь он ребенок, сумеет ограбить вас. Я же, проезжая мимо, увижу, как вы лежите в канаве с перерезанным горлом... Однако ваша мысль не совсем дурна; из нее можно извлечь кое-что, и я предлагаю привести ее в исполнение на первом же перекрестке большой дороги.

И вот, вместо того, чтобы идти к Эйльсбери, мы по окольным проселкам обошли эту станцию и очутились на большой дороге севернее ее. Нам оставалось найти место, где я мог бы нагрузить на Роулея багаж и затем расстаться с ним, чтобы снова захватить мальчика, когда я появлюсь в карете.

Шел сильнейший снег; все окрестности побелели; сами мы были совершенно занесены снегом. Вскоре при первых лучах рассвета мы увидели гостиницу, стоявшую на краю большой дороги. В некотором расстоянии от нее я и Роулей остановились под покровом купы деревьев; я нагрузил моего спутника всем нашим имуществом, и мы расстались; я не двинулся с места, пока Роулей не исчез в дверях «Зеленого Дракона». Такое звучное название красовалось на вывеске гостиницы. Потом я быстрым, бодрым шагом направился к Эйльсбери; меня радовало сознание свободы, меня волновало то беспричинное довольство, которое снежное утро вливает в душу человека. Однако вскоре снег перестал падать, и я увидел трубы Эйльсбери, которые дымились, облитые светом всходящего солнца. Во дворе станции стояло множество одноколок и колясок; в буфете и около дверей гостиницы толпились люди. При виде доказательств многочисленности путешественников, мне представилось, что я не достану ни экипажа, ни лошадей и буду вынужден остаться в опасном соседстве с моим двоюродным братом. Несмотря на голод, мучивший меня, я прежде всего отправился к почтмейстеру, большому, атлетически сложенному человеку, походившему на лошадиного барышника; он, стоя в углу двора, посвистывал в ключ.

Когда я высказал ему свою скромную просьбу, его полное равнодушие сменилось страстным волнением.

– Экипаж и лошадей! – вскрикнул он. – Да разве по моему виду можно заключить, что у меня есть экипаж и лошади? Черт меня побери, если они у меня есть! Я не изготавливаю лошадей и экипажей, я отдаю их в наем.

Вдруг, словно только что рассмотрев меня, он прервал свою речь и зашептал таинственным тоном.

– Теперь я вижу, что вы джентльмен, и потому вот что скажу вам. Если вы пожелаете купить – у меня найдется кое-что подходящее для вас. Карета Лисетта из Лондона. Самый последний фасон. Она на вид совсем как новая. Прекрасные приспособления, сетка на крыше, багажная платформа, пистолетные чушки; уверяю вас, невозможно найти кареты красивее и удобнее. И все за семьдесят пять фунтов, это просто даром!

– Вы предполагаете, что я сам буду катать ее, как разносчик тачку? – проговорил я. – Ну, милейший, если бы я желал остаться здесь, я купил бы себе дом, а не карету.

– Взгляните на нее, – вскрикнул он, схватил меня под руку и отвел в сарай, где стоял экипаж.

Именно о такой карете и мечтал я для моего путешествия. Она была достаточно нарядна, красива, но не бросалась в глаза. Хотя я не считал почтмейстера лицом, обладающим большим авторитетом в этом отношении, но согласился с ним, что экипаж вполне приличен. Корпус кареты был выкрашен в темно-малиновый цвет, колеса в неясно зеленый. Фонари и стекла блестели, как серебро; на всем экипаже лежал отпечаток, показывавший, что он принадлежит частному лицу, ничто в нем не било на эффект; он должен был бы уничтожать желание наводить справки о том, кто его хозяин, и успокаивать возникшие подозрения. Мне казалось, что с таким слугой, как Роулей, и в этой малиновой карете я мог бы проехать от одного края Англии до другого, среди населения, кланяющегося, как придворные. По-видимому, почтмейстер понял, что карета соблазняет меня.

– Ну, – вскрикнул он, – чтобы услужить другу, я уступлю ее за семьдесят фунтов!

– Вопрос в лошадях, – заметил я.

– Хорошо, – проговорил он, взглянув на часы. – Теперь половина девятого. Когда нужно вам подать ее?

– С лошадьми и со всем, что следует?

– С лошадьми и со всем, что следует, – повторил почтмейстер. – Услуга за услугу. Вы мне дадите семьдесят фунтов за карету, а я запрягу в нее лошадей. Я сказал вам, что не могу делать лошадей, но могу достать их, чтобы услужить другу.

Что сделали бы вы? Конечно, было не особенно благоразумно покупать экипаж на расстоянии двенадцати миль от дома моего дяди, но таким образом я заручался лошадьми для переезда до следующей станции. В ином случае мне пришлось бы ждать. Я отдал деньги, быть может, переплатив фунтов двадцать (хотя это был хорошо сделанный и отлично отделанный экипаж). Затем я пошел позавтракать и велел подать карету приблизительно через полчаса.

Я сел за стол, стоявший в оконной нише, из которой открывался вид на гостиницу, и стал смотреть на постепенно отъезжавших путешественников; одни из них заботливо хлопотали, другие казались беспечными; одни выказывали скупость, другие расточительность. В последнюю минуту перед отправлением каждый обнаруживал черты своего истинного характера; некоторых из отъезжавших провожали мажордом, лакеи, горничные, почти в полном составе; другие садились в экипажи без малейшего почета. Наконец, меня очень заинтересовал один из путешественников, овации в честь которого приняли размеры настоящего торжества. Не только простые служанки и слуги, но даже экономка, хозяйка гостиницы и мой друг почтмейстер виднелись в толпе, стоявшей подле подножки его экипажа. В то же время я услышал, что среди провожавших его раздавался смех; по-видимому, этот путешественник был остроумен и не занимал чересчур высокого положения, а потому не чванился перед скромным обществом. Я высунулся из окна с чувством живейшего любопытства, но сейчас же отшатнулся и спрятался за чайник. Популярный путешественник повернулся, чтобы махнуть на прощание рукой провожавшим его, и я узнал в нем моего двоюродного брата Алена! Он совсем не походил на того бледного, рассерженного человека, которого я видел в Амершеме. Теперь щеки виконта покрывал слишком яркий румянец, загоревшийся на них от вина. На голове его, точно у Бахуса, развевались пряди кудрей. Он, по-видимому, вполне владел собой, улыбаясь с сознанием своей

популярности и с выражением нестерпимой снисходительности. Еще мгновение, и его экипаж помчался по направлению к Лондону.

Я снова стал дышать свободно. С чувством глубокой благодарности подумал я о том, как ко мне благоволила судьба, внушившая мне мысль пройти на почтовый двор вместо того, чтобы направиться в столовую; вспомнил я и о том, что, благодаря покупке малиновой кареты, я не встретился с моим двоюродным братом. Вскоре я сообразил, что подле меня стоит слуга, который, конечно, видел, как я следил за экипажем, и, без сомнения, раздумывал о моем необыкновенном и недостойном поведении. Мне следовало во что бы то ни стало рассеять все его подозрения.

– Человек, – сказал я, – не правда ли, внук графа Керуэля только что уехал отсюда?

– Да, сэр; мы его называем виконт де Керуэль!

– Я так и думал. Ну, черт побрал бы всех этих французов.

– Точно так, – подтвердил слуга. – Их нельзя сравнить с нашими господами.

– Скверный характер? – подсказал я.

– Отвратительный характер у виконта, – с чувством произнес слуга. – Как же! Сегодня утром он спокойно сидел и читал газету. Вероятно, ему попались какие-нибудь важные политические известия или что-нибудь насчет лошадей, только он внезапно крепко ударил рукой по столу и крикнул, чтобы ему подали кюрасо. Все это было так внезапно, так резко, что я сильно вздрогнул. Ну, сэр, быть может, такие вещи приняты у них во Франции, но я положительно не привык к подобному обращению.

– Он читал газету? – спросил я. – Какую?

– Вот этот листок, сэр, – сказал слуга. – Он, кажется, уронил его.

Слуга поднял газету и подал ее мне.

Я уже был приготовлен к тому, чего мне следовало ожидать, однако при виде напечатанных строк сердце мое перестало биться. Опасения Ромэна осуществились: листок был открыт на статье, говорившей об аресте Клозеля. Мне самому захотелось выпить ликера, но я передумал и попросил подать себе коньяку. Я поступил дурно, поддавшись этому желанию; глаза слуги заблестели, по-видимому, он в это мгновение заметил сходство между мной и Аленом и сообразил многое. Я уже понял всю глубину глупостей, наделанных мной! Теперь, если бы мой кузен вздумал навести обо мне справки в Эйльсбери, было бы легко выяснить, кто я, и узнать, куда я направился. В довершение же безумия я, истратив семьдесят фунтов, создал для Алена путеводную нить (в виде малиновой кареты), благодаря которой он мог меня отыскать в любом месте Англии.

К дверям подали мой элегантный экипаж; в эту минуту я уже начал смотреть на него, как на выкрашенное в малиновый цвет преддверие к фуре палача. Не окончив завтрака, я встал и ушел из столовой и вскоре понесся к северу с таким же рвением, с каким Ален стремился к югу. Я возлагал всю мою надежду на противоположность наших направлений и на одинаковую скорость движения.

Глава XXII

Характер и таланты мистера Роулея

Не помню, сознавал ли я до этой минуты всю опасность задуманного мной предприятия, но, во всяком случае, когда я увидел Алена, увидел его веселое лицо, представлявшее маску, под которой скрывалась другая, страшно злобная физиономия, когда передо мной мелькнули его гиперболические кудри, лежавшие в полном порядке, его галстук, завязанный так аккуратно, точно он отпраплялся на любовное свидание – между тем как целью его путешествия было здание лондонской полиции на Боу-стрит, откуда он намеревался пустить по моим следам сыщиков, откуда, по его доносу, должны были полететь во все уголки Англии объявления, опасные для меня, как заряженные мушкеты, – я убедился, что дело шло о моей жизни и смерти. Помнится, я чуть было не решил приказать повернуть лошадей и направиться к берегу. Однако я был в положении человека, побившегося об заклад, что он войдет в львиную берлогу, или же гуляки, который под влиянием вина затеял накануне ссору, а наутро в трезвом виде не желал отказаться от своих слов. Не следует думать, чтобы мысль о Флоре перестала увлекать меня или чтобы я охладел к предмету моей страсти; просто, сидя в карете и куря большую сигару, я сообразил многое: во-первых, мне представилось, что почта и почтовые конторы были специально изобретены для меня; во-вторых, что мне не составило бы ни малейшего затруднения написать Флоре несколько слов на клочке бумаги, запечатать мое послание в конверт и послать его с первым же дилижансом, вместо того, чтобы ехать к ней самому, подвергаясь страшным опасностям во время странствования по стране, которая, как мне чудилось, была полна виселиц и кишела полицейскими сыщиками. О Симе и Кэндлише, кажется, я и не вспомнил в этот промежуток времени ни разу. На пороге гостиницы «Зеленый Дракон» меня ждал Роулей с багажом. Он положительно засыпал меня целым потоком неприятных для меня речей.

– Кто тут был, сэр, вы не подозреваете! – говорил он, когда экипаж тронулся. – Красножилетники! – и мальчик значительно кивнул мне головой.

– Красножилетники? – повторил я, так как самым глупейшим образом в эту минуту не понял выражения, которое нередко слышал прежде.

– Ну, да, красножилетники, сыщики. Полицейские сыщики с улицы Боу. Двое... один из них был сам Лавендер. Вдруг я ясно слышу, как товарищ говорит ему: «Ну, мистер Лавендер, готовы вы?» Они завтракали рядом со мной, сидели так близко от меня, как вот этот кучер... Они были тут не ради нас... а ради одного человека, сделавшего подлог. И я не направил их на ложный след, о, нет! Я решил, что будет скверно, если они очутятся на нашей дороге, и потому доставил им «очень ценные указания», как выразился мистер Лавендер. Он поблагодарил меня, дал мне на чай, и они направились в Лютон. Товарищ мистера Лавендера показал мне ручные оковы; он даже надел на меня эту ужасную вещь, право же, я чуть было не упал в обморок... Было дьявольски неприятно почувствовать кандалы на своих руках! Прошу простить меня, мистер Анн, – прибавил Роулей, перестав говорить таинственным тоном товарища-школьника и произнося последние слова с интонацией хорошо вымуштрованного почти-тельного слуги. Эти внезапные переходы составляли прелестную отличительную черту его речей.

Не могу сказать, чтобы разговор о ручных кандалах пришелся мне особенно по вкусу; я строго, может быть, даже слишком строго сделал юноше замечание за то, что он назвал меня моим настоящим именем.

– Да, мистер Раморни, – проговорил Роулей, касаясь рукой своей шляпы. – Прошу прощения, мистер Раморни. До сих пор я был очень осторожен и, поверьте мне, сэр, буду также осторожен и в будущем. Это вырвалось невольно, сэр.

– Мой милый мальчик, – сказал я с самым внушительным, суровым видом, – подобные вещи не должны случаться; прошу вас помнить, что вся моя жизнь поставлена на карту.

Я не воспользовался удобным случаем, чтобы сказать ему, сколько промахов наделал сам. Я считаю принципом, что в глазах солдата офицер никогда не должен быть неправым. Я видел, как два дивизиона целые две недели разбивали себе лбы о незначительный и совершенно неприступный замок, стоявший в ущелье; я знал, что это делалось вследствие дисциплины из-за того, что генерал сперва дал необдуманное приказание взять его, а затем не мог придумать средства отменить свой приказ. Я восхищался силой характера этого человека и во время бесполезных военных действий говорил себе, что подвергаю опасности жизнь во имя хорошего дела. С глупцами же и детьми – а я включал Роулея в обе категории – необходимо быть еще осторожнее в этом смысле, нежели с солдатами. Я решил казаться моему слуге непогрешимым. Когда Роулей выразил некоторое удивление по поводу покупки малиновой кареты, я сразу обрезал его, сказав, что в нашем положении нужно приносить всевозможные жертвы во имя декорума, что в наемном экипаже мы чувствовали бы себя гораздо свободнее, но не имели бы достаточно важного вида. Я говорил так уверенно, что временами почти вселял в самого себя убеждение в справедливости своих слов. Понятно, ненадолго: мне все чудилось, что в этой ненавистной карете запрятаны сыщики, что на нее наклеена надпись, говорящая о моем имени и совершенных мной преступлениях. Я заплатил за экипаж семьдесят фунтов, но дал бы еще семьсот, чтобы отделаться от него.

Карета была опасна; шкатулка же с золотым содержимым составляла для меня источник жестоких тревог. Прежде я не знал никаких денежных забот, получал жалованье и спокойно тратил его; в полку я жил счастливо, как в отчем доме, комиссариат великого императора питал меня, как вездесущие голуби питали Илию; если же в казенной пище случался какой-нибудь недочет, я с помощью первого встречного крестьянина поправлял дело. Теперь же мне приходилось чувствовать и тяжесть богатства, и страх потерять его. В шкатулке хранилось десять тысяч фунтов (я считал их на французскую монету) и таилось пятьдесят тысяч мучений; целый день я обнимал драгоценный ящик, ночью видел его во сне. В гостиницах я боялся идти обедать или отправиться спать. Входя пешком на холм, я не осмеливался отходить от дверей малиновой кареты. Иногда я перемещал мои богатства; прятал у себя на груди значительную сумму, и только часть моего состояния продолжала путешествовать в шкатулке; я уподоблялся моему кузену: при каждом моем движении слышался шелест банковских билетов, и карманы мои чуть не лопались от тяжести золотых монет; порой, когда мне надоедало это или я чувствовал стыд при мысли о подобном образе действий, огромные суммы отправлялись обратно туда же, откуда были извлечены. Словом, я давал Роулею очень плохой пример постоянства.

Но до философии юноше не было дела. Он ко всему относился безразлично, лишь бы что-либо занимало его, а я не знаю в мире человека, которого было бы так легко занять, как моего слугу. Жизнь, путешествия, собственное мелодраматическое положение – все это вселяло в него живой интерес. Целый день смотрел он из окон с невыразимым любопытством, которое иногда было понятным, иногда же казалось мне необъяснимым; вообще я досадовал на необходимость слушать его восторженную болтовню. Я могу смотреть на лошадей, могу смотреть на деревья, хотя и не чувствую к ним особенного влечения, но зачем мне было непременно смотреть на хромую лошадь или на дерево, имеющее форму буквы «У»? Какой восторг мог влить в мое сердце вид коттеджа, «совершенно такого же цвета, как второй домик от мельницы», о которой я никогда ничего не слышал, и стоявший там, где я никогда не был? Мне стыдно жаловаться, но порой общество моего юного доверчивого друга жестоко тяготило меня. Действительно, он болтал почти без перерыва, однако в его речах ни разу не проглянуло ничего

дурного. Задавая вопросы, он выказывал милое, полное доброжелательного чувства любопытство; рассказывал он с детским простодушием. А рассказывал он и расспрашивал много! Я могу написать биографию мистера Роулея, его отца, матери, тетки Элизы и собаки мельника; не делаю же этого, только жалея читателя и вспоминая об авторских правах.

Очень скоро заметил я в Роулее желание во всех отношениях переделать себя на мой образец, и у меня не хватало мужества мешать ему приводить свое намерение в исполнение. Он старался подражать моим манерам, с рабской точностью копировал мою привычку слегка пожимать плечами; надо даже сказать, что увидев, как он подергивает плечами, я впервые заметил, что сам делаю это. Однажды в разговоре я упомянул, что я католик. Роулей погрузился в задумчивость, что доставило мне удовольствие. Вдруг он воскликнул:

– Ну его! Я тоже сделаюсь католиком! Вы должны научить меня правилам вашей религии, мистер Анн, то есть мистер Раморни!

Я стал отговаривать мальчика, уверяя его, что сам плохо знаю догматы нашей церкви, и что менять религию вообще не годится.

– Конечно, моя церковь лучше всякой другой, – сказал я, – но я не поэтому принадлежу к ее лону, а вследствие того, что с давних пор род мой исповедывал католичество. Я желаю делить судьбу близких мне людей; то же следует делать и вам. Если придется отправиться в ад, идите в ад, как джентльмен, вместе с вашими предками.

– Конечно, не в этом вопрос, – согласился Роулей, – я и не думал об аде... Вот у католиков тоже инквизиция... Штучка, нечего сказать!

– По-видимому, вы решительно ни о чем не думали, – заметил я; эти слова положили предел благочестивому желанию мальчика перейти в католичество.

Он утешал себя, играя на дешевеньком флажолете, составлявшем одно из его развлечений. Этому инструменту я был обязан многими минутами спокойствия. Однажды, вынув его по частям из кармана, юноша спросил меня, играю ли я на свирели. Я ответил: нет. Роулей вздохнул и отложил инструмент в сторону, сказав, что он воображал, будто я играю на ней. Некоторое время Роулей противился искушению; его пальцы трогали и ощупывали карман, в котором лежал флажолет; он даже перестал интересоваться видами и забыл о разговорах. Вскоре дудочка снова очутилась в руках моего слуги. Он свинтил ее, развинтил, снова свинтил и глухо взял несколько нот.

– Я сам немножечко играю, – сказал Роулей.

– Да? – переспросил я и зевнул.

Тут он не выдержал:

– Мистер Раморни, сделайте одолжение, скажите мне, будет ли вас беспокоить, если я поиграю немножко?

С этой минуты звуки флажолета служили нам увеселением во время дороги.

Роулей особенно подробно расспрашивал о битвах, отдельных поединках, любил слушать рассказы о случаях во время разведочных экспедиций и так далее, он перемешивал все это с подвигами Уоллеса, единственного героя, который был несколько знаком ему. В энтузиазме юноши не звучало ничего притворного, его восторженные речи вселяли симпатию к нему. Когда он узнал, что мы едем в Шотландию, то воскликнул: «Значит, я увижу места, где жил Уоллес!» Затем он вдался в рассуждения, говоря: «Странная вещь, сэр, я, по-видимому, склонен любить не то, что следует. А между тем я англичанин и горжусь этим! Господи Боже, конечно, горжусь! Пусть-ка ваши французы явятся сюда, вы увидите, правду ли я говорю. О, да, я англичанин до мозга костей. А между тем подумайте-ка! Мне попалась книга о Виллиаме Уоллесе, и я тотчас потерял от него голову. Я никогда прежде не слышал о таком человеке. Потом появились вы, и я увлекся вами. Простите меня, мистер Раморни, но вам будет нетрудно ничего не предпринимать против Англии (он говорил, проглатывая слова, точно что-то очень горячее), пока я буду с вами?»

Слова моего слуги невыразимо смутили меня.

– Роулей, – сказал я, – не бойтесь. Насколько я люблю мою собственную честь, настолько постараюсь охранять и вашу. Мы оба выказываем друг к другу миролюбивые братские чувства, как это делается между солдатами, стоящими на сторожевых постах. Когда послышится призывный звук трубы, мое дитя, мы сделаемся противниками; один станет сражаться за Англию, другой за Францию, и да поможет правому Бог! Так говорил я, но, несмотря на мою наружную бодрость, юноша ранил меня в самое чувствительное место! Его слова продолжали звучать в моих ушах. Целый день не мог я отделаться от полных раскаяния мыслей. Когда же настала ночь (помнится, мы провели ее в Личфильде), я был не в состоянии сомкнуть глаз. Я погасил свечу и лег, надеясь заснуть; но в ту же минуту вокруг меня стало светло, точно в театре, и я увидел на подмостках самого себя, игравшего неблагородные роли. Я вспомнил Францию и моего императора, судьба которых зависела от исхода войны; я представил себе, как они, приниженные, упав на колени, бьются против множества нападающих на них врагов. Меня жег стыд при мысли, что я остаюсь здесь, в Англии, с наслаждением пользуюсь английским богатством, стараюсь свидеться с англичанкой, любимой мной, вместо того, чтобы с мушкетом в руках сражаться на моих родных полях, вместо того, чтобы готовиться, в случае поражения, удобрить своей кровью родную землю... Я вспомнил, что я принадлежу Франции. Все мои предки сражались за нее, многие из них пали в бою. Мой голос, мое зрение, слезы, стоявшие теперь в глазах, все мое существо было французским, рожденным от матери-француженки, меня воспитывали и ласкали самые прекрасные, самые несчастные из дочерей Франции. Я бился и побеждал рука об руку с сынами моей родины... И вдруг мне, солдату, дворянину, потомку самого гордого, храброго народа Европы, напомнило о моей обязанности замечание англичанина-лакея, разболтавшегося в английской карете. Ясно осознав истинное положение вещей, я недолго оставался в нерешительности. Как только в моей душе выяснилось, что любовь и честь вступили в старинную классическую борьбу, я не стал раздумывать. Меня зовут Сент-Ив де Керуэль! Я решил на следующее же утро отправиться в Вэкфильд, к Бренну, и как можно скорее сесть на корабль и поспешить в мое, наводненное врагами отечество, на помощь моему окруженному неприятелем императору. Движимый этим решением, я вскочил с постели, зажег свечу и в то время, когда сторож, проходя по улицам Личфильда, выкрикивал: «Половина третьего!», набросал первые строки прощального письма к Флоре. Однако влияние ночного холода или что-либо другое вызвало во мне одно воспоминание: я мысленно услышал лай овчарки и увидел двух людей с покачивающейся походкой, с лицами, запачканными табаком, две фигуры, завернутые в одинаковые пледы и с одинаковыми толстыми дубинками в руках. Мне стало страшно стыдно, что я в течение такого долгого времени совершенно забывал о погонщиках и недавно с таким равнодушием думал о них. Их образы напомнили мне, в чем состоял мой истинный долг! Став частным человеком, я не был ни французом, ни англичанином; прежде всего, на мне лежала обязанность поступать как джентльмену и честному человеку. Мне следовало избавить Сима и Кэндлиша от наказания за мой несчастный удар палкой. Я молчаливо обязался честью помочь им. Моему характеру совершенно чужд утонченный стоицизм, заставляющий человека приносить личные и частные обязанности в жертву политическому долгу. Если в течение этого промежутка времени Франции суждено погибнуть из-за того, что в числе ее защитников не окажется Анна де Сент-Ива – пусть она погибает! Я почувствовал и удивление, и стыд при мысли, что такая ясная обязанность столько времени лежала на мне, а между тем я забывал о ней. Полагаю, что многие поймут меня, когда я скажу, что лег спать со спокойной совестью, а утром проснулся с легким сердцем. Сама опасность моего предприятия придавала мне спокойствие. Я предполагал самое худшее, а именно, что для спасения Сима и Кэндлиша мне придется объявить свое имя (что повлекло бы для меня такие последствия, о которых я и думать страшился). Однако даже в случае моего неуспеха, конечно, никому не могло бы и в голову прийти, что из двух обязанностей я выбрал более

легкую и спокойную. Мы продолжали путешествовать с большим рвением, нежели прежде, и поэтому ехали день и ночь, останавливаясь только на самое короткое время, чтобы поесть; я возбуждал усердие почтальонов, раздавая им деньги на водку не менее щедро, чем Алэн. Еще немножко, и я взял бы четырех лошадей, – так спешил я убежать от проснувшейся совести. Однако я побоялся возбудить подозрения. Мы и без того привлекали к себе большое внимание несшейся парой лошадей и малиновой, стоившей семьдесят фунтов, каретой, заметной, как белый слон.

Между тем мне было совестно смотреть в глаза Роулею. Молодой брадобрей пробудил во мне сознание того, что я был совершенно неправ; из-за него я провел бессонную ночь и пережил жестокий благодетельный стыд. Я чувствовал большую благодарность к нему и ощущал в его присутствии неловкость. Это мне совершенно не нравилось, так как противоречило всем моим идеям насчет дисциплины. Я считал, что если офицер будет краснеть перед солдатом или господин перед слугой – выходом из этого положения послужит только смерть или отставка одного из заинтересованных лиц. Поэтому я с восторгом ухватился за спасительную идею учить Роулея французскому языку, родившуюся в моем мозгу. И вот после остановки в Личфильде я превратился в рассеянного учителя, а Роулей стал неутомимым, но... как выразиться?.. несчастным учеником, не имевшим вдохновения. Его не переставало интересовать ученье, он мог двадцать раз подряд слушать одно и то же слово с глубоким вниманием, он мог на двадцать способов исковеркать его произношение и, в конце концов, с чудодейственной быстротой снова забыть то, что старался запомнить. Предположим, мы учили слово «стремя».

– Кажется, я не помню его, мистер Анн, – говорил Роулей, – оно как-то не остается у меня в уме. Когда же я повторял ему «Etrier», он вскрикивал: «Ну, да, конечно, оно вертелось у меня на языке – éterier!» (точно какой-то недобрый инстинкт заставлял его непременно ошибаться).

– Как бы мне удержать его в памяти? Да, оно похоже на английское слово interior (внутренний). Конечно! Я не забуду теперь его, вспоминая, что стремя не находится внутри лошади!

Когда же при первом удобном случае я спрашивал его, как называется по-французски стремя, Роулей или совершенно ничего не мог ответить на мой вопрос, или говорил: exterior (наружный). Однако Роулей не терял мужества. Мне кажется, он воображал, что наши занятия идут как следует. Юноша ежедневно с улыбкой спрашивал меня: «Что же, сэр, займемся мы французским языком?» Я принимался спрашивать его, давал пространные объяснения, но никогда не слышал ничего похожего на ответ. У меня просто руки опускались; я чуть не плакал, думая о том, что Роулей до сих пор не научился ровно ничему, что ему предстояло еще узнать такое громадное количество слов. Период наших уроков начинался для меня длинным до бесконечности, я воображал себя столетним учителем, а Роулея девяностолетним учеником, все еще бьющимися над первоначальными трудностями.

Близость, неминуемо рождающаяся во время путешествия, совершенно не испортила этого несчастного малого, на каждой станции он превращался в образцового слугу, ловкого, вежливого, быстрого, внимательного; он как автомат поднимал руку к своей шляпе, улыбающейся почтительностью он возвышал мистера Раморни в глазах всей гостиницы и, казалось, был способен научиться всему, кроме французского языка.

Глава XXIII

Приключение с бежавшей четой

Характер местности изменился. По тысяче признаков я видел, что мы приближались к Шотландии, об этом говорили горы, это виделось в размерах деревьев, слышалось в журчании ручейков, струившихся вдоль большой дороги. Мне приходило в голову, что я также приближался к довольно знаменитому в Британии месту, к Гретна-Грину. По той дороге, вдоль которой мы ехали с Роулеем, развлекаясь звуками фляголета и уроками французского языка, пронеслось много-много влюбленных, направляясь к северу и слыша только музыку шестнадцати ударявших о шоссе лошадиных копыт; много-много раздраженных людей – родителей, дядей, опекунов, отвергнутых любовников стремилось вслед за ними. Сколько красных, разгоряченных лиц преследователей смотрело на эту дорогу, прижимаясь к стеклам окон. Сколько золота лилось из их карманов на почтовых станциях, сколько раз их руки заряжали и разряжали мстительные пистолеты. Но я совершенно не думал ни о чем подобном до тех пор, пока случайно не сделался действующим лицом в одной из драм такого рода. Я сыграл роль Провидения относительно жизней других людей, в то мгновение к моему величайшему восхищению, а впоследствии к глубочайшему сожалению.

На одном довольно безобразном повороте дороги, круто поднимавшейся вверх, я увидел сломанную карету, осевшую на бок. Посреди дороги стояли мужчина и женщина; они оживленно разговаривали о чем-то; два фореитора, каждый со своей парой лошадей, смотрели на них с седел и пересмеивались.

– Господи, карета разбита! – крикнул Роулей и спрятал в карман свирель, не доиграв мелодию песенки «Маленький островок».

Быть может, я был в то время чувствительнее к нравственным потрясениям, нежели к физическим, думал более о разбитых сердцах, нежели о разбитых каретах, только я сразу увидел, что беглецы поставлены в крайне тяжелое, досадное положение. Смех членов низшего класса всегда дурной признак, юмор этих людей груб, в нем есть что-то злое. В данном же случае беглец мчался на четырех лошадях и, вероятно, не скупился; с ним ехало очаровательнейшее в мире существо, а между тем он возбуждал так мало уважения к себе, что собственные его фореиторы смеялись над ним. Объяснить подобное положение вещей можно было, лишь допустив, что человек этот глупец и не джентльмен.

Я сказал, что посреди дороги стояли мужчина и женщина, но мог бы с таким же правом назвать их мужчиной и ребенком. Девушке, прелестной как ангел и достаточно пухленькой, чтобы свести с ума святого, не могло быть более семнадцати лет. Ее одежда, начиная от чулочек и кончая прелестным капором, представляла целую гамму оттенков синего и голубого цвета; самый прелестный тон этой гаммы блеснул на меня из ее выразительных глаз. Я сразу догадался обо всем, что произошло с бедняжкой. Она бросила закрытый пансион, школьный пюпитр, фортепиано, сонатины Клементи и решила на безрассудное бегство в обществе полуобразованного нахала; теперь же не только уже сожалела о своем поступке, но даже резко и жестко говорила своему спутнику о раскаянии, переполнявшем ее сердечко.

Когда я вышел из кареты, их беседа смолкла, и на лицах обоих беглецов появилось то выражение, по которому можно было безошибочно сказать, что между ними происходила сцена, только что прервавшаяся. Я поклонился молодой красавице и предложил ей свои услуги.

Ответил мне ее спутник, сказав:

– Нам нечего хитрить: мы бежали, ее отец гонится за нами. Направлялись мы в Гретну, сэръ, эти дураки завезли нас в колею, и карета сломалась.

– Досадное происшествие, – заметил я.

– Кажется, никогда в жизни не случилось мне досадовать сильнее! – крикнул он и со смертельным ужасом взглянул на дорогу в ту сторону, по которой приехали и они, и я.

– Без сомнения, отец очень рассержен? – вежливо продолжал я.

– Боже ты мой! – произнес похититель. – Словом, сэр, как вы видите, нам необходимо придумать что-нибудь. И я даже имею нечто в виду, может быть, моя просьба покажется вам слишком смелой, но в крайности не рассуждают о законах вежливости. Итак, если бы вы, сэр, одолжили нам вашу карету до ближайшей станции, это вывело бы нас из затруднения.

– Сознаюсь, ваше предложение действительно смело, – ответил я.

– Что вы говорите, сэр? – угрюмо буркнул он.

– Я согласился с вами, – сказал я. – Действительно, вы довольно смелы, кроме того, это не нужно. Все, как мне кажется, можно устроить иначе. Без сомнения, вы ездите верхом?

По-видимому, мой вопрос коснулся предмета недавней ссоры беглецов, и похититель молодой красавицы предстал передо мной в своем настоящем свете.

– Да ведь я же это и говорю ей. Проклятие! Она должна сесть на лошадь! – кричал он. – И так как этот господин держится того же мнения, вы поедете верхом, черт побери!

Он сделал движение, чтобы схватить ее руку подле кисти, но она с ужасом отодвинулась от него.

– Нет, сэр, – возразил я, – этого не будет.

Он с бешенством обернулся ко мне и крикнул:

– Кто вы такой? Какое право имеете вы вмешиваться?

– Вопрос не в том, кто я такой, – возразил я. – Будь я хоть дьяволом или архиепископом кентерберийским – вам этого незачем знать. Дело в том, что я могу помочь вам, а, очевидно, от кого-нибудь другого вам нечего ждать помощи. Я сейчас объясню, как было бы возможно устроить все. Я предлагаю вашей спутнице место в моей карете, если вы, в свою очередь, окажете мне любезность и позволите моему слуге ехать на одной из ваших лошадей.

Мне почудилось, что похититель девушки готов схватить меня за горло.

– Во всяком случае, у вас есть другой выход: вы можете здесь ожидать прибытия папы, – прибавил я.

Мое замечание усмирило беглеца, он снова испуганно оглянулся на дорогу и сдался.

– Конечно, моя спутница очень благодарна вам, сэр, – чрезвычайно любезно проговорил он.

Я подал руку юной беглянке, и она, точно птичка, впорхнула в карету. Роулей закрыл за нами дверцу, усмехаясь во весь рот. Когда мы двинулись вперед, нахальные фореиторы громко расхохотались; мой кучер пустил лошадей быстрой рысью. Очевидно, решительно все подозревали, что я сыграл великолепную штуку и похитил невесту у похитителя.

Я украдкой взглянул на молоденькую беглянку; она была в самом жалком состоянии духа, ее ручки, покрытые черными ажурными митенками, так и дрожали, лежа на коленях.

– Сударыня... – начал я.

К ней в то же мгновение вернулась способность говорить, и она произнесла:

– О, что вы должны думать обо мне!

– Сударыня, – сказал я, – что должен думать порядочный человек при виде юности, красоты и невинности в несчастье? Мне хотелось бы иметь право сказать вам, что я настолько стар, что мог бы быть вашим отцом. Но, к сожалению, я не могу сказать этого. Однако я сообщу вам нечто о себе, что будет иметь подобное же значение и успокоит ваше юное сердечко. Я влюблен. Не все английские тонкости мне известны, и потому я не знаю, следует ли мне говорить, что я люблю верно и неизменно. Есть на свете одно чудное существо... Я восхищаюсь им, я люблю его, я повинуюсь ему. Если бы эта девушка была здесь, она обняла бы вас. Представьте себе, будто она послала меня к вам, сказав: «Будь ее защитником».

– О, конечно, она должна быть мила, должна быть достойна вас! – кричала малютка. – Она никогда не позабыла бы женского достоинства, никогда не сделала бы и той ужасной ошибки, в которую я впала.

При этом голос бедняжки зазвенел на высокой ноте, и она заплакала.

Однако дело не пошло вперед: напрасно упрасивал я юную беглянку успокоиться и последовательно рассказать мне о своих несчастиях, она продолжала вести себя самым странным образом, то как благовоспитанная школьница, то как бедное создание, попавшее в фальшивое положение; выказывала то привитую к ней педантичность, то порывы горячей необузданной природы.

– Это просто было какое-то ослепление, – рыдая, говорила она, – я не понимаю, как я не видела тогда всего. Он не то... совсем не то... потом точно завеса у меня спала с глаз... О, это было ужасно. Но я сразу увидела, что вы то самое... как только вы вышли из кареты, я заметила это. Как она счастлива! И с вами я не боюсь ничуть!.. Нисколько... Я вполне доверяю вам.

– Сударыня, – заметил я, – вы с джентльменом.

– Да, да, это я и хотела сказать, вы – джентльмен! – вскрикнула она. – А он... он нет! О, как я встречу с отцом!

Она открыла свое заплаканное личико и, трагически всплеснув руками, произнесла:

– И перед всеми моими школьными подругами я опозорена!

– О, дело еще не так плохо, – горячо возразил я, – вы преувеличиваете, дорогая мисс...

Простите мою вольность, я еще не знаю вашего имени.

– Меня зовут Дороти Гринсливс, сэр. Зачем мне скрывать это? Боюсь, что мое имя войдет в новую поговорку, которая будет повторяться следующими поколениями. А я-то желала совсем другого! Право, в целом графстве не могло найтись ни одной молодой девушки, которой больше меня хотелось бы, чтобы о ней думали хорошо. И какое падение! О, Боже, какая я скверная, глупая девчонка! И нет никакой надежды! О, мистер...

Она прервала свою речь и спросила мое имя. Я не пишу собственное похвальное слово для академии, пожалуй, я поступил непростительно глупо, но я сказал ей мою истинную фамилию. Если бы вы сидели на моем месте и видели эту восхитительную девушку, еще совершенного ребенка душой и летами, если бы вы слышали, как она рассуждала, точно читая по книге, сколько юной пансионской наивности было в ее манерах, как невинно отчаивалась она, вы, вероятно, тоже сказали бы ей ваше имя. Она повторила его за мной.

– Я всю мою жизнь буду молиться за вас, – сказала она. – Ложась спать, я каждый вечер буду вспоминать вас, повторяя ваше имя.

Наконец, мне удалось заставить ее рассказать ее историю. Мои ожидания оправдались. Я услышал рассказ о школе, о саде, обнесенном стеной, о фруктовом дереве, скрывавшем скамейку, о встречах в церкви, об обмене цветами и обетами через садовую стену, о безумной подруге, служившей посредницей, о карете, запряженной четверней, о быстром и полном разочаровании маленькой юной беглянки... И теперь уже ничего нельзя сделать! В заключение она сказала, заливаясь слезами: «О, виконт де Сент-Ив! Кто бы подумал, что я могу быть таким слепым, гадким ослом!»

Мне следовало еще раньше сказать вам, что нас нагнали два форејтора, Роулей и мистер Беллами, то есть спутник мисс Гринсливс (однако я совершенно не помню, когда они подъехали к нам). Четыре наездника составляли что-то вроде нашего кавалерийского эскорта; они то скакали впереди кареты, то позади нее: Беллами время от времени подъезжал к окну и принуждал нас вступать с ним в разговор. Он слышал такие неласковые ответы, что я готов был пожалеть бедняка, особенно вспоминая, с какой высоты он упал, как недавно мисс Гринсливс бросилась к нему в объятия, пылая румянцем, сгорая от любви. Ну, судьба обыкновенно поражает людей недостойных. Теперь Беллами служил законным предметом моего сожаления и привлекал к себе насмешки своих кучеров.

– Мисс Дороти, – спросил я, – вы желаете избавиться от этого человека?

– О, если бы это было возможно! – вскрикнула она. – Конечно, только не прибегая к насилию!

– Понятно, – ответил я, – отделаться от него не трудно. Мы в цивилизованной стране; этот человек преступник...

– Никогда, ни за что! – горячо сказала Дороти. – И не помышляйте об этом. Несмотря на все его заблуждения, он не преступник, я знаю это!

– Во всяком случае, он не прав перед законом, – проговорил я.

Заметив, что наши верховые порядочно опередили нас, я окликнул моего кучера и спросил у него, как зовут ближайшего судью в этой местности и где он живет? Кучер сказал мне, что архидиакон Клитеро считается крайне уважаемым лицом, что к его усадьбе ведет проселок, очень недалеко оставшийся за нами, что его дом стоит всего милях в двух от большой дороги.

– Отвезите туда эту леди, пустите лошадей вскачь.

– Слушаю, сэр, – ответил возница, – как вам будет угодно.

Невероятно скоро он повернул лошадей, и мы понеслись к югу.

Верховые быстро заметили этот маневр и последовали нашему примеру. Они скакали, до нас доносились их неясные крики. Прекрасная, приличная картина, в которой фигурировала карета с эскортом верховых, в мгновение ока превратилась в нечто вроде шумной травли. Без сомнения, форейторы и мой прелестный плут были бескорыстными актерами в этой комедии, они скакали ради удовольствия спорта, рты их улыбались, они размахивали шляпами и кричали, что кому вздумается: «Держи, держи! Стой, вор! Бродяга, разбойник!». Не то было с Беллами. Едва заметив, что мы переменили направление, он так резко повернул свою лошадь, что бедное животное чуть не упало затем Беллами погнался своего скакуна что было духу. Когда он подъехал поближе, я увидел, что смертельная бледность покрывала его лицо, и что он держал в руке пистолет. Я обернулся к молоденькой девушке, недавно еще бывшей его невестой, но теперь переставшей быть ею. Она отшатнулась от окна и нагнулась ко мне.

– О, не дайте ему меня убить! – воскликнула она.

– Не бойтесь, – ответил я.

Лицо Дороти исказилось от ужаса, инстинктивным движением ребенка она ухватилась за меня своими ручками. Карета внезапно подскочила; при этом мои ноги отделились от пола экипажа, и вскоре мы с Дороти снова упали на сидение. Почти в то же мгновение голова Беллами заглянула в окно, которое маленькая мисс оставила открытым.

Вообразите следующее положение: малютка и я падаем или только что упали на сидение, откинувшись назад и представляя собой крайне странную, двусмысленную картину. Карета бешено несется вдоль большой дороги, покачиваясь на выбоинах...

Голова, рука и пистолет Беллами очутились в карете, но так как его конь скакал еще быстрее, нежели мои лошади, ему почти в то же мгновение пришлось отшатнуться назад. Все это произошло в течение одной секунды. Однако исчезая из окна кареты, отвергнутый жених послал нам пистолетную пулю; нечаянно или нарочно выстрелил Беллами – я не знал и никогда не узнаю этого, он же, вероятно, теперь забыл обо всем, что случилось в тот день... Полагаю, что Беллами хотел только напугать нас и принудить остановиться. Когда раздался выстрел, маленькая мисс жалобно закричала; Беллами, вероятно, решив, что он ранил ее, соскочил с лошади, точно преследуемый фуриями, перепрыгнул через изгородь и необычайно быстро исчез из виду.

Роулею хотелось броситься за Беллами, но я удержал его, считая, что мы отлично отделались от бешеного человека, поплатившись только царапиной на моем плече и отверстием в левой стенке малиновой кареты. Теперь мы более приличным образом продолжали наш путь к архидиакону Клитеро. Благодарности маленькой мисс не было пределов. Вся эта драматическая сцена и то, что ей было угодно называть моей раной, вызвали ее безграничное восхищение.

Она непременно хотела перевязать мое плечо своим носовым платком и со слезами оказала мне эту услугу. Я охотно отказался бы от ее нежностей, так как не люблю, чтобы меня ставили в смешное положение. К тому же пуля только едва задела меня, и на моем плече остался знак не глубже кошачьей царапины. Говоря правду, я охотнее поручил бы заботливости мисс Гринсливс мой рукав, гораздо сильнее пострадавший при этом столкновении, однако я был слишком благоразумен, чтобы начать разочаровывать мою спутницу. Мысль о том, что ее спас герой, раненый при столкновении с отвергнутым женихом, и что она перевязала рану храбреца своим носовым платком (который даже не мог покраснеть от крови!), поднимала ее в своих собственных глазах; мне чудилось, что я слышу, выражаясь слогом знаменитой миссис Радклиф, как она рассказывает это приключение своим школьным подругам.

Вскоре показалось жилище архидиакона. Подле подъезда его дома стояла карета, запряженная четверкой взмысленных лошадей; экипаж отъехал, чтобы дать нам место. В ту минуту, как мы вышли из кареты, из дома появился высокий священник, за которым шел маленький румяный человечек с упрямым выражением лица, он в сильнейшем волнении размахивал над своей головой свертком бумаги. Завидев толстяка, Дороти бросилась перед ним на колени с жаркой трогательной мольбой, она уверяла его, что вполне исцелилась, горько раскаивается в своем непослушании и просит его простить ее. Вскоре я увидел, что ей нечего бояться излишней суровости со стороны мистера Гринсливса. Он выказал большую любовь к дочери, говорил громко, осыпал Дороти ласками и проливал обильные слезы.

Чтобы сделать свое положение более ловким, а также с целью уехать, как только это окажется возможным, я стал расплачиваться с форейторами Беллами. Они не имели права предъявлять мне никаких претензий, только одно обстоятельство могло касаться их: я был беглецом, но этого они даже не подозревали. Худшая сторона фальшивого положения заключается в том, что для человека, попавшего в него, возбужденное им чувство благодарности превращается в опасность. В подобных случаях вам не следует порождать неудовольствие против себя, но вы не должны также и оставлять на своем пути чересчур благодарных людей. Однако все, что произошло в этот день, было страшно неожиданно и сильно напоминало пятый акт мелодрамы, театральную развязку с выстрелами, похищением почтовых лошадей и так далее, а потому я видел, что замаять дела невозможно. Казалось очевидным, что в кухнях и людских гостиниц миль на тридцать кругом станут долго толковать о нашем бегстве. Мне оставалось только постараться сделать благодарность форейторов по возможности менее опасной для меня, то есть дать им столько, чтобы они не могли ворчать, но в то же время не так много, чтобы моя щедрость вызвала желание похвастаться подачкой. Я принял слишком поспешное и неумное решение. Один из кучеров от удовольствия поплевал себе на руки, другой, в порыве внезапного благочестия, стал с жаром просить Бога благословить меня. По-видимому, готовилась демонстрация, и я уже начал подумывать об отъезде, велел моему мнимому кучеру Роулею приготовиться. Я снова поднялся на террасу и со шляпой в руке подошел к мистеру Гринсливсу и архидиакону, говоря:

– Надеюсь, вы извините меня за мой поспешный отъезд, но я считаю, что мне не годится нарушать приятную сцену семейных излияний, которую я подготовил до известной, очень маленькой степени.

Мои слова вызвали целую бурю.

– До известной степени, сэр! – закричал Гринсливс. – Что вы говорите, мистер Сент-Ив! Я знаю, кого мне следует благодарить за то, что моя дорогая вернулась ко мне, и за ее спасение от этого негодяя! Пожмите мне руку, да крепче, сэр! Конечно, вы француз, но вы порядочный, хорошо воспитанный человек, ей-Богу. Ей-Богу, сэр, я ни в чем не откажу вам, попросите вы хоть руку моей Долли, ей-Богу!

Он кричал это очень громко; казалось удивительным, что из такого маленького тела мог вылетать такой мощный голос. Слуги, вышедшие из дому и стоявшие вокруг нас на террасе,

слышали каждое слово, благодарные речи отца Долли долетали также до Роулея и до пятерых кучеров, ожидавших внизу. Чувства, выраженные Гринсливсом, разделялись большинством, какой-то осел, которого дьявол хотел сделать моим врагом, предложил прокричать в мою честь трехкратное ура, и все охотно приняли это предложение. Может быть, было лестно слышать, как мое имя отдавалось в горах Вестморлэнда, но это не представлялось мне удобным в то время, когда (как я твердо верил) объявления полиции обо мне расходились во все стороны со скоростью ста миль в день.

Однако и тем дело еще не окончилось. Архидиакон непременно пожелал хорошенько познакомиться со мной и угостить меня своим вест-индским хересом. Меня провели в большую прекрасную библиотеку и представили жене Клитеро. Пока мы, сидя в библиотеке, распивали херес, на террасу вынесли эля. Говорились спичи, пожимались руки, по собственному желанию Гринсливса маленькая мисс поцеловала меня на прощанье, общество вышло за мной на террасу. Пока карета не скрылась у них из виду, все эти люди махали шляпами и платками, кричали мне напутственные пожелания, их голоса так и отдавались в окрестных горах.

Эхо гор тихонько шептало мне на ухо: «Глупец, глупец, ты погубил себя!»

– Очевидно, они узнали ваше имя, мистер Анн, – сказал Роулей, – только теперь уже я не был виноват.

– Это произошло вследствие одной из тех случайностей, которые никак нельзя предусмотреть, – проговорил я с чувством достоинства, хотя в это мгновение совершенно не ощущал его. – Меня узнали.

– Кто же именно, мистер Анн? – спросил мой мошенник.

– Это бессмысленный вопрос; не все ли равно кто? – ответил я.

– О, нет! – вскрикнул Роулей. – Я говорю, мистер Анн, сэра, славная вышла каша, правда? Мне кажется, теперь весь вопрос в вознице...

– Я не понимаю вас, Роулей.

– Я хочу сказать, что должны мы сделать вот с этим человеком? – спросил мальчик, указывая на кучера, заштопанные панталоны которого то показывались, то скрывались в такт лошадиной рыси. Утром вас при нем называли мистером Раморни. Я очень внимательно следил за тем, чтобы не проговориться, может быть, вы заметили это? Теперь же он слышит, что ваше имя мистер Сент-Ив. А что он услышит далее? Вот это соображение беспокоит меня. Мне кажется, будто подобное положение совсем не *stratégie*, как говорится по-французски.

– *Parbleu*, – крикнул я, – оставьте вы меня в покое! Мне нужно подумать. Вы даже не подозреваете, как ваша постоянная идиотская болтовня мне надоедает!

– Прошу извинения, мистер Анн, – проговорил мальчик и через мгновение прибавил: – Вам не угодно будет заняться со мной французским языком, мистер Анн?

– Нет, – ответил я, – играйте на флажолете.

Он последовал моему совету, как мне показалось, с оттенком иронии.

Сознание собственной неправоты превращает нас в трусов. Мысль, что я вел себя глупцом, тяготила меня, воспоминание о наделанных мною промахах заставляло меня избегать взгляда моего слуги-полуробенка, в невинных звуках его дудочки я слышал себе оскорбление.

Я снял сюртук и принялся по-солдатски зашивать его. Ничто более шитья не возбуждает способности думать, особенно в затруднительных случаях жизни. И вот мало-помалу в голове моей просветлело: прежде всего мне следовало отделаться от малиновой кареты; я решил на следующей же станции продать ее за какую бы то ни было цену. «Мы с Роулеем, – думалось мне, – отправимся пешком и, отойдя на достаточно большое расстояние, снова возьмем новые имена и сядем в какой-нибудь дилижанс, идущий в Эдинбург. Столько беспокойства и труда, столько опасности, столько издержек и потери времени из-за излишней болтливости с маленькой девушкой в синем платье!»

Глава XXIV

Содержатель почтового двора в Киркби-Лонсделе

В моей душе жил один идеал, к которому я до известной степени несколько раз приближался. Я и Роулей, двое прекрасно одетых, живых молодых людей с блестящими глазами, выходим из малиновой кареты проворно и весело, точно пара аристократических мышек. Мы занимаемся только нашими собственными делами, разговариваем только между собой, выказывая при этом прекрасное воспитание. Мы с видом приличных, несколько озабоченных путешественников проходим через маленькую толпу, стоящую у дверей, в нас видно безобидное высокомерие, которое я копирую с лучших английских образцов; в конце концов мы исчезаем в гостинице, и нас сопровождает зависть и восхищение присутствующих; мы кажемся образцовыми господином и слугой, совершенствами во всех смыслах. Малиновая карета подъехала к гостинице в Киркби-Лонсдель, и я с тяжестью на сердце подумал, что нам предстоит проделать эту маленькую комедию в последний раз. Увы, если бы я знал, как неудачно пройдет она!

Относительно форейторов Беллами я выказал неблагоразумную щедрость. Теперь мой собственный кучер в штопаных панталонах смотрел на меня жадным взглядом и протягивал ко мне руку. Очевидно, он ожидал, что я дам ему на водку необычайно большую сумму. Я подумал о том, что мы ехали то в одну, то в другую сторону и тем удлиннили путь, которым он взялся провезти нас; я принял в соображение воинственный характер моего столкновения с Беллами, вспомнил, какой дурной пример показал я кучеру в доме архидиакона, и потому решил, что мне следует дать ему сумму побольше. Но вопрос о деньгах на водку – дело крайне щекотливое, в особенности для иностранца: не доплатишь – покажешься скрягой, дашь на один шиллинг больше, чем следовало, и твоя щедрость станет подозрительной, примет вид платы за молчание. Еще находясь под свежим впечатлением сцены, происходившей у архидиакона, и думая о том, что теперь я скоро отделаюсь от ответственности, которую малиновая карета навлекла на меня, я положил в руку кучера пять гиней, но эта сумма только разожгла его корыстолюбие.

– О, сэръ, не воображайте, что вы одурачите меня, дав мне такую сумму. Мне ведь пришлось-таки повозиться с вами! – крикнул он.

Дать ему больше не годилось, я чувствовал, что в этом случае я стал бы басней всего Киркби-Лонсдела. Поэтому я взглянул на него сурово, но все еще не переставая улыбаться, и сказал твердым голосом:

– Если вам не нравятся мои деньги, отдайте их назад.

Кучер с быстротой фокусника спрятал гиней и принялся, как низкий бродяга, осыпать меня бранью.

– Как вам будет угодно, мистер Раморни, или мистер Сент-Ив, или как там будет ваше благословенное имя! Вот, – обратился он к конюхам, – вот в чем было дело. Очень приятное дело, нечего сказать! Беру я этого благословенного господинчика – он называет себя одним именем, и через некоторое время оказывается, что он *мусью*. Я целый день возил его, и чего, чего тут не было, и скачка-то, и пистолетные выстрелы, и питье хереса и эля. А что он дал мне? Жалкую-прежалкую монету.

Затем выражения кучера стали уже до того сильны, что я пропускаю их.

Я смотрел на Роулея: он еле стоял на месте – еще минута, и юноша сделал бы наше положение до крайности смешным, вступив в драку с кучером.

– Роулей! – сердито крикнул я.

Говоря строго, мне следовало назвать его Гаммоном; однако я надеюсь, что в суматохе никто не заметил моей оплошности. Вдруг я увидел содержателя почты, длинного, худого человека со смуглым желчным лицом. У него был большой нависший нос юмориста и быстрый

наблюдательный взгляд смышленного человека. Он в мгновение ока подметил мое смущение, сейчас же выступил вперед, полусловом прогнал кучера и снова очутился рядом со мной.

– Обед в отдельной комнате, сэр? Отлично. Джон, № 4! Какое вино прикажете подать? Отлично, сэр. Угодно вам приказать запрячь новых лошадей? Не угодно, сэр? Отлично.

После каждой из этих фраз хозяин делал нечто вроде поклона, а перед каждым вопросом на лице являлось нечто похожее на улыбку, без которой я отлично мог бы обойтись. Я видел, что этот человек наружно вежлив, в сущности же не перестает зорко наблюдать за мной. Сцена, которая произошла у дверей, и намеки кучера не ускользнули от него. С тяжестью на сердце прошел я наконец в указанную мне отдельную комнату, предчувствуя, что меня ожидают большие неприятности и затруднения. Я смутно понимал, что мне следует отложить продажу экипажа, но мое имя стало известно, и я до такой степени боялся прихода дилижанса с объявлениями полиции, что мне казалось, что я не буду в состоянии ни спать, ни есть спокойно, пока не отделаюсь от малиновой кареты.

Пообедав, я послал к хозяину почтового двора и пригласил его выпить со мной стакан вина. Он явился на зов, мы обменялись обычными вежливостями, затем я приступил к моему делу.

– Кстати, – сказал я, – во время дороги на нас было сделано нападение. Вы, вероятно, слышали об этом?

Он утвердительно кивнул головой.

– И мне так не посчастливилось, что пистолетная пуля попала в стенку моей кареты. Вы никого не знаете, кто захотел бы ее купить?

– Я вполне понимаю вас, – проговорил содержатель почты. – Я сию минуту рассматривал карету, она теперь почти что никуда не годится. Ведь никто не любит экипажей с знаками от пуль. Это общее правило.

– Следы пули слишком напоминают о «Романе в лесу», – подсказал я, вспомнив моего маленького друга, бывшего моим утренним спутником, и те книги, которые, как я был уверен, составляли любимейшее чтение этого юного создания.

– Вот именно, – сказал мой собеседник, – быть может, подобный взгляд справедлив, может быть, и нет, я не берусь судить об этом. Однако естественно, когда почтенные люди любят, чтобы кругом них все было порядочно, им не нравятся отверстия от пуль, кровавые пятна, люди, скрывающиеся под чужими именами.

Я взял рюмку и поднял ее, чтобы показать, что моя рука вполне спокойна, и сказал:

– Да, полагаю, что так.

– Без сомнения, у вас есть бумаги, доказывающие, что вы истинный владелец кареты?

– Вот уплаченный и заштемпелеванный счет.

Содержатель почтового двора взглянул на бумагу и спросил:

– А больше у вас ничего нет?

– Мне кажется, этого вполне достаточно, – ответил я. – Из бумаги видно, где я купил экипаж и сколько заплатил за него.

– Право, не знаю, – проговорил он. – Вам бы следовало показать мне удостоверение личности.

– Личности кареты? – спросил я.

– Совсем нет, удостоверение вашей личности, – был ответ.

– Милейший, опомнитесь! – произнес я. – Мои документы спрятаны в этой шкатулке, но вы, вероятно, не серьезно предполагаете, будто я позволю вам рассматривать их.

– Ну-с, видите ли, вот эта бумажка доказывает, что какой-то мистер Раморни заплатил за карету семьдесят фунтов, – сказал хозяин гостиницы, – это прекрасно, но кто докажет мне, что вы – мистер Раморни.

– Негодяй! – крикнул я.

– Называйте меня как угодно, – проговорил он, – негодяй, по-вашему, пожалуйста! Дело от этого не изменится. Я негодяй, упрямый негодяй, бесстыдный негодяй, если вам угодно, но сами-то вы кто? Я слышу, что у вас два имени, что вы увезли молодую женщину, что вам кричали «ура» называя французом. Это мне кажется довольно-таки странным; за одно я могу поручиться, а именно за то, что у вас душа ушла в пятки, когда кучер принялся болтать. О вашей личности мне известно недостаточно, а потому я побеспокою вас, попросив показать мне ваши бумаги или предложив вам отправиться к судье. Выбирайте любое. Я вам не ровня, но я надеюсь, что лица судебного ведомства достаточно почтенные люди, что им вы покажите ваши бумаги.

– Милейший, – пробормотал я, запинаясь; (голос вернулся ко мне, но я еще не был в состоянии управлять собой). – Это все до крайности необыкновенно, до крайности грубо! Неужели в Вестморлэнде принято оскорблять порядочных людей?

– Это зависит от обстоятельств, – ответил он. – Если подозревают, что джентльмен шпион – это принято, да и хорошо, что принято. Нет, нет! – крикнул он, заметив, что я сделал движение. – Обе руки на стол. Я не желаю, чтобы в стенах моей кареты были следы от пуль.

– Вы страшно несправедливы ко мне, – проговорил я, теперь уже вполне владея собой. – Я сижу, как статуя спокойствия. Вы не испугаетесь, если я налью себе вина?

Я стал говорить ироническим тоном чисто с отчаяния. У меня не было ни плана, ни надежды. Я только чувствовал, что лучше протянуть еще несколько минут. «По крайней мере, – думал я, – я не сдамся до последней возможности».

– Что же, следует мне принять ваши слова за отказ? – спросил он.

– Относительно вашего недавнего любезного предложения? – произнес я. – Милейший сэръ, я предоставляю вам принять их, как вы говорите, за отказ. Конечно, я не покажу вам моих документов; без сомнения, я также не встану из-за стола и не поплечусь к вашим «лицам судебного ведомства». Право, я не желаю тревожить моего пищеварения, и меня очень мало интересуют мировые учреждения.

Он наклонился почти к самому моему лицу и протянул руку к сонетке.

– Посмотрите-ка сюда, мой прекрасный собеседник, – проговорил он. – Вы видите этот шнурок? Так знайте же, что внизу стоит слуга; стоит только колокольчику прозвонить, и лакей отправится за кон-стэблем.

– Да, – ответил я, – о вкусах не спорят. Лично я не люблю общества констеблей, но если вам угодно, чтобы один из них явился к нашему десерту... – Я слегка пожал плечами и прибавил: – Знаете, ведь все это крайне забавно. Уверяю вас, мне, как светскому человеку, страшно интересно изучать ваш оригинальный характер.

Он продолжал всматриваться в мое лицо, не отпуская сонетки и глядя мне прямо в глаза. Наступила решительная минута. Мне казалось, что мое лицо изменяется под его взглядом, что улыбка, с которой я говорю, превращается в гримасу человека, подвергшегося пытке. Кроме того, меня мучали сомнения: невинный человек, думал я, при виде дерзости и бессовестности хозяина почтового двора рассердился бы давным-давно; так терпеливо подвергаясь испытанию, я молчаливо сознавался во всем. Наконец, я не вытерпел...

– Вам не будет неприятно, если я положу руки в карманы брюк? – спросил я. – Извините, что я говорю об этом, но минуту тому назад вы были до такой степени нервны!

Мой голос звучал не вполне так, как бы мне этого хотелось, но все же произнесенное замечание сошло недурно. Я сам заметил, что говорил с дрожью в голосе, но, по-видимому, это ускользнуло от слуха моего неприятеля. Он отвернулся и глубоко вздохнул; я немедленно последовал его примеру.

– Ну, во всяком случае, у вас порядочно-таки много присутствия духа, – проговорил он, – и это мне нравится. Будьте чем вам угодно быть, я честно поступлю с вами: возьму карету с приплатой ста фунтов – и дело с концом.

– Прошу извинения, но я вас не понимаю! – крикнул я, заинтересованный его словами.

– Вы заплатите мне сто фунтов, – повторил мой собеседник, – а я возьму карету. Право, я беру немногим больше, чем следует, – прибавил он с усмешкой. – Вам ведь, так или иначе, необходимо сбыть экипаж.

Не знаю, когда я был довольнее, нежели в ту минуту, когда услышал это бессовестное предложение! Оно казалось прямо шутовским, и вряд ли можно было придумать менее соблазнительную сделку. Несмотря на все это, я обрадовался словам плута; они послужили мне предлогом расхохотаться. И я вполне отдался порыву смеха, так что даже слезы потекли у меня из глаз. Когда я немножко утихал, я устремлял глаза на лицо моего собеседника и снова принимался хохотать.

– Ах, вы, чудак! Вы уморите меня! – вскрикнул я, утирая глаза.

Мой друг смутился. Он не знал, куда ему смотреть, что сказать; по-видимому, ему в первый раз пришло в голову, что он мог и ошибаться.

– Вам, кажется, очень приятно смеяться, сэр, – сказал он.

– О, да! Я ведь оригинал, – ответил я, снова принимаясь хохотать.

Наконец он уже совершенно другим тоном предложил мне двадцать фунтов за карету; я запросил больше, мы сошлись на двадцати пяти, я, действительно, был рад продать экипаж за что угодно и торговался не из выгоды, а чтобы обеспечить себе безопасное отступление, потому что хотя вражда наша прекратилась, но мой собеседник еще далеко не успокоился: в его сумрачных глазах, все еще всматривавшихся мне в лицо, я ясно видел, что его подозрения не умерли. Наконец они выразились в словах:

– Все это прекрасно, вы отлично ведете ваши дела, но тем не менее я обязан исполнить свой долг.

Самое сильное средство я приберегал напоследок: мне оставалось в виде мщения сжечь мои корабли. Я вскочил и произнес:

– Уйдите из комнаты! Это невыносимо! Сумасшедший вы, что ли?

Затем, как бы отчасти устыдившись вспышки, я прибавил:

– Я отлично понимаю шутки, но это уже переходит всякие границы. Пришлите мне моего слугу и счет.

Когда он вышел из комнаты, я невольно подивился собственной храбрости. Я оскорбил этого человека, услали его одного... Теперь или никогда он избрет единственный разумный образ действий и пошлет за констэблем. Однако в этом малом было что-то инстинктивно-предательское, удерживавшее его от прямых поступков. Несмотря на весь свой ум, он упустил возможность прославиться. Мы с Роулеем вышли из его гостиницы и унесли весь наш багаж; мы не сказали, куда направляемся, и только неопределенно упомянули, что мне интересно посмотреть на озеро. Друг мой, содержатель почтового двора, только молча смотрел, как мы уходили и, опустив подбородок на руку, стоял в нерешительном раздумье.

Мне кажется, в этот день я пережил один из величайших успехов моей жизни. Меня уличили, с меня сняли маску; требовали, чтобы я совершил вполне естественный поступок, который привел бы к моей гибели. Тем не менее я спасся от тюрьмы и, против всяких ожиданий, снова шел по большой дороге. Это послужило мне великим поучением и доказало, что человеку никогда не следует отчаиваться. Вместе с тем из моего приключения я понял, что я должен быть гораздо, гораздо осторожнее. Каким сомнительным и сложным делом стал теперь весь вопрос о моем бегстве! То обстоятельство, что я чуть было не погиб от неправильно данной суммы «на водку», ясным образом показало мне еще, какие постоянные опасности окружали нас. Впрочем, я совершил ошибку гораздо раньше: если бы я не зашел чересчур далеко в откровенности с маленькой Долли, то в гостинице Киркби-Лонсделя ровно ничего не произошло бы. Я принял к сердцу данный мне урок и обещал себе в будущем быть сдержаннее. «Не

мне заботиться о сломанных каретах или пострадавших путешественниках, – думалось мне. – У меня и своих забот достаточно; лучше, если мое добросердечие несколько уменьшится».

Глава XXV

Я встречаю веселого чудака

Не буду рассказывать, как мы миновали следующие пятьдесят-шестьдесят миль. Читателю, вероятно, уже надоели путевые приключения, мне же не особенно приятно вспоминать об этой части моих странствий. Главную нашу заботу составляло стремление скрыть наши следы; однако, как вы впоследствии увидите, старания эти не увенчались успехом. Судьба не благоприятствовала мне. Зачем же мне рассказывать подробности тех ненужных предосторожностей, которые никого не обманули, или тех хитростей, которые оказались неискусными.

День клонился к вечеру, когда мы с моим юным слугой въезжали в Эдинбург под звуки почтового рожка и бряцания лошадиных сбруй. Я очутился в том месте, где мне предстояло действовать, где я некогда томился в заключении, откуда бежал. В этом городе жила та, которую я страстно любил! Сердце мое было переполнено. Редко чувствовал я себя таким героем, как в эти минуты. Я селрядом с кучером, каждую минуту ожидая, что раздастся восклицание какого-нибудь встречного, узнавшего меня. Смотреть на нас, пленников-французов, приходили сотни людей, и до моего знакомства с Флорой я всегда старался быть заметным. Я удивлялся и удивляюсь до сих пор, что такое небольшое число людей узнало меня. Но, верно, чисто выбритый подбородок сильно меняет физиономию, а между серо-желтой курткой и одеждой, состоящей из тонкого белья, прекрасно сидящего, мышинового цвета пальто с черной подкладкой, великолепно сшитых панталон и неподражаемой шляпы, – разница невообразимо велика! Пожалуй, было бы даже естественнее, если бы я узнал некоторых из прежних посетителей замка, нежели если бы они догадались, что одетый по моде джентльмен и жалкий пленник, томившийся в замке, – одно и то же лицо.

Я с удовольствием почувствовал под своими ногами камни мостовой и вздохнул с облегчением, отойдя от толпы, собравшейся встречать дилижанс. Вот мы очутились в новой части Эдинбурга, нагруженные массой багажа. Была суббота, канун великого шотландского воскресного отдыха. Мы сами несли вещи, так как я не хотел взять кэб, не хотел даже нанять носильщика, потому что это могло впоследствии послужить связующей нитью между моей квартирой и дилижансом, что в свою очередь соединило бы меня с малиновой каретой и Эйльсбери. Я решил порвать цепь улик и начать жизнь сызнова (в смысле осторожности). Прежде всего нам следовало найти жилье как можно скорее; это оказывалось тем необходимее, что мы с чемоданами в руках очутились в многолюдной части города, в этот час полной щеголей, денди, почтенных тружеников и нарядных дам, словом, толпы людей, которые, одни в экипажах, другие пешком, спешили домой обедать.

Проходя по одной из улиц северной части Джемс-сквера, я, к счастью, заметил билет в окошке третьего этажа. О цене и удобствах квартиры я не рассуждал. Во время бури хороша всякая гавань – вот принцип, которым я руководствовался. Мы вошли в дом и поднялись на третий этаж.

Нас встретила женщина в бомбазиновом платье и с крайне кислым выражением лица. Взглянув на хозяйку квартиры, я мысленно решил, что ее всю жизнь преследовали неудачи и что последняя из них обрушилась на несчастную очень недавно, может быть, накануне; я инстинктивно понизил голос, заговорив с ней. Она сказала, что у нее действительно отдаются комнаты, и даже решила показать их нам. Спальня и гостиная находились рядом и из их окон открывался прекрасный вид; комнаты понравились мне своим размером, притом и убраны они были недурно; на стенах висели картины; на камине лежали раковины, на столе виднелось несколько книг, впоследствии я узнал, что это были религиозные сочинения, очевидно, экземпляры, поднесенные авторами. На них красовались надписи вроде: *«Моему другу*

во Христе» или «Моей благочестивой приятельнице во Господе, Бесси Мак-Ранкин». Итак, мой друг во Христе показал мне комнаты, но этим дело и кончилось; квартирная хозяйка, по-видимому, и не думала о том, что было бы вполне естественно, и для меня крайне приятно – то есть не назначала цены за помещение; эта женщина покачивала головой; временами ворковала как голубь, и вообще казалась мне истинным воплощением печали и недоверия; своим до крайности сердитым голосом миссис Мак-Ранкин высказала мне целый ряд самых затруднительных условий, самых неприятных замечаний.

В заключение несносная женщина заметила, что она не обещает, что мне будут прислуживать.

– Отлично, сударыня, – сказал я, – ведь у меня же есть лакей.

– Он? – спросила она. – Господи! Да неужели он ваш слуга?

– Мне очень жаль, что он не нравится вам.

– Я не говорю этого. Но ваш лакей молод. Я думаю, он беспокойный малый. С ним хлопот не оберешься. Ну, а думает о религии этот юноша?

– О, да, сударыня, – быстро заметил Роулей.

Он сейчас же закрыл глаза, точно по привычке, и более поспешно, нежели благочестиво, произнес следующее двустипение:

«Матфей, Марк, Лука, Иоанн,
благословите мой покой!».

– Гм!.. – послышалось только в ответ и затем наступило ужасное молчание.

– Ну, милостивая государыня, – сказал я, – по-видимому, нам не суждено слышать начала ваших условий; приступите же хоть к концу. Ну же, решитесь. Мы или должны совсем остаться здесь, или уйти сейчас же.

Квартирная хозяйка медленно зашевелила губами:

– Есть рекомендации? – спросила она голосом резким, как колокольчик.

Я открыл бумажник и показал ей пачку банковских билетов.

– Полагаю, это достаточно убедительно! – произнес я.

– Вам придется поздно подавать завтрак? – было единственным вопросом.

– Когда вы пожелаете, начиная с четырех часов утра и до четырех часов пополудни! – крикнул я. – Только скажите цифру платы, если ваш рот способен выговорить ее!

– Я не могу делать для вас ужинов, – звучало эхо.

– Мы не будем ужинать дома, неисправимая вы женщина! – кричал я, готовый плакать и смеяться. – Теперь делу конец! Я желаю жить у вас и приведу мое желание в исполнение! Вы не хотите сказать мне, сколько возьмете за квартиру? Прекрасно! Я обойдусь и без этого. Я вам верю! Если вы не умеете узнавать хороших жильцов, то я-то отлично понимаю, какая женщина будет для меня честной квартирной хозяйкой. Роулей, разберите чемоданы.

Поверите ли, женщина-маньяк принялась журить меня за неделикатность, однако победа осталась за мной. Выговоры квартирной хозяйки более подходили на салютные залпы, нежели на возобновление военных действий. Наконец миссис Мак-Ранкин соблаговолила принять нас к себе за очень умеренную цену. Я и мой слуга отправились ужинать. Однако мы потеряли много времени; солнце давно зашло; загорелись фонари; на ближайшей улице, Лейт-Род, уже раздавался голос ночного сторожа. Еще разыскивая свободные комнаты, я заметил недалеко от нашего нового жилища ресторан, стоявший за регистратурой. Мы прошли в него и сели, чтобы пообедать, хотя и было поздно. Едва успели мы заказать обед, как дверь отворилась и в комнату вошел рослый молодой человек. Он оглянулся во все стороны и подошел к нашему столу.

– Честь имею кланяться, многоуважаемые и почтенные господа. Не позволите ли вы страннику, пилигриму – пилигриму любви – бросить на время якорь рядом с вами? Я ненавижу сидеть за столом в одиночестве!

– Милости прошу, сэра, – сказал я, – хотя не знаю, имею ли я какое-либо право играть здесь нечто вроде роли амфитриона.

Он с удивлением взглянул на меня своими карими глазами и сел.

– Сэр, я вижу, что вы получили некоторое литературное образование! Чего мы выпьем, сэра?

Я заметил, что уже заказал портеру.

– Скромный напиток – благовременное утолительное средство, – произнес он. – Кажется, мне и самому не мешало бы выпить этого восхитительного напитка. В настоящее время мое здоровье ненадежно. Усиленные занятия были причиной прилива крови к моему мозгу; ходьба утомила... Кажется, она больше всего подействовала на мое зрение.

– Осмелюсь спросить, вы пришли издалека? – спросил я.

– Не один сегодняшней день утомил меня, – ответил мой собеседник. – Полагаю, вы не здешний?.. За ваше здоровье, сэра, и за наше дальнейшее знакомство. В этом городе улицы так сплетаются, что это делает большую честь составителю городского плана... да и мытари не ударили в грязь лицом... Через каждые сто ярдов стоит по трактиру, так что люди с созерцательным расположением ума могут не беспокоиться – они всегда найдут место отдохнуть и выпить чего-либо освежающего. Я сегодня прогуливался в этом квартале, к которому благоволили природа и искусство. Избранные товарищи, не любящие огласки, но не имеющие ничего против хорошего стакана вина и веселой шутки, любезно сопровождали меня. «Вдоль прохладной Регистерской улицы мы шли неверными шагами», сэра.

– Я заметил это, когда вы вошли... – начал я.

– О, не будем ссориться! – перебил меня мой собеседник. – Конечно, это поразило вас... Да, следует заметить вот еще что: счастье, что и сам-то я не «поразил» свою голову где-нибудь, ударившись ею... Войдя сюда, я сиял «великолепием и избытком грога», как выразился поэт Грей. Какой могучий бард этот Грей. Но вместе с тем он скучное-прескучное создание, которое боится юбки и бутылки... Он не мужчина, сэра, не мужчина! Простите, что я беспокою вас, но черт возьми! Куда я засунул мою вилку? Благодарю вас! *Temulentia, quo ad me ipsum, brevis colligo est.* Я сижу и ем в лондонском тумане, сэра. Право, я готов был бы пригласить к моему столу факельщика, с условием, чтобы он был чисто вымыт! Я желаю учредить филантропическое общество мытья достойных бедняков и бритья солдат. С удовольствием вижу, что, несмотря на ваш военный облик, вы хорошо выбриты. В календаре добродетелей, по моему мнению, бритье стоит рядом с умением выпить. Пусть человек будет низким мошенником без одного пенса за душой, только бы он хорошо брился. Представьте себе меня в прохладный утренний час, представьте себе меня в полдень, представьте в минуту пробуждения! Прежде всего, даже не подумав о благодетельном, но неудовлетворительном полупиве, или о целительной, но глупейшей содовой воде, я дрожащей рукой беру убийственную бритву и с ее помощью начинаю скользить вдоль границы с вечностью. Внушающая мужество мысль! Быть может, я и наносу себе раны, но раны целительные. Когда эта жатва оканчивается, я, спокойный и торжествующий, покидаю свою комнату. Употребив простонародное выражение, скажу, что в такие минуты я не назову дядей и Веллингтона! Я сам проливал кровь перед грозившим мне смертью бритвенным столом.

И весь обед этот высокопарный малый болтал со мной подобным образом. Как все пьяницы, он принял свою словоохотливость за разговорчивость с моей стороны и решил, что я превосходный, веселый собеседник. Он сказал мне свое имя и свой адрес, упрашивая меня продолжать с ним знакомство. В конце концов он предложил мне на днях принять участие в одном обеде.

– Это официальный обед, – объяснил мой новый знакомый, – служащие и совет Крэмондского университета (учреждения, в котором я имею счастье быть профессором глупости) собираются почтить нашего друга Икара в Крэмонд-бридже. Очаровательный иностранец, одно место за столом свободно, и я предлагаю его вам!

– А кто ваш друг Икар? – спросил я.

– Исполненный надежды сын Дедала! – ответил он. – Неужели вы никогда не слышали имени Байфильда?

– Никогда.

– Неужели слава такая незначительная вещь! – вскрикнул мой новый друг. – Байфильд воздухоплаватель, сэр. Он жаждет славы Лунарди и собирается предложить жителям – простите – окрестному дворянству и высшему обществу взглянуть на свое подвиг на воздушном шаре. Как член высшего общества, смею заметить, что такое предложение совершенно не занимает меня. Ничуть, нисколько! Скажу вам по секрету, что решительно никому нет дела до воздухоплавания Байфильда. Лунарди множество раз поднимался на шаре, так что это уже всем надоело. По рассказам (сам я в то время еще качался в колыбели), это был странный, пустой, капризный малый. Но одного раза достаточно. Лунарди поднялся на шаре и спустился, ну, и дело с концом. Нам не нужно, чтобы опыт повторялся бесконечное число раз Байфильдами, Броунами, Бутлерами, Броди и Боттомлеями. Пусть бы они улетали и не прилетали назад. Но не в том вопрос. Крэмондский университет чтит более достоинства человека, нежели пользу его профессии; хотя Байфильд совершенный невежда, но он отличный собутыльник; за бутылкой люди, расположенные к нему, могут даже вообразить, что он умен и остроумен.

Читатель увидит, что все это имело ко мне гораздо больше отношения, нежели я предполагал, слушая болтуна. Мне страшно хотелось уйти. Мой друг еще продолжал болтать, когда о стекла ресторана застучали крупные капли дождя. Я сказал, что меня ждут в одном месте.

Глава XXVI

Коттедж ночью

На пороге я был встречен яростным порывом ветра, который чуть было не отбросил меня назад в комнату. Прощаясь с моим слугой, мне пришлось кричать. Когда я шел по Принцессой улице, ветер дул на меня сзади, гудел у меня в ушах. Дождь лил как из ведра, и падавшие капли, благодаря близости океана, отдавали солью. Казалось, то темнело, то светлело; но временами чудилось, будто все фонари, горевшие вдоль улицы, потухали; в промежутки же затишья они снова оживали, освещая мокрую мостовую и полурассеивая тьму.

Дойдя до угла, я почувствовал, что мое положение сильно улучшилось: во-первых, теперь я повернулся к ветру боком, во-вторых, замок, моя бывшая тюрьма, сделался моим защитником от ветра; наконец, самая сила шквалов несколько ослабела. Мысль о том, что я готовился снова пережить, заставляла меня с новым рвением побеждать порывы ветра. Что для меня значило бешенство непогоды, брызги холодных капель, когда я шел к ней? Я мысленно увидел Флору, сжал ее в своих объятиях, и сердце затрепетало в моей груди. В следующую минуту я опомнился и понял, что такие мечты безумны. Счастлив буду я, если мне удастся хоть мельком увидеть огонек свечи в ее спальне.

Мне предстояло пройти около двух миль по дороге, почти все время поднимавшейся в гору и покрытой густым слоем грязи. Когда я вышел за черту города, тьма объела меня со всех сторон, только кое-где блестели огоньки в окнах отдельных деревенских ферм. Проходя мимо жилищ, я слышал сердитое ворчание собак, которые, подняв головы, следили за мной. Ветер продолжал ослабевать, но дождь превратился в ровный ливень и вскоре промочил насквозь мое платье. Я шел во тьме, предаваясь сумрачным мыслям и прислушиваясь к ворчанию и лаю собак. Не понимаю, почему они были так внимательны и как удавалось им среди шума дождя различать легкий звук моих шагов. Я вспоминал рассказы, слышанные мной в детстве, и говорил себе, что, вероятно, какой-нибудь убийца проходил мимо и животные чувствовали несшийся от него слабый запах крови. Вдруг, вздрогнув, я применил к себе эти слова...

Не в подходящем настроении для влюбленного был я. «Разве ухаживают за любимой женщиной в подобном расположении духа?» – спросил я себя и чуть было не повернул обратно в Эдинбург. Неразумно идти на решительное свидание с гнетом в сердце, в грязном платье и с мокрыми руками. Но сама по себе бурная ночь составляла для меня благоприятное обстоятельство: теперь или никогда мог я добиться свидания с Флорой, а повидавшись с ней раз, говорил я себе, я увижусь еще, несмотря на мое мокрое платье, печальное настроение и так далее.

Наконец я очутился подле сада, коттеджа и нашел все условия положительно неблагоприятными. Из круглых отверстий в ставнях, закрывавших окна гостиной, лились потоки света; все остальное скрывалось во тьме. Деревья, кусты были покрыты каплями дождя; низкая часть сада превратилась в настоящее болото. Когда снова налетали порывы ветра, слышался дикий шум и треск ветвей; остальное время воздух наполнялся звуком лившегося дождя. Я подкрался к окну и постарался рассмотреть на моих часах, который час. Стрелка показывала половину восьмого. Конечно, раньше десяти часов семья не разоидется, быть может, даже они просидят вместе и до полуночи! В этом для меня не было решительно ничего приятного. Когда ветер временно улегся, я услышал голос Флоры; очевидно, она читала вслух; конечно, я не мог разобрать слов: до меня доносились только спокойные, задушевные звуки. В голосе девушки крылось такое же очарование, такая же прелесть, как в песне; он красноречиво обрисовывал ее личность... Налетел новый шквал, заглушил звук чтения, и я ушел с моего опасного поста.

Мне предстояло терпеливо ждать в течение трех часов и переносить ярость стихий. Самые тяжелые минуты моей военной службы приходили мне на память; бывало, я стоял на карауле в передовых пикетах, когда кругом бушевала такая же непогода; иногда мне случалось дежурить не поужинав и ожидая вместо завтрака только град мушкетных пуль. Однако, в сравнении с теперешней мукой ожидания, тяжесть военной службы казалась мне ничтожной. Так странно устроены мы: любовь к женщине в нас гораздо сильнее любви к жизни.

Наконец мое терпение было вознаграждено. Свет в гостиной исчез и через мгновение показался в комнате наверху. Я знал, что осветилось логовище дракона. Также знал я комнатку моей Розамунды и все выгоды ее положения. Спальня Флоры была в нижнем этаже, за углом дома. Страшная тетка не могла слышать того, что делается у племянницы. Мне оставалось лишь применить мои знания к делу. В это время я был в глубине сада, куда прошел, ошибочно воображая, что там мне будет теплее, и куда прокрался, чтобы иметь возможность, не привлекая ничего внимания, ходить взад и вперед, спасаясь от холода.

Ветер утих; дождь почти прекратился. С деревьев падали капли. Я тихо шел к коттеджу. Вдруг среди наступившего затишья скрипнуло растворившееся окно. Сделав еще несколько шагов, я заметил луч света, прорезавший темноту. Он упал из окна Флоры, которое она отворила. Я увидел ее... увидел ее розовое задумчивое лицо, обрамленное прядями густых распущенных волос. Две зажженные свечи, стоявшие сзади, освещали девушку. Одной рукой она еще держала гребенку, другой обхватила один из железных прутьев, загораживавших окно.

Я крался по траве; мне благоприятствовали темнота ночи и звук дождя, который снова усилился, хотя ветер совсем утих. Наконец я подошел совсем близко к Флоре, но заговорить не решился: прервать ее думы представлялось мне невыразимой дерзостью, я стоял и молча упивался ее красотой. Я любовался ореолом, который свет, падавший сзади, образовал в ее волосах; я любовался восхитительными переходами от света к тени на ее шее, любовался нежностью разнообразных ласкавших глаз тонов и оттенков ее лица. В первое мгновение я почувствовал себя уничтоженным: красота Флоры показалась мне отражением чудного сияния славы; девушка производила на меня впечатление ангела или (что еще более отнимало у меня мужество) современной нарядной леди. Однако, продолжая смотреть, я ожил; ожила и моя надежда. Я забыл о радости, забыл об утомительной тяжести висевшего на мне мокрого платья. Горячая волна крови снова прихлынула к моему сердцу.

Флора все еще не замечала моего присутствия, все еще смотрела куда-то мимо освещенного четырехугольника с тенью от решетки, лежавшего на земле, мимо луж, блестевших на дорожке, мимо гор... Ее взгляд терялся в непроницаемой тьме сада. Вдруг девушка глубоко вздохнула, и вздох этот показался мне чем-то вроде призыва.

– Почему мисс Гилькрист вздыхает? – шепнул я. – Не вспоминает ли она об отсутствующих друзьях?

Флора быстро повернула голову по направлению ко мне; только этим и выразила она свое удивление. Я вышел на свет и низко поклонился.

– Вы! – произнесла Флора. – Здесь?

– Да, я здесь, – ответил я. – Я приехал издалека, чтобы повидать вас. Весь вечер я ждал в саду. Неужели вы, мисс Гилькрист, не протянете руки вашему печальному другу?

Флора подала мне руку, протянув ее между прутьями; я упал на одно колено и дважды поцеловал эту прелестную руку. При втором поцелуе девушка сильно вздрогнула и отшатнулась. Я поднялся с мокрой дорожки. Несколько мгновений мы оба молчали. Меня снова охватила робость в десять раз сильнее прежней. Я старался отыскать на ее лице признаки гнева, но заметив, что она старается не смотреть на меня, решил, что все хорошо.

– Разве вы потеряли рассудок, что пришли сюда? – проговорила Флора. – Вы могли быть где вам угодно, только не здесь. А еще минуту тому назад я думала, что вы во Франции.

– Вы думали обо мне! – с жаром произнес я.

– Мистер Сент-Ив, я уверена, что вы не знаете всей опасности вашего положения, – сказала Флора, – а между тем у меня нет мужества сказать вам все. Поверьте мне на слово и уйдите!

– Полагаю, что мне известно самое худшее. Однако я никогда не придавал особенно большого значения жизни, то есть жизни, которой живут животные. Моим университетом были войны. Конечно, они не могут дать блестящего образования человеку, но приучают его дорожить жизнью не более перчатки, и с готовностью, как перчатку же, бросать ее, когда дело коснется чести или любимой женщины. Вы говорите мне о страхе и поступаете неправильно. Я явился в Шотландию с открытыми глазами; я хочу видеть вас и говорить с вами, быть может, в последний раз. Да, мои глаза открыты, повторяю это. Я не колебался вначале, неужели же вы полагаете, что я отступлю назад теперь?

– Ах, вы не знаете, – вскрикнула она с возрастающим волнением, – здешний места, самый этот сад – грозят вам смертью! Все верят... кроме меня... Если только кто-либо услышит ваш голос... мне даже страшно думать о том, что произойдет тогда. Уйдите, уезжайте сейчас же... молю вас!

– Дорогая мисс Гилькрист, не отказывайте мне в том, из-за чего я приехал издалека. Вспомните, что в целой Англии я осмеливаюсь доверять только вам. Весь мир против меня. Вы единственная моя союзница. Мне нужно многое сказать вам, и вы должны выслушать меня. То, что говорят обо мне, правда и в то же время ложь. Я убил Гогелу. Ведь об этом думали вы?

Она молча утвердительно кивнула головой. Смертельная бледность покрыла ее лицо.

– Но я убил его в честном поединке. До сих пор я отнимал жизнь людей только в боях; ведь таково мое ремесло! С Гогелой дрался из-за чувства благодарности и благоговейной признательности к созданию, блеснувшему для меня в тюрьме как солнце. Гогела оскорбил это существо. О, он часто оскорблял меня; это было его любимым развлечением: я не мешал ему... что я такое? Но когда Гогела затронул это чудное существо, я не был в состоянии терпеть. Никогда в жизни не простил бы я себе моего равнодушия. Мы дрались, он пал, а я не рассказываюсь.

Я с тревогой ожидал ответа Флоры. Худшее было сказано, и я знал, что ей еще раньше говорили, кто убил Гогелу. Однако без поощрения я не мог продолжать рассказа.

– Вы осуждаете меня?

– Нет, о, нет! Я не могу говорить о таких вещах: ведь я только девушка, но я была уверена, что вы правы, и говорила это Рональду, тетку же не старалась убедить. Я не противоречила ей, когда она порицала вас... Только не считайте меня неверным другом... Вот и майор знает, что я вам друг... Я еще не сказала, что он сделался у нас своим человеком... Я говорю о майоре Чевениксе... Ему так нравится Рональд... Именно майор и сообщил нам об этом отвратительном Клозеле и о его доносе... Я была возмущена и сейчас же сказала Чевениксу... ну, сказала слишком многое. Впрочем, надо сознаться, он выслушал меня добродушно, заметив только: «Мы с вами друзья Шамдивера и знаем, что он невиновен; но остальных не уверишь в его правоте». Майор разговаривал со мной в уголке комнаты, что называется *a parte*... «Дайте мне случай поговорить с вами наедине, – прибавил он, мне нужно многое рассказать вам». И он действительно сообщил мне то же, что я сейчас слышала от вас, то есть что у вас была дуэль с Гогелой и что вы ни в чем не виноваты. О, он мне нравится, этот майор.

Сердце мое сжалось от мучительной ревности. Я вспомнил тот день, когда Чевеникс впервые увидел Флору, вспомнил, какое внимание обратил он на нее тогда же, и мысленно преклонился перед искусством человека, который ловко воспользовался моим знакомством с ним, чтобы занять мое место. В любви и войне допускаются все средства.

Теперь мне также хотелось говорить, как за минуту перед тем слушать Флору. «По крайней мере, мои речи прогонят ненавистный образ майора Чевеникса», – говорил я себе. И я принялся рассказывать о моих приключениях. Вы уже прочли описание их; однако, обращаясь

к Флоре, я говорил короче и придавал всем событиям общую окраску; все дороги, дорожки и тропинки вели теперь в Рим, и этим Римом была Флора.

Начав рассказ, я опустился на колени перед низким окном, положил руки на выступ подоконника и понизил голос до еле слышного шепота. Флоре тоже пришлось стать на колени по другую сторону окна; наши головы приходились на одном уровне – нас разделяла только железная решетка. Казалось, эта близость и постоянный тихий звук моего молящего голоса мало-помалу овладевали ее сердцем, мое же билось все сильнее и сильнее. Такого рода чары обоюдоостры. Птицелов может привлекать глупых птиц звуками, выходящими из тростниковой дудочки. Нельзя того же сказать о птицах нашей породы! По мере того, как я говорил, принятые мной решения крепили; голос мой находил новые переделы; наши лица все приближались к прутьям решетки. Не одна Флора поддавалась очарованию, волшебство действовало и на меня. Стараясь пробудить любовь в другом существе, мы сами более прежнего отдаемся во власть могучего чувства. Только сердцем можно победить сердце!

– Теперь же я скажу вам, – продолжал я, – что вы можете для меня сделать. Я подвергаюсь некоторой опасности, и вы сами видите, что честный человек не может поступать иначе. Но если... если дело примет дурной для меня оборот, я не хотел бы обогатить моих врагов или принца-регента. У меня с собой все, что дал мне дядя – восемь тысяч фунтов. Согласитесь ли вы взять их от меня на хранение? Не думайте, что это просто деньги, считайте мое состояние реликвией вашего друга, драгоценной его частью. Может быть, скоро мне страшно понадобятся эти деньги. Знаете ли вы старый народный рассказ о великане, который отдал свое сердце на сохранение жены? Он больше полагался на честность жены, нежели на свою собственную силу. Флора, я гигант, очень, очень маленький гигант. Согласитесь ли вы быть хранительницей моей жизни? Я предлагаю вам взять мое сердце под видом этого символа. Перед Богом я отдаю вам и мое имя, если вы желаете его взять, а также мои деньги. Если случится самое худшее, если мне не будет суждено назвать вас своей женой, по крайней мере, я буду думать, что наследство моего дяди перейдет к вам, как к моей вдове.

– Нет, нет, только не это! – сказала она.

– Что же, мой ангел? Разве стоит придавать слишком большое значение слову? Существует только одно название, которое я хотел бы дать вам, Флора, моя любовь!

– Анн, – прошептала она. – Какая музыка может сравниться со звуком вашего имени, впервые произнесенного любимым существом?

– Моя дорогая, – сказала я.

Ревнивые прутья решетки, вделанные в каменную кладку окна вверху и внизу, мешали мне с полным восторгом отдаться наслаждению этой минуты, но я привлек к себе Флору настолько это было возможно. Она не избегала моих губ; я обвил ее руками, и девушка не противилась. Я обнимал ее, но решетка разделяла нас; бессознательно прижимались мы лицами к ее холодным железным прутьям. Вдруг, благодаря иронии судьбы или, как я предпочитаю думать, вследствие зависти одного из богов, стихии снова забушевали. Ветер загудел в вершинах деревьев; полился дождь, наводнявший сад, и, благодаря злобе демона, целый поток холодной воды из желоба фонтаном хлынул мне на голову и на плечи. Мы отшатнулись друг от друга. Я вскочил; Флора тоже встала с колен так поспешно, точно нас застали. Через мгновение мы снова подошли к решетке.

– Флора, – сказал я, – я предлагаю вам жалкий дар.

Она взяла мою руку и прижала ее к своей груди.

– Я богата как королева! – сказала она, и ее учащенное дыхание было красноречивее всяких слов. – Анн, мой чудный Анн! Я хотела бы стать твоей служанкой; я могла бы завидовать Роулею. Но нет, нет, – перебила она себя. – Я никому не завидую... мне незачем завидовать – я твоя!

– Моя навсегда? – проговорил я.

– Да, теперь и навсегда, – повторила она.

И если кто-либо из богов завидовал нам, он мог убедиться, что ему не удалось омрачить счастья смертных. Я стоял под целым потоком воды, лившемся с крыши из желоба; платье Флоры тоже вымокло не только от того, что я ее обнимал, но и от брызг, летевших на нее. Свечи оплыли и потухли; нас окружала тьма. Я почти ничего не видел, кроме блеска ее глаз. Ей я, вероятно, казался силуэтом, окруженным мглой дождя и брызгами водопада, лившегося на меня из старинного готического желоба над моей головой.

Наконец мы несколько успокоились. Когда улегся последний порыв бури, мы стали обсуждать наш дальнейший образ действий. Оказалось, что Флора знала мистера Робби, к которому мистер Ромэн дал мне такую хитрую рекомендацию. Флора даже была приглашена к нему вечером в понедельник. Она описала мне личность этого человека, что послужило доказательством ее проницательности и принесло мне значительную пользу впоследствии. По ее словам, Робби был страстным антикваром, в особенности же увлекался геральдикой. Это известие привело меня в восхищение: благодаря господину де Кулембергу, я обладал солидными познаниями в этой отрасли науки и был знаком со всеми гербами наиболее известных европейских родов. Слушая, как Флора говорила мне о мистере Робби, я твердо решил явиться к нему в понедельник, но, конечно, даже не заикнулся ей об этом.

Я отдал Флоре деньги; понятно, со мной были только бумаги. Передавая их, я сказал ей, что они – ее приданое.

– Недурное приданое для рядового, – сказал я, смеясь и просовывая руку с бумагами между прутьями решетки.

– Анн, где же мне хранить их, скажи? – спросила она. – Вдруг тетка найдет деньги? Что я ей отвечу?

– Носи их подле сердца.

– Значит, ты всегда будешь подле твоего богатства, – заметила она, – потому что ты всегда там.

Нам помешал забрезживший свет. Облака рассеялись. Кое-где виднелись звезды; взглянув на часы, я страшно удивился. Было около пяти часов утра.

Глава XXVII

Воскресенье

Мне следовало давно уйти из Суанстона. Но что я должен был делать дальше – это вопрос другого рода. Я с вечера дал Роулею инструкции, велел ему сказать миссис Мак-Ранкин, что я встретил приятеля и вернусь домой не ранее утра. Сама по себе выдумка казалась недурной, но мой страшно измокший вид составлял затруднение. До возвращения домой мне следовало найти какое-либо пристанище, где мое платье высушили бы и где я мог бы полежать в постели, пока оно будет сохнуть.

Судьба снова улыбнулась мне. Взойдя на вершину первого холма, я заметил слева от меня свет. Я подумал, что в домике с освещенными окнами есть больной, так как не был в состоянии придумать, что могло бы заставить людей держать зажженную лампу или свечи в такое позднее время и в таком глухом месте. Вскоре я услышал слабые звуки пения; по мере того, как я приближался к освещенному дому, они становились все громче и громче. Наконец я расслышал и слова, необычайно соответствовавшие раннему часу: «Пусть поет петух, пусть брезжит свет!» – раздавалось из освещенной комнаты. Голоса плохо соблюдали музыкальный ритм, звучали они не вполне верно, но с особенно глубоким выражением, и это уверило меня в том, что певцы, наверное доканчивали по крайней мере третью бутылку.

Дом, из которого несло пение, стоял подле дороги; над его входом красовалась вывеска; при помощи света, лившегося из окон, я прочитал:

«ПРИЮТ ОХОТНИКОВ.

Александр Хендри. Портер.

Эль. Английский спирт. Кровати».

Я постучался; пение смолкло. Изнутри послышался пьяный голос: «Кто там?»; я же ответил: «Честный путешественник».

Дверь открылась. Я очутился среди таких крупных малых, каких в жизнь свою не видывал. Все они были сильно пьяны и очень прилично одеты. Один из них, кажется, самый пьяный, держал в руке сальную свечу и обливал растопленным салом всех своих товарищей без разбора. При виде веселого общества я не мог удержаться от невольной улыбки, вспоминая ту тревогу, с которой я подходил к освещенному дому. Событыльники с пьяным радушием встретили меня и благосклонно выслушали мою наскоро состряпанную сказку. Я сказал им, что шел из Пибльса и сбился с дороги. Толкаясь, члены веселого общества ввели меня в ту комнату, где происходил их пир. Я очутился в самом обыкновенном трактирном зале; в камине ярко горел огонь; на полу стояло множество пустых бутылок. Весельчаки объявили мне, что благодаря тому, что они меня впустили в трактир, я сделался временным членом «Клуба людей шести футов», атлетического общества, учрежденного зажиточной частью окрестной молодежи. Оказалось, что клуб этот нередко собирался в «Приюте охотников». Молодые люди рассказывали мне, что я попал на их ночное «заседание», которое продлится всю ночь; что весь день перед тем компания бродила по горам, но что к завтрашней церковной службе они успеют встать и в полном порядке соберутся в одной из сельских церквей, помнится, в Коллингвуде. Мне хоте-

лось засмеяться при этом заявлении, но я нашел лучшим воздержаться, так как, хотя общество называлось клубом людей шести футов, но каждый из его членов превосходил эту меру роста. Смотри на гигантов снизу вверх и думая, что они станут делать дальше, я пережил прежние ощущения детства. Но шестифутовые молодцы были очень пьяны и вместе с тем очень добры. Хозяин трактира, слуги и служанки спали. Вследствие ли природной способности или приобретенной привычки, но они лежали в кухне и в чулане неподвижно, как египетские мумии, и только храпели, как волынки. Шум и гам, наполнявший весь дом, не тревожили их покоя. Шестифутовые молодые люди напали на хозяина и его слуг, так сказать, в самой их цитадели. Они считали койки и спящих, предлагали мне лечь с одним из слуг, предлагали заставить одну из служанок уступить мне койку, при этом спотыкались об стулья, падали, шумели так, что и мертвый мог бы проснуться. Прежний факелоносец, теперь держа уже две свечи, освещал картину, начиная сильно походить на человека, застигнутого снежным бураном. Наконец постель для меня нашлась; платье мое развесили в зале перед камином и мне милостиво позволили заснуть.

Я проснулся около девяти часов от того, что солнце светило мне прямо в глаза. На мой зов пришел хозяин трактира и подал мне мое просохшее и отлично вычищенное платье. Он сообщил мне хорошие вести: члены клуба уже легли и спали. Где поместилось общество, я не мог себе представить: наконец, (бродя по садику в ожидании завтрака), я заглянул в дверь риги и увидел красные лица среди соломы; картина напомнила мне сливы в пироге. Высокая, дюжая девушка, принеся мне суп и предложившая кушать, пока он не остыл, сказал:

– Ну, и покутили же они ночью! Они прекрасные молодые люди; но что мне делать с сюртуком мистера Форби Фарбса? Я не знаю, можно ли отчистить его! – прибавила она со вздохом.

Я мысленно посочувствовал ей, решив, что Фарбс и был тем факелоносцем, который так обильно поливал себя и других растопленным салом.

Наконец я вышел из трактира. Стояло чудесное утро; солнце сияло; в воздухе веяло весной, точно в апреле или мае; несколько чрезмерно предприимчивых птиц решились запеть. В это славное утро мне было о чем подумать, было за что поблагодарить судьбу! Между тем сердце мое тревожно трепетало. Мне предстояло войти в город при дневном свете, что для меня равнялось появлению перед батареей. Каждое лицо, думалось мне, будет для меня такой же угрозой, как жерло пушки; вдруг мне пришло в голову, что я был бы гораздо спокойнее, если бы нашел себе попутчика. Подле Мерчистона я, на мое счастье, увидел какого-то полного господина в суконной одежде, и в гетрах, который, согнувшись, стоял перед каменной стеной. Я ухватился за представлявшийся мне случай и, поравнявшись с ним, спросил, что могло так сильно заинтересовать его.

Он повернул ко мне лицо, почти такое же широкое, как и его спина.

– Я удивлялся, сэр, своей глупости, – ответил он. – Подумайте, каждую неделю прохожу я здесь и никогда до сих пор не замечал вот этого камня. – Он дотронулся до ограды своей дубовой палкой.

Я посмотрел на камень; на нем виднелись следы высеченного герба. В моей голове промелькнула странная мысль: этот человек сильно походил на мистера Робби по описанию Флоры; любовь к геральдике могла служить доказательством, что это он сам и есть. Для меня было бы необычайным счастьем завязать неофициальное знакомство с адвокатом, к которому на следующий же день мне предстояло явиться с рассказом о погонщиках; мне было нужно понравиться ему. Я тоже нагнулся.

– Полоса... – сказал я. – Вообще напоминает герб Дугласа, правда?

– Да, сэр, напоминает, вы правы, напоминает, – сказал он, – хотя герб без красок и до такой степени истерт и избит, что судить очень трудно. Однако позвольте заметить, сэр, что я крайне удивлен, встретив в наш век упадка человека с такими знаниями.

– О, в молодости мне сообщил много интересных сведений один старик, друг моей семьи и мой воспитатель, – ответил я. – Но я забыл многое впоследствии. Не хочу, чтобы вы, сэр, ошиблись во мне и сочли меня знатоком в геральдике. Я просто невежественный любитель...

– Скромность не вредит даже знатокам геральдики, – любезно возразил мой собеседник.

Словом, мы пошли вместе, разговаривая очень любезным образом. Так прошли мы остаток большей дороги, предместье и часть улиц нового города, молчаливого и пустынного, как город мертвых. Лавки были заперты; не проехало ни одного экипажа; одни кошки играли на залитой солнцем мостовой. Звук наших шагов и голосов отдавался в спокойных домах. Эдинбург вполне погрузился в свое странное еженедельное оцепенение; передо мной был апофеоз воскресного дня. Сознаюсь, картина дышала величием, хотя ей не хватало веселости. Немногие религиозные службы способны производить более глубокое впечатление. Мы, разговаривая, шли вдоль пустынного города, и вдруг со всех сторон раздались звуки колоколов. Улицы наполнились благочестивыми людьми, спешившими в церковь.

– Ага, – произнес мой спутник, – звонят. Вы не из числа жителей Эдинбурга, поэтому я сведу вас в церковь моего прихода. Не знаю, знакомо ли вам шотландское богослужение, если нет, я позабочусь о вас. Доктор Генри Грей из церкви Святой Марии – один из лучших наших проповедников.

Предложение моего незнакомого знакомого сильно смутило меня. Я не приготовился к подобному риску; множество людей совершенно равнодушно прошли бы мимо меня по улице, самое большее взглянув в мое лицо раза два; но те же люди, видя меня неподвижно сидевшим на скамейке в церкви, непременно стали бы внимательно присматриваться к лицу, показавшемуся им знакомым, и в конце концов узнали бы меня. Какой-нибудь один несчастный поворот головы мог привлечь внимание того или другого из прежних посетителей Эдинбургской крепости. «Кто это? – подумал бы он. – Без сомнения, я видел его когда-то». И по окончании службы он, по всей вероятности, узнал бы меня. Несмотря на все это, я поблагодарил моего предупредительного друга и отдал себя в его распоряжение.

Теперь мы направились в северо-восточную часть города. Мы проходили через приветливые предместья; наконец я увидел довольно красивую новую церковь значительных размеров. Вскоре я уже сидел рядом с моим милосердным самаритянином, и на меня смотрело множество угрожающих глаз. Сначала опасения заставляли меня быть настороже, но затем, уверив себя, что бояться нечего, что, по всей вероятности, служба не ознаменуется арестом французского шпиона, я стал слушать доктора Грея.

Когда мое испытание окончилось и мы встали с наших мест, моего спутника окружили его знакомые; я с удовольствием слышал, что они, обращаясь к нему, называли его, как я и ожидал, мистером Робби.

Как только мы выбрались из толпы, я поклонился и спросил:

– Мистер Робби?

– Он самый, – был ответ.

– Адвокат, если не ошибаюсь?

– Именно.

– Очевидно, сама судьба решила, что мы должны познакомиться! – заметил я. – В моем кармане лежит карточка, которую поверенный моей семьи дал мне для передачи вам. Расставаясь со мной, он просил меня поклониться вам от него и попросить у вас извинения за то, что он таким нецеремонным образом рекомендует вам меня.

И я подал ему карточку Ромэна.

– А, мой старый друг Даниэль! – сказал Робби, взглянув на карточку. – Как он поживает?

Я дал благоприятный ответ.

– Ну, это действительно странная случайность, – продолжал Робби, – так как мы встретились (к моему удовольствию), то нам лучше всего продолжать наше знакомство. Позвольте

мне предложить вам закусить между утренней и вечерней службами, и распить со мной бутылочку, запечатанную моей любимой зеленой печатью. Мы наедине потолковали бы о гербах, мистер Дьюси (так я еще раньше называл себя в разговоре с моим спутником, надеясь, что он тоже скажет мне свою фамилию).

– Простите, сэра, – заметил я, – если я не ошибаюсь, вы приглашаете меня к вам в дом?

– Именно, – ответил он. – Мы, шотландцы, считаемся людьми гостеприимными, и я желал попросить вас к себе.

– Мистер Робби, – ответил я, – позвольте мне воспользоваться вашим гостеприимством когда-нибудь в другой раз, но не сегодня. Надеюсь, вы не поймете моих слов в превратном смысле. Я явился в Эдинбург по совершенно особому делу. До тех пор, пока вы не выслушаете моего рассказа, и даже пока это дело не придет к концу, мне все будет казаться, что я обманом вошел в ваш дом.

– Хорошо, хорошо, – проговорил Робби с несколько менее горячим увлечением. – Как вам угодно, хотя вряд ли вы говорили бы таким образом, если бы на вашей совести лежало обвинение в убийстве. В убытке – я. Мне придется одиноко сидеть за столом. Грустно человеку, привыкшему к обществу, сидеть перед кружкой кларета, обдумывая свою будущую речь! Но вернемся к вопросу о деле! Если оно важно, то, вероятно, им следует заняться, не откладывая его в долгий ящик?

– Да, сэра.

– Итак, поговорим о нем завтра, в половине девятого утра, – сказал он. – Надеюсь, когда вы выскажетесь (вам делает честь, что вы до такой степени горячо относитесь к беспокоящему вас делу), вы не откажетесь закусить со мной, а при случае и выпить моего вина. У вас есть мой адрес? – прибавил адвокат и сказал мне, где он живет, а этого-то мне и было нужно.

Наконец подле Йоркской площади мы разошлись, обменявшись любезностями, и я направился в свою квартиру в Сент-Джемс-сквер, пробираясь через толпы людей, возвращавшихся из церкви.

Кого же я нагнал недалеко от дома? Мою квартирную хозяйку в строгом великолепном платье и ее добычу – Роулея, в шляпе, украшенной кокардой, и в сапогах с отворотами. Говоря о том, что Роулей попался в когти нашей хозяйке, я, конечно, выражаюсь только метафорически. Он с серьезным видом и крайне почтительно вел ее под руку; я поднялся на лестницу зади их, невольно улыбаясь про себя.

Завидев меня, они оба поздоровались со мной, и миссис Мак-Ранкин осведомилась о том, где я был. Я хвастливо сказал ей название церкви и фамилию проповедника. Мне казалось, что я выиграю в ее мнении. Но она вскоре открыла мне глаза на настоящее положение вещей. В самом основании шотландской натуры кроется столько особенных хитросплетений, столько изгибов, что никто из иностранцев не только не может вполне понять их, но даже не в состоянии удовлетворить шотландским требованиям; он находится среди взрывчатых веществ и поступит благоразумнее всего, если отдастся течению своей судьбы – без оружия, без защиты... (Цитата из любимого гимна миссис Мак-Ранкин).

Членораздельное восклицание, сорвавшееся из губ миссис Мак-Ранкин, было крайне выразительно, хотя изобразить его буквально невозможно, и я поступил согласно только что рекомендованному мной правилу.

– Вы должны помнить, – заметил я, – что в вашем городе я чужой. Если я сделал что-либо дурное, то этому виной было мое полное неведение. Будьте так добры, позвольте мне сопровождать вас сегодня вечером, и я пойду с вами.

Но в настоящую минуту она не была расположена успокоиться и с недовольным бормотанием ушла к себе.

– Ну, Роулей, – сказал я, – а вы были в церкви?

– С вашего позволения, сэра.

– Значит, и вас постигла такая же печальная участь, как меня, – продолжал я. – Ну, а как вынесли вы шотландскую службу?

– Это было довольно-таки утомительно, сэра, – ответил мой юный слуга. – Не знаю, почему, но мне кажется, что со времени Уоллеса все в Шотландии сильно переменялось! Она отвела меня в странную церковь, мистер Анн. Я думаю, я не досидел бы до конца службы, если бы она не дала мне мятных лепешек. В сущности, эта старуха не зла. Она немного ворчлива, немного надоедлива, но, право же, она думет, что приносит этим пользу. Сегодня она просто накинулась на меня. Видите ли: вчера вечером она предложила мне поужинать и, простите меня, сэра, я сыграл ей несколько песен. Она не сделала никакого замечания. Сегодня утром я стал было играть для себя, но она так налетела на меня, столько наговорила мне о воскресенье, что я думал, и конца этому не будет.

– Они все немного безумны, – сказал я. – И вам придется приноравливаться к ним. Не ссорьтесь с ней, главное же, не оспаривайте ее мнений, или вам же будет хуже. Что бы она ни сказала, дотрагивайтесь рукой до кокарды и говорите: «Точно так» или: «Прошу извинения, сударыня». И вот что еще: мне очень жаль вас, но вам придется вечером опять идти в церковь. Это ваша обязанность.

Как я и предвидел, едва зазвонили в колокола, – мистрис Мак-Ранкин явилась к нам, предлагая сопровождать ее в церковь. Я немедленно с полной готовностью поднялся с места и предложил ей руку. Мы двинулись в путь. Роулей следовал за нами. Я уже начал привыкать к опасности моего пребывания в Эдинбурге; мне даже было забавно снова очутиться в новой толпе молящихся. Однако следует заметить, что очень скоро мне стало скучно, так как доктор Грей говорил долго, а мистер Мак-Кроу оказался еще многоречивее своего собрата, и вдобавок его речь отличалась бессвязностью; когда проповедь священника (он напал на все христианские церкви, в их числе и на мою) теряла тоническое свойство личного оскорбления, меня начинала одолевать дремота. Но я боролся из-за жизни и подбадривал Роулея уколами булавки, и не заснул до конца.

Печать благодати, осенившей меня, совершенно победила сердце Бесси; однако мне казалось, что ее симпатией руководили также и мирские соображения. Я полагал, что она не без удовольствия шла в церковь рука об руку с молодым, прекрасно одетым джентльменом и в сопровождении щеголя-слуги с кокардой на шляпе. Я видел это по тому, как она ввела нас в церковь, как указала нам те места в Библии, которые мы должны были читать, как она оглядывала молящихся, чтобы видеть, смотрят ли они на нее, когда она шепчет мне имя священника, передает мятные лепешки (которыми я в свою очередь угощал Роулея) и так далее. Роулей был хорошеньким мальчиком; извините, но я вынужден заметить, что и я тоже обладал довольно привлекательной наружностью, а когда мы старимся, то при виде красоты, грации, здоровья и изящества нам кажется, будто все кругом нас делается яснее и лучше. При этом в душе человека не возникает себялюбивых мыслей и желаний, не думает он также и о своих близких, а просто с улыбкой любит привлекательными для него существами; вызывая же в своем воспоминании их образы, снова светло улыбается им. Или я совершенно неверно смотрю на женскую натуру, или мистрис Мак-Ранкин ощущала именно такое совершенно бескорыстное удовольствие в нашем обществе. Она была в церкви в сопровождении щеголеватого лакея; двое веселых красивых малых вносили в ее дом жизнь, веселье и вдобавок относились к ней почтиительно и любезно, соглашаясь со всеми ее мнениями. Могло ли это быть ей неприятно?

Следовало поощрять подобные чувства нашей хозяйки. Идя домой из церкви (если только можно было назвать церковью это сборище), я старался увеличить сочувствие к себе моей квартирной хозяйки. Я взял ее в поверенные, то есть рассказал ей о моих любовных делах. Едва я упомянул, что чувствую влечение к молодой девушке, как она повернула ко мне свое страшно серьезное лицо и спросила:

– Она хорошая девушка?

Я ответил ей чистосердечными уверениями.

– К какой религии она принадлежит? – послышался неожиданный вопрос. Я смутился. Дыхание стеснилось в моей груди.

– Даю слово, сударыня, я никогда не спрашивал ее об этом, – ответил я. – Мне известно только, что она истинная, убежденная христианка, и с меня этого достаточно.

Мак-Ранкин вздохнула:

– О! Есть ли у нее достаточные основания считаться христианкой! Надо заметить, что во многих из наших сект есть хорошие основы, например, в секте Мак-Глашанитов, Мак-Милленитов и даже в господствующей церкви...

– Если дело на то пошло, то я скажу вам, что знал даже очень хороших папистов.

– Стыдитесь, мистер Дьюси! – вскрикнула она.

– Но я только...

– Не шутите серьезными вещами, – перебила меня она.

Однако она выслушала то, что я нашел нужным рассказать ей о нашей идиллии, и наслаждалась ей, как кошка наслаждается сливками, опуская в них свои усы. И такова экспансивность страсти! Я с наслаждением изливался перед этой женщиной с грудью, закованной в железную броню! Мое доверие породило между нами доверие: с этой минуты мы зажили по-семейному. Мне не было трудно уговорить миссис Мак-Ранкин согласиться председательствовать за нашим чайным столом. Конечно, никогда в мире не существовало такого плохо подобранного трио, как Роулей, миссис Мак-Ранкин и виконт Анн. Но я следую правилу апостола (с маленьким изменением): я стараюсь быть всем для всех женщин. Когда не угожу женщине – задушите меня моим же галстуком.

Глава XXVIII

Понедельник; вечер у адвоката

На следующее утро в половине девятого я позвонил в контору адвоката, находившуюся на Замковой улице. Мистер Робби сидел за деловым столом, окруженный множеством ярусов зеленых оловянных ящиков. Он встретил меня как старого друга.

– Ну, скорее, скорее к делу, – сказал он. – Дантист готов, и, мне кажется, я могу обещать, что операция не причинит вам особенной боли.

– Я далеко не так уверен в этом, мистер Робби, – возразил я, пожимая ему руку.

– Во всяком случае, вы не потеряете со мной много времени.

Мне пришлось рассказать адвокату, что я, точно бродяга, шел с двумя погонщиками вслед за их стадом, что я скрывался под вымышленным именем, что я убил или почти убил человека во время драки между пастухами и затем позволил посадить в тюрьму двух совершенно невинных людей, ничего не сделав, чтобы снять с них обвинение, от которого мог немедленно освободить их. Я сказал ему все сразу, чтобы как можно скорее покончить с наиболее тяжелой для меня стороной вопроса; Робби выслушал мой рассказ с серьезным видом, но на его лице не выразилось ни малейшего изумления.

– Теперь, сэр, – продолжал я, – я готов расплатиться за мой несчастный удар, но я был бы очень рад, если бы вы избавили меня от необходимости явиться в суд и скрыли от следователя мое настоящее имя. Я предпринял это неразумное странствование под чужой фамилией, и моя семья будет сильно огорчена, если до нее дойдут слухи о том, что я наделал. Однако если Фаа умер, я не допущу, чтобы погонщики пострадали из-за меня. В случае необходимости, вызовите меня в суд. Я явлюсь, чтобы защитить Сима и Кэндлиша. Сэр, я не желаю быть ни Дон-Кихотом, ни несправедливым человеком.

– Прекрасно сказано, – проговорил Робби. – Я должен заметить вам, что дело погонщиков не вполне в моем вкусе. Вероятно, вам известно от вашего друга, мистера Ромэна, что я редко вмешиваюсь в уголовные процессы или в нечто сильно похожее на уголовщину. Однако для вас я нарушу мое обычное правило и, осмелюсь заметить, пожалуй, выполню задачу, заданную мне, лучше, нежели кто бы то ни было. Я сейчас же отправлюсь в следственное отделение и наведу справки.

– Погоди еще, мистер Робби, – сказал я. – Вы забываете об издержках. Я думал для начала передать вам тысячу фунтов.

– Дорогой сэр, – сурово ответил адвокат, – я сам подам вам счет, тогда и будем толковать.

– Мне казалось, – возразил я, – что я должен вам представить какую-нибудь существенную гарантию... Ведь вы почти не знаете меня, а я сразу прошу вас взяться за дело, несимпатичное вам, поэтому...

– У нас в Шотландии так не поступают, – произнес Робби тоном, показывавшим, что вопрос исчерпан.

– Однако, дорогой сэр, – продолжал я, – я прошу вас не отказываться от этих денег. Я не только забочусь об издержках, но думаю также о Симе и Кэндлише. Они достойные малые и из-за меня просидели в тюрьме довольно долгое время. Прошу вас, сэр, вознаградите их за выпавшие на их долю неприятности. Теперь вам станет понятным, – прибавил я с улыбкой, – почему я решился предложить вам тысячу фунтов: сумма эта должна была показать, как я жажду, чтобы дело погонщиков окончилось благополучно.

– Я отлично понимаю вас, мистер Дьюси, – сказал адвокат. – Ну, чем скорее я начну действовать, тем лучше пойдет дело! Мой клерк проведет вас в приемную, даст вам номер «Каледонского Меркурия» и последний номер «Ведомостей»; займитесь ими.

Мне кажется, мистер Робби возвратился часа через три. Я видел, как он вылезал из кэба, остановившегося подле его подъезда. Почти тотчас же меня снова провели в кабинет адвоката. Судя по серьезному виду моего нового друга, я подумал, что мне следует ожидать всего самого худшего. Мистер Робби был настолько бесчеловечен, что, не говоря ни слова о результате своих хлопот, прочитал мне длиннейшую нотацию относительно *безумия* (чтобы не сказать безнравственности) моего поведения.

– Мне тем приятнее высказать вам мое откровенное мнение, что вы не понесете никакого наказания за все ваши неразумные поступки, – прибавил он. (Полагаю, было бы лучше, если бы адвокат начал с этого заявления).

– Фаа вылечили, – продолжал Робби, – Сим и Кэндлиш уже давно очутились бы на свободе, если бы они не были до такой степени честны относительно вас, мистер Дьюси, или мистер Сент-Ив, как мне, по-видимому, следовало бы теперь вас называть. Они ни разу ни одним словом не обмолвились о вашем существовании; когда же их поставили на очную ставку с Фаа и его рассказом о происшествии, их новые показания до такой степени расходились с прежними, они так противоречили друг другу, что следователь совершенно стал в тупик и решил, что в дело замешан кто-то еще. Можете вообразить, как я старался разубедить его; вскоре я с удовольствием увидел ваших друзей на свободе. Они тоже были в полном восторге.

– Ах, сэр, – вскрикнул я, – вам следовало бы их привести сюда!

– Я не нуждаюсь в наставлениях, мистер Дьюси, – заметил адвокат. – Почем я знал, что вы желали возобновить знакомство, которое только что окончилось для вас таким счастливым образом? Говоря откровенно, я был бы против этого. Пусть погонщики идут домой! Они получили вознаграждение, вполне довольны и питают самое глубокое уважение к мистеру Сент-Иву. Когда я дал им пятьдесят фунтов (сумму более чем достаточную), Сим, единственный из двух товарищей, обладающий даром слова, стукнул палкой о землю и произнес: «Ну, ведь я говорил, что он настоящий джентльмен». «Сим, – ответил я ему, – мистер Сент-Ив совершенно то же сказал о вас».

– Итак, в этом случае можно было заметить: комплименты то и дело летают, когда встречаются благородные люди.

– Мистер Дьюси. Сим и Кэндлиш вычеркнуты из вашей жизни, и хорошо, что вы избавились от них! В своем роде они прекрасные малые, но совсем не годятся для вас. Послушайтесь меня, бросьте-ка ваши эксцентрические выходки, забудьте о всех этих погонщиках, бродягах и наслаждайтесь теми удовольствиями, которые свойственны молодому человеку с вашим развитием, состоянием и (простите меня) с вашей наружностью!

Мистер Робби взглянул на часы и прибавил:

– Для начала новой жизни позвольте мне попросить вас прежде всего перешагнуть через порог моей столовой и разделить завтрак с одиноким холостяком.

Долго сидели мы за прекрасным завтраком, и все время мистер Робби продолжал развивать ту же поэму:

– Без сомнения, вы танцуете? – спросил он наконец. – Да? Прекрасно! В четверег бал в собрании. Понятно, вы должны быть на нем; в качестве уроженца этого города я пришлю вам билет. Я глубоко верю в то, что молодой человек – молодой человек. Только помилосердствуйте! Бросьте всех этих погонщиков, бродяг и так далее. Говоря о бале, я невольно вспоминаю, что у вас не будет знакомых дам... О, я понимаю, как это неприятно! Я и сам был молод... Если вас не страшит крайне скучная перспектива выпить чашку чая у холостяка-адвоката, в обществе, главным образом состоящем из его племянников, племянниц, двоюродных внуков, внучек, опекаемых и множества потомков его клиентов, придите ко мне сегодня, около семи часов. Полагаю, мне удастся показать вам двух-трех молодых девушек, на которых стоит взглянуть. На балу они могут быть вашими дамами.

Он бегло обрисовал мне несколько молодых девушек, которых я должен был встретить у него, и в заключение сказал:

– Наконец, вы познакомитесь с моим другом, мисс Флорой. Не стану пытаться описывать вам ее. Посмотрите сами.

Понятно, я поблагодарил мистера Робби за приглашение и немедленно пошел домой, чтобы принять внешний вид, достойный взора Флоры и той хорошей новости, которую я собирался сообщить ей.

Мой туалет вышел удачен – по крайней мере, я имею основание предполагать это. Мистер Роулей на прощание произнес: «Забирательно! Вид у вас, мистер Анн, первый сорт!» И даже каменная миссис Мак-Ранкин – как бы это выразиться? – была поражена, скандализирована, но поражена! Понятно, она посетовала на тщеславие, заставившее меня думать о костюме, но невольно любовалась результатом моего легкомыслия.

– Ах, мистер Дьюси, – сказала она, – какое это жалкое занятие для христианина! Вы думаете о вашей внешности в то время, когда учение Христа попорно, в то время, когда знамя Нового Завета повержено во прах! Лучше бы вы, забыв о суете, молились, стоя на коленях!.. Однако, мне приходится сознаться, что ваше платье идет вам. И если вы сегодня собираетесь встретиться с любимой вами девушкой, я готова извинить вас. Молодежь – всегда молодежь!

Она вздохнула.

– Помню, когда мистер Мак-Ранкин явился ухаживать за мной (давно это было, давно!), я надела зеленое платье, отделанное кантиками. Говорили, что оно очень шло ко мне. Я никогда не отличалась красотой, но мое лицо было бледно, выразительно и интересно.

Пока я сходил с лестницы, мистрис Мак-Ранкин все время стояла на площадке со свечей в руке и, перегнувшись через перила, смотрела на меня.

Мистер Робби давал не вечер, а вечеринку. Я не хочу сказать этим словом, что к нему собралось мало гостей; напротив, все комнаты его квартиры были переполнены; но хозяин не прилагал особенных стараний занять общество. В гостиной стояли столы, и старички играли в вист. В зале молодежь как умела развлекала себя. Дамы сидели; мужчины стояли кругом с равнодушным или важным видом. Очевидно, единственным средством не скучать была беседа; впрочем, на столах лежали прекрасно иллюстрированные журналы; мужчины показывали дамам иллюстрации. Мистер Робби большей частью сидел в карточной комнате и только мимоходом появлялся в гостиной. Очувтившись среди молодежи, он, как шарик, перекачивался от группы к группе, имея вид всеобщего дядюшки.

В этот день Флора случайно встретила его.

– Ну, мисс Флора, – сказал он ей, – приезжайте сегодня пораньше; мне хочется вам показать одного феникса! Я говорю о мистере Дьюси; он мой клиент, и я в него влюбился.

Адвокат сказал еще несколько слов о моей наружности, и после этого Флора заподозрила истину. Поэтому, приехав вечером к адвокату, молодая девушка не была спокойна: ее мучило предчувствие. Флора села недалеко от двери; там-то я и увидел ее, окруженную роем скучных, вялых молодых людей. Когда я подходил к ней, она поднялась со стула и самым естественным образом приветствовала меня, очевидно, заранее приготовленной фразой.

– Как вы поживаете, мистер Дьюси? Я не видела вас целую вечность!

– Мне нужно многое рассказать вам, мисс Гилькрист, – сказал я. – Вы позволите присесть подле вас?

Ловкая девушка, сев у двери, бросила на стул, стоявший рядом с ее стулом, свою шаль и тем сохранила для меня место.

Она сняла шаль с сиденья; молодые люди, окружавшие ее, были так деликатны, что отошли и оставили нас вдвоем. Как только я опустился на стул, Флора принялась обмахиваться веером и, полужакрывшись им, шепнула:

– Вы безумец!

– Влюблен до безумия.

– Я не в состоянии этого переносить. Неужели вы не понимаете, что я испытываю? – произнесла она. – Что вы скажете Рональду, майору Чевениксу и моей тетке?

– Ваша тетка? – повторил я, вздрогнув. – Рессави! А она здесь?

– Тетя играет в вист, – ответила Флора.

– Вероятно, она целый вечер не встанет из-за стола, – подсказал я.

– Быть может, – согласилась Флора. – Большой частью так бывает.

– Ну, я постараюсь не заходить в карточную комнату, ведь я и так не стремился туда. Я здесь не для того, чтобы играть в карты, а затем, чтобы вволю насмотреться на одно существо, если только возможно насмотреться на него, и сообщить ему хорошие вести.

– Но ведь тут еще Рональд и майор, – настаивала Флора. – Они не станут сидеть за картами... Рональд всегда ходит из одного места в другое, Чевеникс же...

– Сидит с мисс Флорой, – перебил я, – и говорит с ней о бедном Сент-Иве? Я угадал это, дорогая, и мистер Дьюси явился мешать майору. Но не беспокойтесь! Для меня страшна только ваша тетушка.

– Почему именно она?

– Потому, что ваша тетушка очень умная дама, моя дорогая, и как все умные женщины, она резка и стремительна, – ответил я. – На подобных женщин можно рассчитывать, лишь отведя их в уголок и там разумно потолковать с ними, как я толкую с вами. Тетушка ваша была бы готова сделать страшный скандал, не обращая ни малейшего внимания ни на опасность моего положения, ни на чувства нашего радушного хозяина.

– Хорошо, – произнесла Флора, – а что вы скажете о Рональде? Вы думаете, что он-то неспособен на резкую выходку? Мало же вы его знаете!

– Мне кажется, я отлично понимаю его. Необходимо только, чтобы «я» заговорил с вашим братом, а не он со мной, вот и все.

– Так прошу вас, подите и поговорите с ним, – заметила Флора. – Вон брат, вы видите? Он стоит в другом конце гостиной и разговаривает с девушкой в розовом платье.

– Как, потерять место рядом с вами, не сообщив вам хорошей вести! – вскрикнул я. – Нет, полно! Обратите немножко внимания на меня и на то, что я хочу вам сказать. Я полагал, что к людям, приносящим хорошие известия, относятся благосклонно. Надеялся я также, что вестник и сам по себе будет принят ласково! Подумайте, у меня только один друг на свете. Дайте же мне остаться с ним! Только одно слово жажду я слышать. Дайте же мне возможность услышать его!

– О, Анн, – со вздохом произнесла Флора, – неужели, если бы я не любила вас, я тревожилась бы до такой степени? Из-за вас я стала совершенной трусихой, милый. Поставьте себя на мое место, вообразите, что вы в полной безопасности, а мне грозят всякие ужасы.

Ее замечание в мгновение ока доказало всю мою тупость.

– Прости меня Господь, дорогая, – поспешно ответил я. – Я никогда не думал об оборотной стороне вопроса.

Поспешно рассказал я Флоре о судьбе погонщиков и встал, чтобы пойти к Рональду, заметив:

– Вы видите, дорогая, как я послушен.

Флора взглянула на меня взглядом, который вознаградила меня за все; когда я отвернулся от нее с таким чувством, будто я отворачиваюсь от солнца, – воспоминание об этом взгляде ласкало мне сердце. Девушка в розовом платье, особа высокого роста, кокетничала и делала глазки. У нее были большие глаза, большие зубы, широкие плечи, речь ее так и лилась. По фигуре и манерам Рональда я сейчас же ясно понял, что он благоговел даже перед тем стулом, на котором сидела его собеседница. Но я поступил безжалостно: я положил руку на плечо юноши как раз в то время, когда он нагибался над нею, точно курица над цыпленком.

– Прошу извинения, мистер Гилькрист, – сказал я, отводя его в сторону.

Рональд вздрогнул, стараясь придумать ответ, но не мог выговорить ни слова, на лице его выразалось неопишное изумление.

– Да, это я сам! – продолжал я. – Простите, что я прервал ваш приятный разговор, но вы же знаете, что прежде всего у нас есть обязанности относительно мистера Робби. Нехорошо было бы, если бы в его гостиной произошла сцена, поэтому я решил, что необходимо предупредить вас. Я ношу имя Дьюси. Говорю это на всякий случай.

– Знаете... знаете, это Бог знает что такое! – вскричал Рональд. – Что вы тут делаете, черт побери!

– Тс... тсс!.. Тут не место объясняться, мой милый, – сказал я. – Если вам угодно, придите ко мне сегодня же после вечера мистера Робби. Мы можем за сигарой потолковать с вами. Здесь же, право, говорить неудобно.

Раньше чем Рональд успел прийти в себя, я уже дал ему адрес в Сент-Джемс-сквере и смешался с толпой. Увы, мне не удалось сейчас же вернуться к Флоре! На дороге я встретил мистера Робби, он поймал меня и стал без умолку болтать. Рассеянно слушая его, я смотрел, как вокруг моего идола снова собиралась толпа несносных молодых людей, и в душе проклинал судьбу и моего хозяина. Вдруг мистер Робби вспомнил, что я должен ехать в четверг на бал в собрание, и что я явился к нему только затем, чтобы он мог подготовить мне почву для этого бала. Адвокат сейчас же представил меня какой-то молодой девушке. Но я, оставаясь вполне вежливым, сумел удержать подле себя мистера Робби. Как только мы отошли от моей новой знакомой, я увидел майора Чевеникса. Он направлялся к нам, по своему обыкновению держась прямо как палка. Тоже по обыкновению, он был одет до крайности строго.

– Вот человек, с которым я желал бы поговорить, – произнес я, хватая быка за рога. – Не представите ли вы меня майору Чевениксу?

– Сию минуту, дорогой сэр, – ответил мистер Робби и произнес громко: – Майор, подойдите сюда и позвольте мне рекомендовать вам моего друга, мистера Дьюси, который желает познакомиться с вами.

Лицо майора заметно вспыхнуло, но больше он ничем не выдал своего волнения. Чевеникс низко поклонился и сказал:

– Мне кажется, мы где-то встречались прежде?

Я, ответив на поклон, произнес:

– Да, встречались, не будучи по-настоящему знакомы, и я давно искал случая формально представиться вам.

– Вы очень добры, мистер Дьюси, – проговорил майор, – быть может, вы можете мне вспомнить, где именно я имел удовольствие видеть вас?

– О, зачем же выводить меня на чистую воду, – со смехом заметил я, – да еще в присутствии моего поверенного!

– Готов держать пари, – вмешался в разговор Робби, – что когда вы, Чевеникс, встречали мистера Дьюси, он носил имя Сент-Ив. Прошлое моего клиента полно мрака и тайн.

– Помните, я знал мистера Дьюси не под упомянутой вами фамилией, – проговорил майор сквозь зубы.

– Ну, я желаю, чтобы мой клиент оправдался! – продолжал адвокат с самой неудачной шутливостью. – Мне ничего о нем неизвестно! Кто знает, что кроется под его вымышленными именами! Заставьте-ка вашу память поработать, майор, вспомните, где и когда вы встречали мистера Дьюси, и потом скажите мне об этом.

– Непременно, – произнес Чевеникс.

– Производите же розыск, – крикнул Робби, уходя и помахивая рукой.

Как только мы остались одни, майор повернулся ко мне. Я взглянул в его бесстрастное лицо.

– У вас много мужества, – заметил он.

– Мое мужество так же несомненно, как ваше благородство, – отвечал я.

– Вы ожидали встретить меня?

– Вы видели, по крайней мере, что я воспользовался первым удобным случаем, чтобы представиться вам.

– И вы не боялись?

– Нисколько. Я знал, что имею дело с джентльменом. Пусть это слово будет впоследствии вашей эпитафией.

– Но другие ищут вас и не станут шутить, – сказал Чевеникс. – Полиция, мой дорогой сэръ, делает на вас настоящую облаву.

– Мне кажется, выражение немного грубо!

– Вы видели мисс Гилькрест? – спросил Чевеникс, меняя тему разговора.

– Мисс Гилькрест, по отношению к которой, как мне кажется, мы находимся в положении соперников? – спросил я и прибавил: – Да, я видел ее.

– А я ее искал, – произнес майор.

Я чувствовал, что весь дрожу от гнева, полагая, что майор испытывал то же самое. Мы взглядом смерили друг друга.

– Оригинальное положение, – произнес Чевеникс.

– Очень, – подтвердил я. – Но позвольте вам откровенно сказать, что вы раздуваете холодные угли, мне следует предупредить вас из чувства признательности за вашу доброту к пленнику Шамдиверу.

– Вы желаете этим намекнуть, что расположение мисс Гилькрест отдано другому лицу? – спросил он насмешливо. – Благодарю вас. Так как вы сообщили мне ценные сведения, я тоже позволю себе в свою очередь сказать вам несколько слов. Честно ли, деликатно ли, порядочно ли компрометировать девушку, зная, что ухаживание за нею не может кончиться ничем (а вы это отлично знаете)?

Я не мог выговорить ни слова.

– Простите, если я сейчас же прекращу разговор с вами, – продолжал офицер. – Очевидно, наша беседа не приведет ни к какому хорошему результату, кроме того, я намереваюсь употребить этот вечер на нечто более привлекательное.

– Да, – ответил я, – вы правы, наше свидание с вами не будет иметь последствий. Честь связывает вас по рукам и ногам. Вам известно, что меня несправедливо обвиняют, но даже если бы вы и не знали этого, вам, как моему сопернику, все равно пришлось бы или молчаливо стоять в стороне, или поступить низко.

Чевеникс снова изменился в лице.

– На вашем месте я не говорил бы так, – произнес он. – Не слишком ли много вы твердите о низости и благородстве?

Майор отошел от меня и направился к Флоре, сидевшей среди целой свиты юношей. Мне оставалось только идти за ним, мысленно читая себе нравоучения о необходимости владеть собой.

Странно, до чего быстро очень молодые люди исчезают, как только показывается человек лет около двадцати пяти или старше. Юноши, окружавшие Флору, мгновенно рассеялись, завидя майора и меня; они не сделали даже ни малейшей попытки сопротивляться нам; некоторые из них еще бродили кругом, но вскоре и они последовали за остальными, и мы остались втроем. Из двери дуло, и Флора накинула меховую накидку на свои обнаженные плечи, темный мех опушки великолепно оттенял белизну ее кожи. Она вся сияла контрастами. Свет играл на ее нежном взволнованном лице, которое то вспыхивало, то бледнело. В течение мгновения она переводила глаза с одного соперника на другого и видимо колебалась, затем обратилась к Чевениксу, сказав:

– Конечно, вы будете в собрании, майор Чевеникс?

– Вряд ли, боюсь, что мне придется быть в другом месте, – ответил он. – Даже удовольствие танцевать с вами, мисс Флора, должно уступить перед долгом.

Некоторое время разговор шел самым мирным образом. Темой его служила погода, но он скоро коснулся войны. По-видимому, никто не был виноват в том, что беседа приняла такое направление. Это не могло не случиться: мысль о войне наполняла всю атмосферу.

– Хорошие вести с театра военных действий, – сказал майор.

– Да, пока, – заметил я. – Но не скажет ли нам мисс Гилькрест своего личного мнения о войне? Не примешивается ли в вашей душе, мисс Гилькрест, к восхищению победителями маленькая доля жалости к побежденным?

– Да, сэр, – живо сказала Флора, – я испытываю большое сострадание к побежденным. Мне кажется, с молодыми девушками не следует говорить о войне... Я... как это говорится? – не сражающаяся сторона. Напоминать же мне о том, что приходится выносить другим, что они терпят... право, нехорошо.

– У вас, мисс Гилькрест, нежное женское сердце, – заметил Чевеникс.

– Не будьте слишком уверены в его нежности, – с жаром возразила она. – Я с удовольствием сама пошла бы в бой!

– За которую из сторон? – спросил я.

– Как можете вы сомневаться, – ответила Флора. – Я – шотландка.

– Мисс Гилькрест шотландка! – повторил майор, взглянув на меня. – Никто не мешает вам чувствовать сострадание, мисс Гилькрест.

– И я с восторгом преклоняюсь перед каждым малейшим проблеском его, – проговорил я. – Жалость так близка к любви.

– Предоставим самой мисс Гилькрест решить, так ли это, мы подчиняемся приговору. Скажите же, мисс Флора, что ближе к любви – жалость или восхищение?

– Постойте, – заметил я. – Будем конкретнее. Майор, опишите одного из победителей, о которых говорите вы, потом настанет моя очередь, и пусть мисс Флора произнесет свое решение.

– Мне кажется, я понимаю вас, – произнес Чевеникс. – Постараюсь сделать то, о чем вы говорите. Вы полагаете, что сострадание и тому подобные чувства имеют над сердцем женщины особенно сильную власть? Я же считаю женщин выше, благороднее. Мне кажется, что любовь может внушить им только человек, которого они уважают. Он должен быть тверд, горд, если вам угодно, пожалуй, даже сух, но тверд, непременно тверд. Сперва женщина с сомнением взглянет на такого человека, но в конце концов она увидит, что лицо, суровое для всех, становится кротким и нежным для нее. Ей прежде всего необходима вера в силу мужчины. Вот почему женщина любит только человека, достойного звания героя.

– Ваш герой очень честолюбив, сэр, – сказал я. – Я опишу скромное существо, но, как мне кажется, обладающее более человеческими свойствами, нежели ваш идеал. Это человек, не безусловно верящий в свои силы; он не отличается непоколебимой твердостью; взглянув на прекрасное лицо, услышав чудный голос, он отдается чувству любви, не рассуждая. Чего же ему еще просить от женщины, кроме жалости или сострадания к нему, к его любви, в которой вся его жизнь? Вы изображаете женщин существами низшего порядка, смотрящими с восхищением на своих возлюбленных, которые, точно мраморные статуи, стоят на пьедесталах, подняв носы кверху! Господь был мудрее вас, и самый твердый из ваших героев может оказаться человеком в полном значении этого слова. Мы просим королеву рассудить нас, – прибавил я, кланяясь Флоре.

– Что же королеве сказать? – спросила она. – Мне придется дать вам ответ, который не будет ответом, – ветер веет, где хочет. Женщина следует влечению своего сердца.

Флора вспыхнула, я тоже, потому что в ее словах я услышал признание; Чевеникс побледнел.

– Вы превращаете жизнь в страшную лотерею, мисс Гилькрист, – произнес он. – Но я не впаду в отчаяние. Быть честным и простым – вот по-прежнему мой лозунг.

Следует сознаться, что в эту минуту он был удивительно хорош, хотя до смешного походил на одну из тех мраморных статуй с поднятыми носами, о которых я только что упоминал.

– Я не понимаю, почему мы заговорили обо всем этом, – заметила Флора.

– Причиной была война, – ответил Чевеникс.

– Все дороги ведут в Рим, – объяснил я. – О чем же ином мы могли бы говорить с мистром Чевениксом.

Уже некоторое время в комнате, находившейся за моей спиной, слышался шум, но я не обращал на него особенного внимания, хотя, быть может, мне следовало принять его к сведению. Вдруг лицо Флоры заметно изменилось. Она несколько раз выразительно обмахнулась веером и умоляющими глазами взглянула на меня. Очевидно, молодая девушка о чем-то просила меня, мне казалось, что Флора требует, чтобы я ушел, очистив поле действий для моего соперника. Я же, конечно, не желал оставлять с ней Чевеникса. Наконец Флора нетерпеливо поднялась со стула.

– Мне кажется, вам пора проститься, мистер Дьюси, – шепнула мне она.

Я не понимал, почему и высказал ей это. Тогда она произнесла страшные слова:

– Моя тетка выходит из игральной комнаты.

Скорее, чем можно передать это словами, я поклонился Флоре и ушел. В дверях я на мгновение обернулся и имел счастье увидеть профиль старой мисс Гилькрист и ее золотой лорнет. Благодаря взгляду на тетушку, показавшуюся из соседней комнаты, у меня как бы выросли крылья, и через мгновение я уже шел по Замковой улице. Наверху блестели освещенные окна, и неопределенные тени гостей, оставшихся у Робби, мелькали через четырехугольники света, лежавшие под моими ногами.

Глава XXIX

Вторник. В тенетах

Вторник начался с неожиданности. На столе за завтраком я нашел письмо, адресованное Эдуарду Дьюси, эсквайру. Это поразило меня. Совесть превращает нас в трусов! Распечатыв конверт, я увидел, что в нем лежала только записка от адвоката и билет на бал в четверг. Позавтракав, я сел у окна, успокаивая волнение сигарой; Роулей, окончив ту небольшую долю уборки, которая теперь составляла его обязанность, сидел недалеко от меня и с одушевлением играл на дудочке, с особенным увлечением выводя высокие ноты. Вдруг совершенно неожиданно в комнате очутился Рональд. Я предложил ему сигару, придвинул стул к камину и усадил на него моего гостя (чуть было я не написал «спокойно усадил моего гостя», между тем Рональд был неспокоен). Он был как на иголках и не знал, взять ему сигару или отказаться от нее, взяв же ее, он недоумевал, должен ли он закурить ее или отдать мне обратно. Я ясно видел, что ему хотелось что-то сказать мне, и при этом я чувствовал, что он будет говорить с чужих слов, и именно со слов майора Чевеникса. Последнее казалось мне вполне несомненным.

– Вот и вы здесь, – вежливо и радушно заметил я, решившись не выводить моего юного друга из затруднительного положения. «Если он пришел ко мне с поручением от моего соперника, – думалось мне, – я предоставлю ему свободу действовать, но не окажу ни малейшей помощи».

– Дело в том, – начал юноша, – что мне хотелось бы говорить с вами наедине.

– Понятно, – ответил я и прибавил: – Роулей, вы можете пройти в спальню. Мой дорогой, – продолжал я, обращаясь к Рональду, – ваши слова предвещают нечто серьезное. Надеюсь, не случилось ничего дурного?

– Буду откровенно говорить, – сказал Рональд. – Я очень рассержен и расстроен.

– Держу пари, что я знаю причину вашего недовольства, и что мне будет легко успокоить вас!

– О чем вы говорите? – спросил он.

– Вероятно, вы попали в несколько затруднительное положение, – проговорил я, – и могу только заметить, что вы пришли именно туда, куда вам следовало прийти. Если вам нужна сотня-другая фунтов или иная маленькая сумма в этом роде, прошу вас не стесняться. Мой кошелек к вашим услугам.

– Вы очень добры, – сказал Рональд, – и хотя я не знаю, как вы могли угадать истину, но я действительно в несколько стесненном положении. Однако я пришел не затем, чтобы говорить о деньгах.

– Да и не стоит говорить о них! – воскликнул я. – Однако, Рональд, вы должны понимать, что я отношусь к вопросу о ваших денежных затруднениях совершенно иначе, нежели относитесь к нему вы. Вспомните, что вы оказали мне одну из тех услуг, которые поселяют в душе человека чувство вечной дружбы... Теперь я получил довольно значительное состояние и считал бы себя счастливым, если бы вы смотрели на него как на свою собственность.

– Нет, – сказал Рональд, – я не могу взять от вас денег, право, не могу... кроме того, я пришел по другому делу... я хотел говорить с вами о моей сестре, Сент-Ив, – и юноша с угрозой повернулся ко мне.

– Право, – настаивал я, – в вашем распоряжении около пятисот фунтов. Во всяком случае, помните, что как только деньги понадобятся вам, вы их найдете у меня.

– Ах, замолчите пожалуйста! – вскрикнул Рональд. – Я пришел, чтобы сказать вам много неприятных вещей. Но решусь ли я на это, раз вы отнимаете у меня положительно всякую возможность начать вас упрекать! Как я уже заметил вам, я пришел сюда, чтобы говорить о

сестре. Вы сами понимаете, что необходимо изменить положение вещей. Вы компрометируете ее, и ваше знакомство с нею не может привести ровно ни к чему. Вдобавок я не согласился бы, чтобы какая-либо из моих родственниц сближалась с человеком вроде вас (вы сами должны это чувствовать). Мне очень неприятно говорить вам такие вещи. Знаете, мне все кажется, что я бью лежачего, и я даже сообщил майору о моем чувстве. Между тем я должен был вам высказать правду, дело сделано и нам незачем снова поднимать этот вопрос.

– Я компрометирую вашу сестру, знакомство со мной не может привести ни к чему... люди вроде меня... – задумчиво повторил я. – Мне кажется, я понимаю вас, и мне следует поскорее официально объясниться с вами.

Я поднялся со стула, отложил сигару в сторону и, поклонившись, произнес:

– Мистер Гилькрист, в ответ на ваши вполне естественные замечания я имею честь просить у вас руки вашей сестры. Я ношу титул, во Франции мы довольно легко смотрим на титулы, но, кроме того, я происхожу из очень древнего рода, что ценится решительно везде. Я могу указать вам на тридцать два поколения моих предков, незапятнанных ни единым позорным деянием. В будущем я рассчитываю обладать богатством, которое, конечно, превысит размер среднего состояния. Доходы моего внучатого дяди, кажется, равняются тридцати тысячам фунтов в год, хотя я и не справлялся об этом. Скажем, что они не менее пятнадцати и не более пятидесяти тысяч фунтов.

– Подобные вещи легко говорить, – сказал Рональд, улыбаясь с выражением сострадания. – К сожалению, все это так... в воздухе.

– Прошу прощения, не в воздухе, а в Бекингэм-шире, – заметил я с усмешкой.

– Я хотел сказать, дорогой Сент-Ив, что вы не в состоянии доказать ваших слов, – продолжал он. – Все, что вы говорите, может быть совершенно ложно, – вы слушаете меня? – вы ничем не можете подтвердить справедливость ваших утверждений.

– Пойдите! – крикнул я, вскочив и подбегая к столу. – Пойдите.

Я написал адрес Ромэна.

– Вот на кого я ссылаюсь, мистер Гилькрист. Пока вы не напишете Ромэну и не получите от него отрицательного ответа, вы должны обращаться со мной как с джентльменом.

Мои слова подействовали на Рональда.

– Прошу извинить меня, Сент-Ив, – сказал он, – поверьте, я не хотел оскорбить вас. Но вот в чем беда: я не могу сказать ни слова возражения, ни обидеть вас; простите меня, я делаю это неумышленно. Во всяком случае, вы сами видите, что вашего предложения невозможно принять... Оно не имеет смысла. Наши страны воюют. Вы – пленник.

– Один из моих предков во времена лиги, – возразил я, – женился на гугенотке. Он проехал двести миль по враждебной стране, чтобы увезти свою невесту. И они были очень счастливы.

– Ну... – начал было Рональд, но замолчал, опустив глаза.

– Что же? – спросил я.

– Ну... а Гогела?.. – произнес юноша, смотря в камин на уголья.

Я так и подскочил, вскрикнув:

– Что, что вы говорите?

– История с Гогелой, – повторил он.

– Рональд! – произнес я. – Вы говорите не по собственному побуждению. Я знаю, кто вам подсказал эти слова, – низкий человек шепнул их вам.

– Сент-Ив, – возразил юноша, – зачем вы стараетесь сделать этот разговор еще тяжелее для меня? Зачем вы оскорбляете других людей? Я не могу принять предложения человека, на котором лежит чересчур тяжелое обвинение! Вы сами должны понять это. Ваше намерение жениться на моей сестре – самая нелепая вещь в мире.

– И только потому, что я дрался на дуэли, только потому, что эта дуэль окончилась несчастливо, вы – юный солдат или почти солдат, отказываете мне в руке вашей сестры? Так ли я понял вас? – спросил я.

– Милый мой, – жалобно произнес Рональд, – конечно, вы можете превратно истолковывать мои слова. Вы говорите, что это была дуэль... Я же не могу сказать вам, что... я не могу... мне кажется... вы сами видите, в чем заключается вопрос. Это была дуэль? Я не знаю.

– Я имел честь сказать вам, что дрался на дуэли, – произнес я.

– Видите ли, другие утверждают иное.

– Они лгут, Рональд, и я докажу это.

– Одним словом, тот человек, который так несчастлив, что о нем говорят подобные вещи, не может быть мужем моей сестры! – крикнул Рональд.

– Вы знаете, кто на суде будет первым свидетелем в мою пользу? Артур Чевеникс, – сказал я.

– Мне все равно, – произнес юноша, встав со стула и принимаясь ходить взад и вперед по комнате. – Чего вы хотите, Сент-Ив? О чем мы говорим? Я как во сне! Вы сделали предложение, я отказал вам. Мне оно не нравится, мне его не нужно. Кроме того, не во мне вопрос: моя тетка ни за что и слышать о нем не захочет! Разве вам недостаточно этого?

– Помните, Рональд, что мы с вами играем обоюдоострым оружием, – сказал я. – Предложение руки – щекотливый предмет. Вы отказали мне и привели множество причин вашего отказа. Прежде всего вы называли меня обманщиком, затем напомнили о войне, далее вы сказали, что я бесчестно убил Гогелу, или что на меня возводят подобное обвинение. Ну, милейший мой, все это жалкие причины для отказа! Если бы кто-либо другой говорил со мной таким образом, я был бы страшно возмущен; полагаю, вы сами понимаете это. Но в настоящем случае у меня связаны руки. Не говоря уже о том, что я люблю вашу сестру, я настолько благодарен вам за прошлое, что вы можете вполне безнаказанно оскорблять меня! Мне приходится жестоко страдать, не имея возможности защищаться.

В начале моей речи Рональд порывался перебить меня, но, когда я замолчал, он долгое время стоял, не произнося ни слова.

– Сент-Ив, – сказал наконец Рональд, – полагаю, мне лучше уйти. Все это ужасно раздосадовало нас обоих. Право, я не желал обижать вас, и я прошу у вас прощения. Я уважаю вас как джентльмена. Мне хотелось только сказать вам, почему я считаю невозможным принять ваше предложение. Будьте уверены в одном: «я» и не подумаю предпринимать что-либо против вас. Вы пожмете мне на прощанье руку? – пробормотал он в заключение.

– Да, – подтвердил я, – действительно, этот разговор раздосадовал нас обоих. Ну, что прошло, то прошло! Прощайте Рональд!

– Прощайте, Сент-Ив, мне очень грустно, что все произошло таким образом, – и он ушел.

Окна моей гостиной выходили на север, но входной коридор освещался со стороны сквера, а потому я мог следить за печальным отступлением Рональда. Вскоре к нему подошла какая-то фигура, в которой я узнал майора Чевеникса. При виде встречи двух друзей я чуть не захохотал: я предвидел, какой разговор начнется между ними, и даже мысленно слышал замечания: «Я вам говорил», или «Но я же не говорил вам!», звучащие, как лязг мечей. Без сомнения, они немного выиграли от визита Рональда, но мое положение было еще хуже, нежели положение моих противников, и вдобавок беседа с юным Рональдом произвела на меня удручающее впечатление. Рональд закусил удила и окончательно отказал мне. Это не представляло для меня неожиданности, но все же я не мог причислить к хорошим новостям отказ брата Флоры. Теперь я твердо знал, что когда я уеду во Францию, будет сделано решительно все, чтобы заставить любимую мной девушку отказаться от навязчивого француза и принять предложение майора. Конечно, Флора устоит, но мысль о тех просьбах и доводах, которыми будут

осаждать бедняжку, была мне неприятна, и я решил, что ее необходимо предупредить и подготовить к борьбе.

Я считал бесполезным стараться увидеть Флору днем, но задумал сегодня же рано вечером попытаться пробраться в Суанстон. Мне следовало также подумать и о путешествии во Францию. Тут, в Эдинбурге, море было всего в четырех милях от меня; я мог явиться наудачу к рыбакам, держа в одной руке шляпу, а в другой нож, однако подобное предприятие показалось мне таким отчаянным, что я решил лучше вернуться к дому Берчеля Фенна и вторично постучаться в его двери. Для этого мне были нужны деньги. Отдав Флоре бумаги, я сохранил у себя тысячи полторы фунтов, но эта сумма и была у меня, и не была: после завтрака в доме Робби я, удержав тридцать фунтов, отнес остальные деньги в банк на Джордж-стрит и положил их на имя мистера Роулей; в то время я думал оставить их моему слуге, если мне придется поспешно уехать. Теперь мне самому понадобилась эта сумма, и я отправил в банк моего юного слугу, с его кокардой и прочей амуницией, приказав юноше взять обратно полторы тысячи фунтов. Роулей долго не возвращался, а когда снова явился ко мне, его лицо горело. В руке Роулей держал квитанцию.

– Дело не подходящее, мистер Анн, – сказал он.

– Как так?

– Я нашел банк, сэр, и все как следует, – продолжал юноша. – Но, Боже Ты мой, как я перепугался! У дверей стоял вкладчик. И знаете, мистер Анн, кто это был? Тот самый красножилетник, с которым я завтракал близ Эйльсбери!

– Вы не ошиблись?

– Нет, наверно не ошибся, – отвечал Роулей. – Я не говорю, что это был мистер Лавендер, нет, я узнал бывшего с ним товарища и подумал: «Это неладно».

– Да, неладно, – согласился я.

Я в раздумье ходил по комнате. Конечно, этот сыщик лондонской полиции мог случайно быть в Эдинбурге. Однако, конечно, странное стечение обстоятельств заставило его разговаривать с моим слугой в трактире «Зеленого Дракона» и теперь привело в Шотландию, как раз к дверям того банка, в котором хранились деньги Роулей!

– Роулей, – сказал я, – он не видел вас?

– Не бойтесь, – проговорил Роулей, – поверьте, мистер Анн, сэр, если бы он заметил меня, вы меня больше не видали бы! Ведь я не осел, сэр.

– Ну, мой мальчик, вы можете спрятать в карман эту квитанцию и представить ее в банк только тогда, когда совершенно отделаетесь от меня. Смотрите только, не потеряйте бумажку. Это ваша доля из волшебной рождественской шкатулки – тысяча пятьсот фунтов.

– Простите меня, мистер Анн, сэр, но зачем мне эти деньги? – сказал Роулей.

– Чтобы открыть харчевню, – продолжал я.

– Извините меня, сэр, но у меня нет призвания открыть трактир, сэр, – гордо ответил он. – Мне кажется, сэр, я слишком молод для этих денег. Я ваш слуга или никто.

– Ну, Роулей, – заметил я, – я скажу, за что даю вам эти деньги. Я дарю их за оказанную вами услугу, о которой я не хочу и не смею говорить, за вашу честность относительно меня, за вашу душевную свежесть и бодрость, мой друг. Я предназначаю эти деньги вам. Так как сыщик ждет подле банка, деньги должны лежать в кассе, пока я не уеду.

– Пока вы не уедете, сэр? – повторил Роулей. – Могу вам сказать мистер Анн, сэр, что куда бы вы ни направились, я не оставлю вас.

– Милый мой мальчик, – проговорил я, – нам придется расстаться в очень скором времени, вероятно, завтра. Это нужно, нужно для меня, Роулей. Поверьте, сыщик стоит подле банка не ради вас! Каким образом они могли так скоро узнать о вложенной мною в банк сумме, я не понимаю! Вероятно, какое-нибудь странное стечение обстоятельств выдало им меня. Однако факт налицо. Теперь мне не только нужно будет проститься с вами, но и попро-

силь вас до последней минуты не выходить из дому. Помните, мой мальчик, что только этим путем вы будете в состоянии оказать мне услугу.

– Раз вы это говорите, сэра, так и будет, – с жаром произнес Роулей. – Ничего не делать вполсилы – вот мой девиз. Я ваш телом и душой, в счастье и в беде, я готов для вас жить и умереть!

До заката приходилось бездействовать. Я видел только один выход из своего положения, а именно: мне следовало как можно скорее найти возможность поговорить с Флорой, моим единственным банкиром, но до наступления темноты нечего было и думать об этом. В ожидании вечера мне приходилось сидеть дома, развлекаясь чтением «Каледонского Меркурия», сообщавшего о неудачах французов и передававшего запоздалые известия о нашем отступлении из России; порой при чтении газеты чувство гнева и обиды прогоняло мою сонливость, порой я дремал, читая бесплодные разглагольствования о внутренних делах страны. Вдруг я совершенно случайно натолкнулся на заметку:

«В отель „Дембрек“ только что прибыл виконт де Сент-Ив».

– Роулей, – позвал я.

– Что прикажете, мистер Анн? – ответил почтительный юноша, опуская трубку.

– Взгляните-ка на это, – сказал я, протягивая к нему газету.

– Батюшки, – вскрикнул Роулей, – это он, наверное он!

– Наверное, Роулей, – подтвердил я. – Он напал на наш след и настиг нас. Я готов поклясться, что виконт и этот сыщик приехали вместе. И теперь в Эдинбурге вся охота: дичь, охотники, собаки!

– Что же вы теперь будете делать, сэра! Предоставьте мне все заботы, сэра, пожалуйста! Подождите одну минуту, я переоденусь и проберусь в этот Дем... в отель и посмотрю, кто из них там. Поверьте мистер Анн, я очень осторожен.

– Нет, нет, Роулей, не забывайте, вы пленник, я тоже пленник или нечто вроде этого. Если вы выйдете на улицу, это будет для меня равняться смерти.

– Как вам угодно, сэра.

– Кроме того, – продолжал я, – вам нужно простудиться или нечто в этом роде. Нехорошо возбуждать подозрения миссис Мак-Ранкин.

– Простудиться? – вскрикнул он, сейчас же развеселившись. – Я могу отлично сыграть комедию.

И мой юный слуга принялся чихать, кашлять и сморкаться так, что я невольно улыбнулся.

– О, я умею проделывать такие штуки, – с гордостью произнес он.

– Ну, они теперь пригодятся, – сказал я.

– Мне кажется, я должен показаться старухе, правда? – спросил Роулей.

Я сказал ему, что это будет хорошо, и он сейчас же исчез из комнаты с таким радостным лицом, точно спешил играть в футбол.

Я взял газету и стал невнимательно читать ее, но вдруг мне снова на глаза попались многозначительные строки:

«По поводу недавно случившегося ужасного убийства в замке, – гласила газета, – мы можем довести до сведения общества следующее: предполагают, что солдат Шамдивер находится вблизи от Эдинбурга. Он немного ниже среднего роста, лицо его приятно, манеры до крайности изысканны. Как говорят, в последний раз его видели в жемчужно-сером платье и в сапогах с желтоватыми отворотами. Его сопровождает слуга лет шестнадцати. Шамдивер говорит по-английски без малейшего акцента. Когда его видели, он называл себя Раморни. Тому, кто захватит его, правительство обещает награду».

Через мгновение я уже был в соседней комнате и с бешенством стаскивал с себя жемчужно-серое платье.

Сознаюсь, я страшно волновался. Трудно спокойно смотреть на то, как сеть окружает вас, и я был доволен, что Роулей не видел моего смущения. Краска залила мне лицо, я дышал с трудом. Мне кажется, никогда в жизни не волновался я более, нежели в эти минуты.

А между тем мне приходилось ждать в полном бездействии, обедать и разговаривать с вечно словоохотливым Роулем как ни в чем не бывало! Если бы мне не казалось необходимым беседовать с миссис Мак-Ранкин, все было бы еще ничего! Но Бесси! С моей квартирной хозяйкой случилось что-то особенное. Почему она все время упрямо молчала? Почему ее глаза краснели от слез? Почему я слышал звук ее долгих молитв? Конечно, она прочла статью и узнала роковую жемчужно-серую одежду! Теперь я вспоминал, с каким многозначительным видом она положила газету на мой стол, с каким не то полным сострадания, не то вызывающим сопением она сказала: «Вот вам „Меркурий“».

Однако с этой стороны мне не грозила неминуемая, немедленная опасность. Трагическое поведение миссис Мак-Ранкин доказывало, что она волнуется. По-видимому, моя квартирохозяйка боролась с совестью, и битва еще не пришла к концу. Меня волновал вопрос, что делать? Я боялся касаться сложного и таинственного механизма, составлявшего душу миссис Мак-Ранкин. От одного слова она вся могла запылать, и было трудно предсказать, какое направление примет ее горячность. Она походила на плохо приготовленный фейерверк! Я хвалил себя за то, что сумел расположить ее к себе, но решительно недоумевал, какое принять решение. Я считал одинаково опасным настаивать на обычных проявлениях наших дружеских отношений и пренебрегать ими. Одна крайность могла показаться несносным бесстыдством, другая – была равносильна полному признанию вины. Вообще, когда стало темнеть и на улице раздался голос сторожа, я почувствовал облегчение и вышел из дому.

Я пришел к коттеджу, когда не было еще и семи часов. Входя на подъем, ведущий к садовой стене, я с удивлением услышал лай собаки. И прежде на меня лаяли собаки, но тогда лай их доносился из деревушки, стоявшей на горе выше коттеджа. Теперь же пес был, очевидно, в суанстонском саду. Я слышал, как он прыгал и рвался с цепи. Я подождал, чтобы гнев чудовища несколько поубавился, затем стал осторожно подкрадываться к садовой ограде. Однако как только моя голова показалась из-за вала, снова раздался еще более бешеный лай. Почти в то же мгновение дверь коттеджа отворилась и на пороге дома показались Рональд и майор с фонарем в руках. Они были близко от меня, и я слышал их разговор. Майор успокоил собаку, которая перестала лаять, но тихо ворчала и время от времени тьякала.

– Хорошо, что я привел Тоузера, – сказал Чевеникс.

– Да где же этот негодяй? – произнес Рональд, то поднимая, то опуская фонарь, вследствие чего тьма и свет в саду сменялись самым прихотливым образом. – Не сделать ли мне вылазку? – прибавил брат Флоры.

– Нет, – возразил Чевеникс. – Когда я согласился явиться снова и превратиться в часового, я поставил несколько условий, мастер Рональд, не забывайте этого! Военная дисциплина, мой друг! Мы должны обойти дом по этой дорожке, и только. Тише, Тоузер! Ну, ну, хороший пес, тише же, тише! – продолжал он, лаская проклятое чудовище.

– Только подумать, что этот бродяга, быть может, слышит нас в это мгновение! – крикнул Рональд, отошедший на несколько шагов.

– Это просто невозможно, – ответил майор. – Вы здесь, Сент-Ив? – прибавил он отчетливо, но сильно понизив голос. – Скажу вам, что вы сделаете лучше, если уйдете домой. Мистер Гилькрест и я усердно караулим коттедж.

Я проиграл игру.

– Beaucoup de plaisir, – ответил я так же тихо. – Il fait un peu froid pour veiller; gardez vous des engelures²².

Вероятно, припадок неукротимого бешенства затуманил рассудок майора, и вот, несмотря на добрый совет, данный Рональду им же самим, Чевеникс спустил собаку с цепи; она как стрела бросилась ко мне, я отступил, поднял булыжник весом фунтов в двенадцать и приготовился к обороне. Одним прыжком Тоузер очутился наверху ограды. Почти в ту же минуту мой камень попал в морду пса. Собака глухо взвизгнула и упала в сад; я слышал, что вместе с нею упал и мой двенадцатифунтовик.

– Будь проклят он! – странным голосом крикнул Чевеникс. – Неужели он убил мою собаку?

Я понял, что мне следует поспешить прочь.

²² Желая большого удовольствия. Для ночного бдения холодновато. Берегитесь простуды.

Глава XXX

Среда. Крэмондский университет

Мою душу переполняли опасения, доходившие до ощущения, которое следовало бы назвать началом панического страха. Долго лежал я в постели, раздумывая о моем положении. Ничто не могло успокоить меня, напротив, со всех сторон мне грозила беда: коттедж стерегли; если я не убил собаки, страшное чудовище помогало караулить дом; если же я убил пса, то его хозяин, конечно, только удвоил свою бдительность. Благодаря простительному тщеславию, пробужденному любовью, я отдал все мои деньги Флоре; в ту минуту мне казалась привлекательной мысль, что преследуемый изгнанник явится любимой девушке, подобно Юпитеру, в виде золотого дождя, и отдаст тысячи в руки возлюбленной. Потом в припадке безумия я запрятал в банк оставшуюся у меня сумму! Теперь следовало вернуть деньги от Флоры или из банка. Но откуда и как?

Ворочаясь в постели, я придумал три выхода из моего положения, все они казались очень опасными. Кто знает, думалось мне, не ошибся ли Роулей? Быть может, в банке был совсем не сыщик. Мой слуга мог еще раз попробовать получить деньги. В этом заключался первый ход. Вторым была помощь Робби, наконец, в крайнем случае, ничто не мешало мне поставить все на карту, поехать на бал собрания и на глазах целого Эдинбурга переговорить с Флорой. С последним образом действий соединялась ужасная опасность и, кроме того, в этом случае мне пришлось бы ждать невыносимо долго – до четверга. Я сейчас же прогнал мысль о бале и стал обдумывать другие предложения. Я полагал, что Робби получил добрый совет не иметь со мной никаких сношений. Полицейская часть дела семьи Гилькрисст всецело находилась в руках Чевеникса, и я не сомневался в том, что майор принял эту необходимую предосторожность. Иначе мне было бы нетрудно спастись: Робби дал бы мне возможность обменяться с Флорой письмами или встретиться с нею лично, и я мог бы сегодня же к четырем часам очутиться на дороге к югу, то есть стать свободным человеком. Во всяком случае, прежде всего я хотел удостовериться, есть ли засада подле банка или нет.

Я позвал Роулея, чтобы подробно расспросить его о наружности сыщика.

– Какого он вида? – спросил я моего слугу, начав одеваться.

– Какого вида? – повторил Роулей. – Право, я не вполне понимаю вас, мистер Анн. Он некрасив.

– Он высок ростом?

– Высок ли? Нет, не особенно, мистер Анн.

– Значит, мал?

– Мал? Я не думаю, чтобы вы его назвали маленьким.

– Он среднего роста?

– Пожалуй, только это как-то не вполне так.

Я проглотил проклятие.

– У него выбритое лицо? – попытался я продолжать расспросы.

– Бритое ли? – повторил Роулей с прежним тревожно невинным видом.

– Господи Боже, да не повторяйте как попугай каждое мое слово! – воскликнул я. – Опишите мне сыщика, мне крайне важно иметь возможность его узнать!

– Я стараюсь описать. Но, право, не могу хорошенько вспомнить, бритое ли у него лицо, то мне кажется, что бритое, то представляется, будто он с усами... Вот теперь мне кажется, что у него были усы.

– У него красное лицо? – прокричал я, останавливаясь на каждом слове.

– Не сердитесь, мистер Анн, – сказал Роулей, – право же, я опишу вам все подмеченные мною в нем черты. Красное ли у него лицо? Гм... нет, нет, не очень.

Страшное спокойствие овладело мною, и я спросил:

– Был ли он бледен?

– Мне не кажется, чтобы он отличался бледностью. Но скажу вам по правде, что я не обратил на это особенного внимания.

– Походит он на пьющего человека?

– Ну, нет. Скорее я сказал бы, что любит поест.

– О, он толст?

– Нет, сэр, толстым я его не назову, нет, он не толст, а скорее худощав.

Мне незачем было продолжать этот бесивший меня разговор. Он не привел ни к чему, только Роулей расплакался, а о сыщике у меня появилось понятие, что он какого мне угодно роста и худощав или толст тоже по моему желанию, притом же не то выбритый, не то с усами. О цвете его волос Роулей сказал, что он не решается назвать этот оттенок тем или другим именем; глаза у сыщика, по словам моего слуги, были голубые... нет, нет, Роулей со слезами уверял, что теперь отлично, отлично помнит их! Оказалось, что глаза агента черны как уголь, очень малы и сидят очень близко друг к другу. Вот какие показания дал мне мой бедный лакей! Какие же положительные сведения собрал я об агенте тайной полиции? Все данные, извлеченные мною из разговора с Роулеем, касались не наружности этого человека, а его одежды. На сыщике были короткие панталоны, пуховый жилет и белые чулки; сюртук его показался Роулею светлым или имевшим переходный оттенок между светлой и темной краской. Описание не удовлетворило меня; Роулей видел это и потому шепотом вызвал меня из-за стола, когда я завтракал, и показал мне прохожего.

– Вот он, сэр, – сказал Роулей, – совсем он! Только этот господин, пожалуй, одет получше, да немножко повыше его. Лицом же он совсем на него не похож. Нет, посмотрев на прохожего еще раз, я вижу, что он нисколько, нисколько не походит на сыщика!

– Болван! – произнес я, и мне кажется, что даже самый рьяный поборник хороших манер сознается, что я имел право дать этот эпитет моему слуге.

Между тем наружность миссис Мак-Ранкин еще увеличивала тревогу, терзавшую меня. Было очевидно, что она не спала, и не менее очевидно, что она много плакала. Прислуживая за столом, Бесси вздыхала, стонала, задыхалась, покачивала головой. Словом, она походила на петарду, готовую разразиться истерикой, и я не посмел заговорить с нею. На цыпочках вышел я из дому и бегом спустился с лестницы, боясь, чтобы она не позвала меня обратно. Такое напряженное состояние не могло длиться долго.

Прежде всего я отправился на Джордж-стрит и, к счастью, явился к банку как раз в то время, когда слуга открывал ставни окон. С ним разговаривал какой-то человек в белых чулках и пуховом жилете. Лицо незнакомца поражало безобразием. По-видимому, это согласовывалось с описанием Роулея. Ведь он уверял, что товарищ великого Лавендера некрасив. Я сейчас же отправился к мистеру Робби и позвонил у его двери. Мне отворила служанка, выслушала меня и, как я почти ожидал, сказала, что адвокат занят.

– Как прикажете доложить о вас? – продолжала она. Когда же я сказал ей «мистер Дьюси», она прибавила: – Кажется, вот это оставлено для вас, – и передала мне записку, лежавшую на столе в передней. Я прочел:

*«Дорогой мистер Дьюси, я могу вам дать только один совет – уехать на юг quia primum.
Ваш Т. Робби».*

Это было коротко и ясно. Письмо уничтожило всякую надежду на Робби. Я старался отгадать, что сказали ему, и надеялся, что Робби узнал не слишком многое; этот отрекшийся

от меня адвокат нравился мне. В конце концов я решил, что Чевеникс не мог быть чересчур откровенным на мой счет: я не считал его способным быть жестоким без нужды.

Я пошел обратно по Джордж-стрит, чтобы посмотреть, продолжает ли человек в пуховом жилете стоять настороже, но его не было. Я заметил на противоположной стороне улицы, почти против банка, дверь на лестницу и решил, что лучшего наблюдательного пункта найти невозможно. С деловым видом направился я к двери, открыл ее и лицом к лицу столкнулся с незнакомцем в пуховом жилете. Я остановился, извинился. Он ответил мне на чистом английском наречии, без малейшего акцента; это лишило меня последних сомнений. Понятно, что после этой встречи мне пришлось подняться до верхнего этажа, звонить во множество квартир, спрашивать, не здесь ли живет мистер Вавазор, и (без особенного удивления) слышать, что его нет в этом доме. Наконец, я снова сошел вниз, снова вежливо поклонился сыщику и вышел на улицу.

Теперь мысль о бале снова пришла мне в голову. Комбинация с адвокатом не удалась, банк стерегли, послать Роулея за деньгами было невозможно. Мне оставалось только ждать и затем явиться в собрание, мысленно сказав себе: «Будь что будет». Однако приняв это решение, я не чувствовал спокойствия. Мне следовало запастись бальным платьем и предстояло для этого отправиться в одну из тех частей города, войдя в которую, мне требовалось собрать все свое мужество, а его у меня было очень мало. Не думайте, что я потерял храбрость, как в тот час, когда мы бежали из замка; нет, она только оцепенела, точно мертвец или остановившиеся часы. Конечно, я пойду на бал, конечно, я куплю себе нарядный костюм, думалось мне. Все это было решено. Но большая часть лавок находилась по ту сторону долины, в старом городе, а я сделал странное открытие: я физически не мог перейти через Северный мост. У меня было чувство, что там вместо моста образовалась зияющая пропасть или появилось глубокое море. Мои ноги отказывались нести меня к замку.

Я говорил себе, что это суеверие; я держал пари с самим собою и выиграл его. Я прошел по эспланаде Принцовой улицы, останавливался, через сад смотрел на серые бастионы крепости, в которой начались все эти тревоги. Я поправил шляпу, подбоченился и пошел по мостовой, готовый подвергнуться аресту. Я действовал с чувством странного радостного возбуждения, не бывшего неприятным; в моих манерах проглядывала удаля, поднимавшая меня в собственных глазах. Между тем было нечто, на что я не мог решиться, нечто, превышавшее мои физические силы, а именно: я не находил мужества перейти через долину в старый город. Мне чудилось, что, как только я сделаю первый шаг в этом направлении, меня сейчас же арестуют, что я немедленно погружусь в полумрак тюремной камеры, а затем перейду в крепкие последние объятия мешка и веревки виселицы. Однако не сознание последствий удерживало меня. Просто я не мог идти в старый город. Лошадь заупрямилась и дело с концом.

Мои силы истощились. Неприятное это было открытие для человека, который мог выиграть свою почти безнадежную игру только благодаря счастью и безумной смелости; я слишком долгое время жил в напряженном состоянии, и силы мои иссякли. Меня охватил так называемый панический страх, нечто вроде того ужаса, который во время ночных нападений подчинял себе солдат на моих глазах. Я повернулся и пошел прочь от Принцовой улицы, точно сам сатана преследовал меня. В Сан-Андрью-сквере кто-то окликнул меня, но я не обратил на это ни малейшего внимания, продолжая идти. Вдруг чья-то рука тяжело опустилась на мое плечо: мне почудилось, что я сейчас лишусь чувств; немного оправившись, я увидел перед собою моего веселого чудака. Воображаю себе, в каком я был виде: бледный как смерть, дрожащий, я беззвучно двигал губами. И так вел себя солдат Наполеона, человек, собиравшийся на следующий день явиться в собрание на бал! Я подробно говорю об упадке моего духа, потому что никогда ни до, ни после этого дня не испытывал ничего подобного, и это хороший рассказ для офицеров. Я никому на свете не позволю назвать меня трусом; я доказал свое мужество так, как немногим удалось сделать это. А между тем я – человек, произошедший из одного из самых

знатных французских родов, человек, с детства привыкший к опасностям, в течение десяти-двенадцати минут стоял в этом отвратительном виде среди улиц новой части Эдинбурга!

Когда мне удалось наконец перевести дух, я попросил извинения. Я очень нервничал, позднее время еще усилило мою всегдашнюю нервозность. Я не выношу ни малейшей неожиданности. Мой собеседник, по-видимому, сильно удивился.

– Вероятно, вы дьявольски расстроены, – заметил он, – хотя, конечно, я сам виноват! Страшно глупо поступил я. Извините. Но, право, вы нездоровы, вам не мешало бы обратиться к доктору. Дорогой сэръ, чем ушибся, тем и лечись. Не угодно ли в «Синюю Развалину»? Или вот что... правда, довольно рано (но разве человек раб времени?)... Но что вы скажете, если я предложу вам распить бутылочку в отеле «Дембрек»?

Я отказался, но когда мой чудак напомнил мне, что именно в этот день должен был состояться обед Крэмондского университета, когда он предложил мне пройти пять миль, чтобы затем сесть обедать в обществе таких же молодых ослов, как он сам, – я согласился присоединиться к их компании. Мне приходилось ждать до следующего вечера, обед сократил бы для меня несносное время бездействия, и я нигде не мог чувствовать себя лучше, нежели за городом; прогулка – прекрасное средство для успокоения нервов. Вспомнив о моем несчастном Роулее, который притворялся больным под огнем взглядов ставшей теперь подозрительной Бесси, я спросил моего собеседника, не позволит ли он мне привести с собой и моего слугу.

– Милосердный человек и осла милует, – заметил мне любивший изречения друг.

«Арфа одна веселила его,
И ее-то носил сирота».

Конечно, сирота может получить что-либо съестное, пока мы будем обедать.

Теперь я совершенно пришел в себя, только все еще не решался перейти через Северный мост, а потому купил себе бальное платье на улице Лейт и, надо признаться, остался доволен своей покупкой; затем я освободил из заточения Роулея и в назначенное время, в начале третьего часа, был на месте свидания, на углу Йоркской площади и Герцогской улицы. Явилось значительное количество представителей университета; вся компания состояла из одиннадцати человек, включая нас с моим Роулеем, аэронавта Байфильда и высокого Форбса, которого я уже видел в «Приюте охотников», в платье, орошенном каплями жидкого свечного сала. Меня познакомили со всеми будущими участниками обеда. Сначала мы шли по милым деревенским дорогам, затем по берегу волшебного залива. Мы направлялись к Крэмонду – небольшому поселению, стоявшему на берегу маленькой реки среди лесов; из Крэмонда виднеется равнина, засыпанная зыбучими песками, и маленький остров в море. Все это миниатюрных размеров, но очаровательно в своем роде. В февральском воздухе веяло свежестью, но не холодом. Мои спутники всю дорогу шутили, смеялись и острили, и мне казалось, будто с меня сняли тяжесть, освободили от гнета мои легкие и мой ум; я не отставал от прочей компании, смеялся и болтал вместе с ними.

Я особенно много наблюдал за Байфильдом, но только потому, что слышал о нем прежде и видел известие о поднятии его шара в воздух, а не потому, что заинтересовался личностью этого человека. Темнолицый, черноволосый и, очевидно, желчный, Байфильд говорил мало, отличался сдержанными манерами, но, вероятно, кипучим темпераментом; он был так добр, что много говорил со мною, хотя и не возбудил во мне за это благодарности. Если бы я знал, что в ближайшем будущем судьба свяжет его со мной, я, вероятно, был бы любезнее с ним.

В Крэмонде стоит гостиница не особенно заманчивой внешности; в ней-то и была приготовлена комната для нас. Мы сели обедать, молитву прочел профессор богословия на странном латинском языке: я не мог понять ничего, слышал только, что профессор говорил стихами, и чувствовал, что в словах молитвы было больше остроумия, нежели благоговения. После этого

Senatus academicus стал наслаждаться отварной треской с рисом и горчицей, овечьей головкой и другими любимыми шотландскими яствами. Запивалась еда темным портером в бутылках. Едва успели снять скатерть, как на столе очутились стаканы, кипятки, сахар и виски. Я ел за обе щеки, не отказываясь от пунша и по мере сил принимал участие в шутках, которыми мои собеседники приправляли угощение. Наконец, я осмелился рассказать этим шотландцам историю о собаке Туиди, и я так хорошо «для южанина» подражал простонародному шотландскому наречию, что Senatus academicus единогласно присудил мне право на кафедру шотландского народного наречия, и я сделался действительным членом Крэмондского университета. Через несколько минут я уже пел им песню, а в скором времени (впрочем, может быть, только относительно скором) решил, что мне пора, не прощаясь, направиться домой. Привести это намерение в исполнение было нетрудно, так как никто не наблюдал за тем, что я делаю, и обед за одним столом убил всякое недоверие ко мне. Я без труда вышел из комнаты, оглашавшейся криком и смехом веселых ученых, и с облегчением вздохнул, переступив через порог столовой. Я отлично провел время и, по-видимому, на этот день избежал ареста. Но, увы! Заглянув в кухню, я увидел, что мой обезьянка-слуга, присев на уголок кухонного стола, играл на флажолете. Он был совершенно пьян и с наслаждением давал концерт перед публикой, состоявшей из служанок гостиницы и нескольких окрестных крестьян.

Я сейчас же заставил его сойти с импровизированной эстрады, надел на него шляпу, спрятал его дудочку к нему в карман и вместе с ним направился к Эдинбургу. Ноги несчастного подгибались, точно бумажные; сообразительность его исчезла, мне пришлось поддерживать и направлять Роулея, останавливая его бешеные порывы и постоянно ставить на ноги, когда он падал. Сперва злополучный юноша все время пел с каким-то ожесточением, временами заливаясь беспричинным хохотом. Но вскоре он впал в меланхолическое молчаливое настроение; несколько раз Роулей принимался тихонько плакать; останавливаясь на дороге, он твердо произносил: «Нет, нет, нет», и падал навзничь. Иногда он торжественно говорил мне: «м'лорд» и падал ничком, очевидно, для разнообразия. Боюсь, что я был недостаточно кроток по отношению к этому поросенку, но, право, положение казалось мне невыносимым. Нельзя сказать, чтобы мы продвигались скоро, и, вероятно, отошли только на расстояние мили от гостиницы, когда я услышал крики: Senatus academicus в полном составе старался нагнать нас.

Некоторые из моих недавних собутыльников были вполне приличны, и каждый из них по сравнению с Роулеем казался христианским мучеником. Однако большинство из компании выказывало склонность шуметь и школьничать, а в городе это могло оказаться опасным. Они пели песни, бегали наперегонки, фехтовали на тросточках и зонтиках и, несмотря на все эти упражнения, веселое расположение их духа, по-видимому, с каждым шагом возрастало; они становились все эксцентричнее и причудливее. Опынение крепко засело в их головах, оно держалось в них точно огонь в торфе; впрочем, чтобы быть справедливым к моим тогдашним товарищам, мне следует сказать, что они менее опьянели от вина, нежели от своей молодости, от чувства веселья, прелести свежей, ясной ночи, от ощущения прекрасной дороги под ногами и сознания, что перед ними открыт весь мир. Раз я уже ушел от них чересчур бесцеремонно, вторично не мог сделать того же; вдобавок Роулей представлял собою такое затруднение для меня, что я радовался всякой помощи. Однако увидав, что мы приближаемся к эдинбургским фонарям, я ощутил беспокойство, которое превратилось в настоящую тревогу, когда мы очутились среди освещенных улиц. Мои спутники заговаривали положительно со всеми прохожими. К некоторым они обращались, называя их по именам. Форбс сказал какому-то почтенному человеку: «Сэр, от имени сената Крэмондского университета подношу вам степень доктора», и стукнул по его шапке.

Можете себе представить настроение Сент-Ива, осужденного идти в обществе этой буйной молодежи среди города, в котором его подстерегала полиция и виконт Алэн! До сих пор никто не остановил нас, хотя мы страшно шумели, но вот на площади Аберкромби (кажется,

это было там, по крайней мере, я помню, что видел ряд хороших домов, стоявших против сада) я и Байфильд, помогавший мне вести Роулея, внезапно остановились. Наши бедовые товарищи принялись обрывать звонки и дверные дощечки.

– Ну, признаюсь, – заметил Байфильд, – это уже чересчур. Черт возьми, я порядочный человек, общественный деятель, право! Мне совершенно не хочется попасть в полицию.

– Мне тоже, – согласился я.

– Ну, так уйдем.

Мы повернули назад и, как оказалось, совершенно вовремя. За нами слышались звуки гневных голосов, набат, шум трещоток сторожей. Было очевидно, что Крэмондский университет вскоре вступит в драку с эдинбургской полицией. Я и Байфильд, толкая перед собой полубесчувственного Роулея, шли быстрым шагом и остановились только, отдалившись на много улиц от шумной ватаги.

– Ну, сэр, – сказал Байфильд, – мы прекрасно отделались от неприятности! Видал ли кто-либо других таких варваров?

– И поделом нам с вами, мистер Байфильд, зачем мы пошли туда? – произнес я.

– Совершенно верно! Но как это ужасно! А ведь поднятие моего шара назначено на субботу – знаете? – вскрикнул воздухоплаватель. – Прекрасный скандал, аэронавт Байфильд в полиции! Вам удастся, сэр, дотащить до дому вашего негодяя? Позвольте мне дать вам мою карточку. Я живу в гостинице Уокера и Пуля и буду очень счастлив, если вы посетите меня.

– Я в свою очередь с удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, сэр, – любезно ответил я, не думая, что говорю: смотря на уходившего Байфильда, я менее всего на свете желал продолжать с ним знакомство!

Мне предстояло вынести еще одно испытание. Я отнес мою бесчувственную ношу в нашу квартиру; дверь мне отворила миссис Мак-Ранкин, на ее голове красовался высокий ночной чепец, а на лице лежало выражение необыкновенной суровости. Она, держа в руке свечу, проводила нас в гостиную. Там я усадил Роулея в кресло. Миссис Мак-Ранкин обходилась со мною вежливо, я улыбался ей; наконец она заговорила голосом, дрожавшим от волнения.

– Мистер Дьюси, дома порядочных людей...

Тут ее речь прервалась, вероятно, от припадка гнева, душившего ее. Она повернулась и вышла, не прибавив больше ни слова. Я огляделся кругом: Роулей храпел, камин потух. В моем уме внезапно воскресли все смешные подробности только что пережитых мною сцен, и вдруг я рассмеялся громким смехом. Я хохотал весело, беспечно, хохотал наедине с собой!

Глава XXXI

Четверг. Бал в собрании

Когда я проснулся, солнце уже встало. Подумав о своем положении, я почувствовал, что не могу уже так беззаботно смеяться, как смеялся накануне. Вчера я пировал с *Senatus academicus* Крэмондского университета (об этом мне напоминала головная боль), сегодня же был четверг, день бала в собрании. На билете стояло, что танцы начнутся в 8 часов пополудни, следовательно, мне предстояло протянуть еще двенадцать невыносимых часов. Конечно, это соображение заставило меня сейчас же соскочить с кровати и позвонить мистеру Роулею, чтобы приказать ему выбрить меня.

Но Роулей не поспешил явиться на звонок. Я снова дернул за сонетку, в ответ послышался какой-то стон. Однако вскоре я увидел на пороге спальни стоявшую или, лучше сказать, шатавшуюся фигуру моего примерного камердинера. Он был без воротничка, его непричесанные волосы торчали во все стороны, лицо представляло живое воплощение стыда и физического нездоровья. Рука Роулея, державшего кувшин, так дрожала, что он выплеснул себе на ноги почти всю горячую воду. Я начал было читать юноше нравоучение, но продолжать не мог. Ведь, в сущности, я сам послужил причиной вчерашнего несчастья, а теперь бедный малый поступил почти как герой, победив свое нездоровье и вовремя явившись ко мне. Было ясно, что в это утро не следовало Роулею давать в руки бритву. Я велел ему снова лечь в постель и не вставать без моего разрешения. Сам же я занялся своим туалетом.

Мне приходилось переживать часы бездействия. Я сел и стал читать «Меркурий». Вдруг раздался звонок у наружной двери, я моментально очутился у камина, а душа моя в то же время ушла в пятки. Прошло несколько невыносимых, нескончаемых минут; наконец в комнату вошла миссис Мак-Ранкин с моим бальным платьем, принесенным мне от портного. Я отнес его в спальню и разложил на кровати оливково-зеленый сюртук с позолоченными пуговицами и отделкой из водянистого шелка, оливково-зеленые панталоны, белый жилет, вышитый голубыми незабудками с зелеными веточками. Осмотр платья помог мне убить время до полудня, то есть до второго завтрака. В шесть часов я отправился одеваться. Я вышел из спальни с сознанием, что сюртук прекрасно сидит на мне и что я обладаю парой очень стройных ног. Благородная простота моей осанки (простота, свойственная отпрыску знатного рода) скрашивалась элегантным крошечным фалером; девственно-белый жилет, усеянный голубыми незабудками (символом верности) застегнутый розовыми коралловыми пуговицами (символ надежды) придавал всей моей фигуре что-то бесконечно нежное. Я остался доволен моим внешним видом и направился к Роулею. Лицо юноши показалось мне менее желтым, нежели утром; по-прежнему сокрушенный малый внимательно слушал миссис Мак-Ранкин, которая, сидя у его кровати, осыпала его множеством изречений из книги притчей Соломоновых. При виде меня он просиял. Я поручил миссис Мак-Ранкин мальчика и, надев пару калош, заимствованных из гардероба покойного мистера Мак-Ранкина, вышел на залитую дождем улицу.

На входном билете я прочел адрес собрания и направился к площади Бекключ, невдалеке от Джордж-сквера. Там я увидел разношерстную толпу, собравшуюся подле двух фонарей и полосатого тента, обтягивавшего подъезд. Из-под тента падал свет, озарявший плиты мостовой. Гости уже собрались. Я быстро скользнул в подъезд, показал свой билет и стал подниматься по лестнице, украшенной флагами, еловыми ветвями и национальными эмблемами. На самой верхней площадке стоял лакей почтенного вида. «Вешалка для платья слева, сэр», – сказал он. Я повиновался его намеку и, оставив служителю мое пальто и калоши, взамен их получил металлический круглый билетик, «Ваша фамилия, сэр?» – спросил лакей, когда я

остановился на площадке, оправляя платье перед выходом на арену. Прочистив горло, он внезапно рявкнул: «Мистер Дьюси!»

В отпечатанном экземпляре театральной пьесы в этом месте, вероятно, стояло бы: «Раздается туш. Входит переодетый виконт». Говоря правду, мне было невесело. Танец только что окончился, музыканты на хорах настраивали свои скрипки. На стульях, стоявших вдоль стен, сидело немало народа, и температура настроения общества едва-едва поднялась до точки таяния снега. В зале были только люди, занимавшие второстепенное общественное положение. Собравшись у дальнего конца зала, они не спускали глаз с входной двери, нервно ожидая приезда важных лиц. Вследствие этого мое появление привлекло ко мне всеобщее внимание, а это было довольно-таки неприятно. Казалось, что на меня смотрят и зеркала, и рефлекторы, а навощенный пол и сами стены делают знаки арестовать меня. Маленький распорядитель, такой же круглый, как розетка на отвороте его фрака, отделился от ближайшей группы и подошел ко мне походкой, несколько напоминавшей движение конькобежца; на его губах играла любезная улыбка.

– Мистер... Дьюси, если я правильно расслышал? Кажется, вы не из жителей нашей северной столицы? Надеюсь, вы танцуете? (Я поклонился). Сделайте мне одолжение, позвольте представить вас даме.

Распорядитель подвел меня к мисс Мак-Бин. Она поклонилась мне, играя плечами, и представила своей матери, даме с заметными усами, в тяжелом черном шелковом платье и в черном же чепце с отделкой из маков.

Когда музыка умолкла, я провел дам (которые любезно похвалили мое танцевальное искусство) в чайную комнату. Гости все прибывали и, стоя у стола, я слышал, как близ двери бального зала раздавалась одна фамилия за другой, но того имени, которое отозвалось бы в моей душе, лакей не произносил. Конечно, Флора приедет. Конечно, никто из ее естественных охранителей или из людей, добровольно взявших на себя эту роль, не ожидает встретить меня на балу. Но минуты летели, и мне пришлось проводить миссис и мисс Мак-Бин обратно в зал.

– Миссис Гилькрист, мисс Гилькрист, мистер Рональд Гилькрист, мистер Робби, майор Артур Чевеникс!

Первое имя ошеломило меня. Я на секунду оцепенел, но только на одну секунду. Прежде чем лакей закончил перечисление, я усадил моих дам под хорами и встретил неприятеля. Лица новоприбывших в это мгновение были достойны кисти художника. Щеки Флоры пылали, ее губы полураздвинулись, и она вскрикнула от изумления при виде меня. Мистер Робби взял щепотку табаку, Рональд побагровел. Чевеникс побледнел, неустрашимая тетушка несколько не смутилась. Старуха взяла предложенную ей руку адвоката, и они ушли, оставив нас одних. Лицо Рональда пылало, майор был бледен. Взяв Флору под руку, я отвел ее от умолкших батарей. Мы нашли два уединенных стула, и я обратился к любимой мной девушке со словами:

– Теперь, дорогая, я попрошу вас вести себя со мной, точно мы встретились с вами в первый или второй раз в жизни. Откройте ваш веер... так. Теперь слушайте: мой двоюродный брат Ален приехал в Эдинбург и живет в гостинице Дембрека. Нет, нет, не опускайте веера.

Флора повиновалась, но ее маленькая ручка дрожала.

– Ждите еще худшего: Ален привез с собой сыщика и, весьма вероятно, шпионы бегают по городу, отыскивая мою квартиру.

– А вы остаетесь здесь, здесь! О, это безумие! Анн, Анн, зачем вы так безрассудны!

– Потому что я раньше поступил до крайности глупо, моя дорогая. Я положил часть моих денег в банк, который караулят. Мне необходимы средства, чтобы добраться до юга. Следовательно, мне оставалось только встретиться с вами и попросить вас вернуть мне те деньги, которые вы, по вашей доброте, хранили у себя. Я отправился в Суанстон, но увидел, что вас сторожит Чевеникс с помощью животного по имени Тоузер. Кстати, я, кажется, убил эту собаку.

Если я не ошибся, то, вероятно, Тоузер вскоре свидится в небесах с Чевениксом. Мне надоел этот майор.

Веер опустился, руки Флоры бессильно упали на колени. Прелестные глаза девушки взглянули на меня с выражением глубокого раскаяния.

– И подумать только, ведь я, одеваясь на бал, спрятала ваши бумаги в шкатулку! В первый раз я рассталась с ними! О, я не стою вашего доверия, не стою!

– Полно, моя дорогая, беду можно еще поправить. Сегодня ночью вы спрячете куда-нибудь мои бумаги, скажем, под угловой выступ вашей садовой стены, внизу...

– Погодите, дайте мне подумать.

Флора снова подняла свой веер. Ее лицо было серьезно, глаза потемнели.

– Вы знаете последний ход, через который приходится перебираться, подходя к Суан-стону? – сказала она. – У него, кажется, нет названия, но мы с братом в детстве называли его «Рыбьей спиной». На вершине холма стоит купа елей, издали похожих на пук перьев. На восточном его склоне каменоломня. Придите туда к восьми часам, и я постараюсь принести вам деньги.

– Но зачем вы хотите подвергать себя опасности?

– О, Анн, дайте же мне сделать для вас что-нибудь. Если бы вы знали, как для меня мучительно сидеть дома в то время, как ваша дорогая...

– Виконт де Сент-Ив!

Это имя, раздавшееся в дверях зала точно выстрел, прервало трепетную речь Флоры. Рональд стоял в нескольких ярдах от меня, разговаривая с мисс Мак-Бин. Услышав произнесенную слугой фамилию, он быстро повернулся ко мне и с глубоким изумлением взглянул на меня. Я не мог успеть спрятаться: чтобы попасть в игорную или чайную комнату, мне пришлось бы пройти значительную часть зала на глазах всей публики; к тому же мы с Флорой сидели как раз против главной входной двери, а там уже стоял мой кузен, с поднятым лорнетом в руках. Он так и сиял, окруженный атмосферой помады, притираний и щегольства дурного тона! Ален сразу заметил нас. Он повернулся и, обратившись к передней, сказал кому-то, оставшемуся за дверьми, несколько слов. Потом снова повернул к нам голову и с нахальным, торжествующим видом пошел по залу. Я встал ему навстречу. Флора задыхалась от волнения.

– Здравствуйте, кузен! Я прочел в газете, что вы осчастливили вашим посещением этот город.

– Да. Я остановился в гостинице Дембрека; к сожалению, вы, милый Анн, до сих пор не навестили меня.

– Я был уверен, что вы предупредите меня. Но, вероятно, вы не ожидали встретить меня здесь?

– Говоря правду, секретарь бального комитета позволил мне сегодня взглянуть на список приглашенных. Я люблю знать, в какое общество я иду.

О, каким ослом был я! Об этой опасности я даже ни разу не подумал.

– Кажется, я встретил на улице одного из близких вам людей? – спросил я.

Ален взглянул на меня и расхохотался.

– Ну и задали же вы нам работу! По-видимому, вы, чисто по-заячьи, умеете запутывать следы. Впрочем, уверяю, теперь я вполне понимаю вас, – прибавил Ален, нахально посмотрев на Флору.

Его-то можно было бы выследить по одному запаху его духов. От него разносился сильнейший аромат.

– Представьте меня, mon brave.

– Пусть меня застрелят, если я это сделаю!

– Кажется, здесь расстреливают только солдат, – заметил он.

– Во всяком случае, англичан не подвергают этой, так сказать, почетной казни... – я запнулся. Конечно, вся выгода положения была на стороне Алена, но я мог, по крайней мере, с честью парировать удары. – Сейчас начнется кадрили. Пригласите даму, и я обещаю танцевать с вами *vis-a-vis*.

– В вас видна порода, кузен.

Ален поклонился мне и пошел разыскивать распорядителя. Я подал Флоре руку и спросил ее:

– Как вам понравился Ален?

– Он красив, – ответила она. – Если бы ваш дядя иначе обошелся с ним, я полагаю...

– А я полагаю, что ни одна женщина в мире не в состоянии отличить джентльмена от танцмейстера! Раза два человек поломаются перед вами, и вы вообразите, что в нем есть порядочность!

Флора молчала. Впоследствии я узнал, почему. Извольте видеть, этот идиот майор Чевеникс точно также выразился обо мне. Мы проходили мимо входной двери, и я заглянул на площадку лестницы: там стоял уже знакомый мне сыщик и разговаривал со своим товарищем. Слабоногий, рыжий, противный, одетый в пепельно-серый костюм, второй сыщик был еще безобразнее моего друга, щеголявшего в пуховом жилете.

Я понял, что попал в западню. Ален издали смотрел на меня, улыбаясь недоброй улыбкой. Мой двоюродный брат пригласил леди Фразер, женщину в лиловом платье и с бриллиантовой повязкой на голове. Не понимаю, почему в эту трудную минуту я почувствовал возбуждение, стал необычайно весел и развязен. Я вел Флору к ее месту с большим оживлением, которое, может быть, было неестественно, но, во всяком случае, неподдельно. Музыканты играли, и я танцевал, а мой двоюродный брат смотрел на меня с невольным одобрением. Едва танец окончился, как мой кузен извинился перед леди Фразер и поспешил к двери, чтобы видеть, стоят ли сыщики на своих местах.

Я расхохотался и упал на стул подле Флоры.

– Анн, – шепнула она, – кто там на лестнице?

– Полицейские сыщики. Видали ли вы голубку в западне?

– Черная лестница! – тихонько посоветовала она.

– Вероятно, и ее караулят. Однако удостоверимся.

Я прошел в чайную и, увидев слугу, отозвал его в сторону. Стоит ли на кухонной лестнице кто-нибудь? Он не знает этого. Согласится ли он за гинеею доставить мне требуемые сведения? Слуга ушел и через минуту вернулся.

– Да, внизу констебль.

– Видите ли, – объяснил я, – одного молодого человека должны схватить за долги и посадить в яму.

– Я не шпион, – ответил слуга.

Я вернулся на прежнее место и с неудовольствием увидел, что оно занято майором.

– Дорогая мисс Флора, вы нездоровы!

Действительно, бедняжка была страшно бледна и дрожала всем телом.

– Майор, мисс Гилькрист дурно! Отведите ее в чайную поскорее! Мисс Флоре необходимо уехать домой.

– Ничего, ничего, – пробормотала она. – Все это пройдет. Прошу не... – взглянув на меня, она поняла мои намерения и сейчас же прибавила: – Да, да... я хочу уехать домой.

Флора оперлась на руку Чевеникса, я поспешил в игорную комнату. На мое счастье, страшная тетка в эту минуту только что встала из-за стола, окончив роббер. Ее партнером был Робби, и я увидел перед стулом старухи (я в первый раз в течение вечера поблагодарил мою счастливую судьбу) маленькую кучку серебра, говорившую, что она выиграла.

– Сударыня, – шепнул я ей, – мисс Флоре дурно, духота...

– Я не заметила духоты, здесь превосходная вентиляция.

– Она желает уехать.

Старуха спокойно пересчитала свои деньги и положила их в бархатный кошелек.

– Двенадцать и шесть пенсов, – объявила она. – К нам шли хорошие карты. Ну, виконт, пойдете к моей племяннице.

Я проводил миссис Гилькрисст в чайную комнату. Мистер Робби шел за нами, Флора полулежала на софе в состоянии, действительно близком к обмороку. Майор стоял подле нее с чашкой чая в руках.

– Я послал Рональда за каретой, – сказал он.

– Гм... – произнесла старуха и окинула его странным взглядом. – Ну, передайте мне чашку и достаньте нам с вешалки наше платье и шали... Номерки у вас, ждите нас на верхней площадке.

Едва ушел майор, как возвратился Рональд и сказал, что карета готова; я пробрался к двери из чайной комнаты и осмотрелся; в бальной зале было множество народа, все оживленно танцевали, мой двоюродный брат с увлечением выделял па; в данную минуту он повернулся к нам спиной. Все мы пробрались по стенке и скоро очутились за дверями зала. На верхней площадке лестницы стоял Чевеникс с верхним платьем дам в руках.

– Вы, майор и Рональд, можете, укутав нас, вернуться в зал. Без сомнения, вы в конце вечера найдете наемную карету, в которой и вернетесь домой.

Говоря, старуха не спускала глаз с двух сыщиков, шептавшихся за спиной майора. Обравшись ко мне, она произнесла холодно-вежливым тоном:

– Доброй ночи, сэр. Благодарю вас за ваши хлопоты. Или нет... проводите нас, пожалуйста, до кареты. Майор, передайте мистеру, как там вы его называете, мою шаль.

Я не посмел с благодарностью взглянуть на нее. Мы двинулись вниз. Впереди шла тетка Флоры, затем моя возлюбленная, которую поддерживали Рональд и Робби, далее я и Чевеникс. Когда я спустился с первого перехода лестницы, я заметил, что рыжий сыщик тоже сделал несколько шагов вперед. Хотя мой взгляд не отрывался от шали старой Гилькрисст, я увидел, как его палец дотронулся до моего рукава, и это прикосновение обожгло меня как каленое железо. Товарищ сыщика удержал его, они стали шептаться. Без сомнения, эти люди воображали, что я ничего не опасюсь и еще вернусь в зал; я шел без шляпы и пальто, они пропустили меня. Очутившись на шумной улице, я стал в тени кареты. Рональд подбежал к кучеру (в котором я узнал садовника Робби) и сказал ему: «Мисс Флоре дурно. Поезжайте домой, как можно скорей!» Рональд исчез под тентом.

– Вот гинья, только гоните во всю прыть, – сказал я, стоя по другую сторону козел под потоками ливня, и всунул в мокрую руку кучера монету.

Может быть, я ошибся, но мне послышалось, что на лестнице собрания раздался голос бранившегося Алена. Когда экипаж тронулся с места, я раскрыл дверцу с моей стороны и вскочил внутрь кареты, упав на колени старой Гилькрисст.

Флора подавила готовое вырваться у нее восклицание. Я опомнился, пересел на переднее сиденье, заваленное пледами, и запер покрепче дверцу экипажа. Старуха молчала. Карета прыгала по Эдинбургской мостовой, стекла дрожали от порывов ветра. Когда мы проезжали мимо уличных фонарей, в карету не проникало света, но на желтом фоне освещенного окна вырисовывался строгий профиль моей покровительницы и скоро снова исчезал во тьме.

Я протянул руку, и в темноте она встретилась с нежной ручкой Флоры. В течение пяти блаженных секунд наши пальцы не разжимались и биение наших пульсов пело: «Я люблю тебя, я люблю тебя».

– Мосье Сент-Ив, – послышался спокойный голос старухи (Флора отдернула свою руку). – Рассмотрев все ваше дело, от головы до хвоста (если только предположить, что у него есть

голова, в чем я сомневаюсь), я прихожу к убеждению, что я вам оказала услугу – это во второй раз.

– Такую услугу, о которой я никогда не забуду.

– Пожалуй. Но я надеюсь, что вы не будете также и забываться!

Наступило новое молчание. Так мы проехали мили полторы или две. Наконец старуха с шумом опустила окно, и ее голова, украшенная величественной шляпой, очутилась во тьме ночи. Кучер остановил лошадей.

– Этот джентльмен желает выйти из экипажа.

Действительно, мне было необходимо расстаться с моими спутницами: мы приближались к Суанстону. Выйдя из кареты, я повернулся, чтобы пожать в последний раз ручку Флоры, и вдруг моя нога запуталась в чем-то. Я нагнулся, в эту минуту дверца кареты захлопнулась.

– Сударыня, ваша шаль!

Но экипаж уже тронулся, обдав меня грязью. Я остался один среди неприветливой большой дороги. Я смотрел на маленькие красные глазки экипажа, постепенно исчезающие вдали. Вскоре раздался стук приближавшихся колес, и я рассмотрел две пары желтых огоньков, несшихся со стороны Эдинбурга. Я успел перескочить через загородку на залитый дождем луг и присел на корточки. Вода проникала сквозь мои бальные башмаки. И вот среди дождя мимо меня промчались две кареты. Кучера с ожесточением гнали лошадей.

Глава XXXII

Пятница. Гордиев узел разрублен

Я вынул часы, слабый луч луны, прорвавшийся из-за облаков, упал на циферблат. Без двадцати минут два! «Половина второго и темное сумрачное утро!» Я вспомнил протяжный голос сторожа, произнесший эти слова в ночь нашего бегства из замка, и воображаемое эхо его восклицания прозвучало в моем мозгу, словно отметив минуту, заключившую собой целый цикл событий. Мне предстояло пережить семь ужасных часов, так как Флора должна была прийти не ранее восьми. Я остался во тьме, под дождем на склоне холма. Восхитительная старая Гилькрест! Я завернулся в плащ этой спартанки и, съездившись, сел на камень. Дождь лил мне на голову, тек по носу, наполнял бальные башмаки, игриво струился вдоль спины.

В течение всей ночи ветер выл в оврагах; по склону горы журчали потоки воды. Большая дорога лежала у моих ног, она проходила ярдов на пятьдесят ниже камня, на котором я сидел. После двух часов (как мне казалось) близ Суанстона мелькнули огоньки, они приближались ко мне. Вскоре я увидел две проезжавшие наемные кареты и услышал, как один из кучеров бранился; из его слов я заключил, что мой кузен прямо с бала отправился в гостиницу и лег спать, предоставив своим наемникам преследовать меня.

Я то дремал, то бодрствовал, наблюдал за движением луны, окруженной туманным кольцом, но видел также красное лицо и угрожающий указательный палец мистера Ромэна, я объяснял ему и мистеру Робби, что невозможно отдать все мое наследство под залог простой метлы, что необходимо принимать в соображение существование модели скалы и замка, которая висела у меня на цепочке. Потом я и Роулей промчались в малиновой карете через целое облако реполовов... Тут настоящее чириканье птиц разбудило меня. Над горами брезжил белый рассвет.

У меня почти не оставалось сил терпеть долее. Холод и дождь доводили меня до бреда, голод и бесплодные сожаления о собственном безумии терзали мое сердце. Я встал с камня, все члены мои оцепенели, я чувствовал тошноту, страдал телом и душой. Медленно спустился я к дороге. Осматриваясь кругом, чтобы отыскать какие-нибудь признаки сыщиков, я на значительном расстоянии заметил мильный столб с каким-то объявлением. Ужасная мысль! Неужели я сейчас прочту, во что оценена голова Шамдивера! Что же, по крайней мере, я увижу, как описывают они наружность этого беглеца, мысленно сказал я себе. Тем не менее ужас приковывал мой взгляд к белому клочку бумаги. И подумать, что я воображал, будто после холодной ночи ничто уже не заставит пробежать по моей спине дрожь озноба. Подойдя к столбу, я увидел, что ошибся. На бумаге стояло: «Необычайное поднятие на воздух на гигантском воздушном шаре „Лунарди“. Профессор Байфильд (имеющий диплом), экспонент аэростатов, имеет честь известить благородную публику Эдинбурга и его окрестностей, что»...

Я был глубоко поражен, поднял руки, расхохотался, но мой хохот закончился рыданием. От слез и смеха мое отощавшее тело дрожало как листок. Я проделывал замысловатые движения, хохот неудержимый и бессмысленный заставлял меня шататься; внезапно умолкнув среди припадка хохота, я прислушался к странному звуку своего же собственного голоса. Следует только удивляться, что у меня нашлось достаточно соображения, чтобы добраться до назначенного Флорой места свидания. Впрочем, трудно было и ошибиться. Низкий холм резко вырисовывался на небе, на нем виднелась группа елей и к западу его гребень понижался, образуя линию, похожую на линию спины рыбы. Около восьми часов я пришел в назначенное место. Каменоломня лежала с левой стороны дорожки, которая проходила через холм с северной стороны. Мне незачем было показываться на северном склоне. Я отошел ярдов на пятьдесят от дорожки и стал прогуливаться взад и вперед, от нечего делать считая шаги. Скатился камень,

послышались легкие шаги, сердце мое забилося. Она! Она приближалась, и все зацвело кругом, точно под ногами ее тетки богини. Уверяю вас, как только Флора пришла, погода стала меняться. Голову и плечи девушки покрывал большой серый платок, из-под него она достала маленькую миску и, подав ее мне, заметила:

– Вероятно, мясо еще теплое, потому что, как только я сняла его с плиты, так сейчас же обернула салфеткой.

Она пошла в каменоломню, я за ней. Я восхищался предусмотрительностью милой девушки. В то время мне пришлось убедиться, что когда женщина видит дорогого ей человека в беде, она прежде всего заботится о том, чтобы накормить его. Мы разложили салфетку на большом камне каменоломни. Угощение состояло из мяса, овсяного хлеба, крутых яиц, бутылки молока и маленькой фляжки джина. Когда мы накрывали на стол, наши руки то и дело встречались. Мы впервые хозяйничали вместе. Все было готово, нам оставалось только сесть за первый завтрак нашего медового месяца, как я сказал, поддразнивая ее.

– Может быть, я и умираю от голода, – заметил я, обращаясь к Флоре, – но я умру, смотря на иищу, если вы не согласитесь позавтракать со мной.

Мы склонились над камнем, наши губы встретились. Ее холодная щека, орошенная дождем, и влажный завиток волос на мгновение прижались к моему лицу... Я упивался воспоминанием об этом поцелуе в течение многих дней и до сих пор еще упиваюсь им.

– Только как вы спаслись от них? – сказал я.

Она положила ломтик овсяного хлеба, который слегка пощипывала.

– Джанет, наша скотница, дала мне свое платье, шаль и башмаки. Она каждый день в шесть часов ходит доить коров, я заменила ее. Мне помог туман...

Она сжала ручки. Я взял их, разжал и поцеловал ладонь каждой.

– Моя милая, дорогая. Прежде чем погода переменится, мне необходимо перебраться через долину и, сделав круг, выйти на проезжую дорогу. Скажите мне, в каком месте лучше выйти на нее?

Флора освободила одну из своих ручек и вынула из-за корсажа мои бумаги.

– Господи, – сказал я, – я совсем забыл о деньгах!

– Кажется, ничто не исправит вас, – со вздохом заметила девушка.

Флора зашила деньги в маленький желтый шелковый мешочек. Когда я взял его в руки, он еще сохранял теплоту ее молодого тела. На желтой оболочке, покрывавшей мое богатство, было вышито красным шелком слово «Анн»; над моим же именем виднелся шотландский ползущий лев, служивший подражанием той бедной безделушке, которую я вырезал, как мне казалось, давным-давно. Я спрятал деньги в карман на груди и, схватив обе ручки девушки, опустился перед ней на колени. – Тс... – Флора отскочила в сторону. На тропинке раздавались приближающиеся тяжелые шаги. Я едва успел надвинуть себе на голову шаль старухи Гилькрист и сесть на прежнее место, как показались две крестьянки. Они увидели нас, пристально посмотрели в нашу сторону и обменялись какими-то замечаниями. Послышались новые шаги. На этот раз показался старик, с виду похожий на фермера. Он кутался в пастушеский плед, туман усеял его шляпу мелкими водяными капельками. Он остановился близ нас и, кивнув нам головой, сказал:

– Сумрачное утро. Верно, вы из Лидберна?

– Нет, из Пибльса, – ответил я, пряча под шаль мой проклятый бальный костюм. Старик ушел. Что все это значило? Мы прислушивались к его шагам. Раньше, нежели они замерли в отдалении, я вскочил и схватил Флору за руку.

– Послушайте! Боже Ты мой, что же это значит?

– Мне кажется, духовой оркестр играет «Наслаждение Каледонской охотой» в обработке Гоу.

Жестокий рок! Неужели боги Олимпа решили сделать нашу любовь смешною, заставив нас обмениваться прощальными словами под музыку в обработке Гоу? Секунды три Флора и я (выражаясь словами одного британского барда) стояли молча в глубоком раздумье. Потом она вышла на тропинку, посмотрела вниз и сказала: «Нам нужно бежать, Анн, там идут другие». Мы покинули разбросанные остатки нашего завтрака и, взявшись за руки, поспешили по дорожке, направляясь к северу. Через несколько ярдов тропинка, сделав крутой поворот, вышла из выемки. Мы, тяжело дыша, поднялись на площадку.

Под нами расстилалась зеленая поляна, на которой виднелось сотни две-три человек. Там, где толпа превращалась в густой, точно пчелиный рой, не только слышалась отчаянная музыка, но и вздымался какой-то странный предмет, формой и размером вызывавший представление о джине, который вылетел из бутылки рыбака в «Тысяче и одной ночи» Голландии. Мы видели шар Байфильда, гигантский аэростат «Лунард», наполнявшийся газом. Флора слегка жалобно вскрикнула, я обернулся и увидел в конце выемки майора Чевеникса и Рональда. Мальчик выступил вперед и, не обращая ни малейшего внимания на мой поклон, взял Флору за руку, сказав:

– Ты сейчас же пойдешь домой.

Я дотронулся до его плеча.

– Нет, вероятно, не более как минут через пять наступит самая важная минута зрелища! Он с бешенством повернулся ко мне.

– Бога ради, Сент-Ив, не начинайте ссоры! Неужели вы еще недостаточно компрометировали мою сестру?

На холме появилась фигура в сером сюртуке. За нею шел мой друг в пуховом жилете. Оба они направлялись к нам.

– Скорее, Сент-Ив! – крикнул Рональд. – Скорее бегите назад через каменоломню. Мы не помешаем вам.

– Благодарю, друг, но у меня другой план. Флора, – сказал я и взял ее руку, – мы расстаемся! Через пять минут многое будет решено. Мужайтесь, дорогая, и думайте обо мне до моего возвращения.

– Где бы вы ни были, я мысленно всюду буду с вами. Что бы ни случилось, я буду любить вас. Идите, и да хранит вас Бог, Анн!

Ее грудь вздымалась, она смело смотрела на майора, сильно покрасневшего и пристыженного, но имевшего вызывающий вид.

– Скорее! – крикнула Флора в один голос с братом.

Я поцеловал ее руку и бросился с холма.

Сзади меня раздался крик. Я обернулся и увидел моих преследователей. Теперь их было трое, полный Алэн служил коноводом. Они изменили направление, когда я перескочил через мостик и направился к месту, окруженному оградой и наполненному народом. Подле столика на хромом стуле дремал толстый, как перина, кассир. Перед ним виднелась тарелка, полная монет в шесть пенсов. Я поспешно подал ему полкроны. Схватив билет, я вбежал в комнатку. Я оглянулся. Теперь впереди остальных преследователей был пуховой жилет, он уже добежал до ручейка. Рыжеволосый следовал за ним на расстоянии ярдов двух, третий ковылял сзади, спускаясь с наименее высокого и крутого восточного склона. Кассир облокотился на калитку и провожал меня взглядом. Конечно, благодаря моей непокрытой голове и бальному костюму, он считал меня ночным гулякой, кутившим до утра. Это вдохновило меня. Я должен был пробраться в самый центр толпы, толпа же всегда снисходительна к пьяным. Я притворялся совершенно охмелевшим весельчаком. Покачиваясь, толкаясь, обращаясь с извинениями ко всем и каждому, говоря со значительными паузами, я пробирался между зрителями, и они добродушно пропускали меня вперед. Они поступали даже еще лучше: дав мне дорогу, зеваки уничтожали образовавшийся в толпе проход и, теснясь, шли за мной, чтобы лучше следить за

моим забавным шествием. Когда моя свита еще не стала чересчур многолюдной, я обернулся, чтобы сказать почтенной матроне, что мы заплатили за право смотреть с самого утра до обеда, и при этом увидел моих преследователей подле самой калитки; по-видимому, продавец билетов пространно описывал им мою наружность. Мне кажется, я внес в толпу струю веселья и смеха. Зрителям было необходимо развлечение. Никогда наслаждаться зрелищем не собиралось менее оживленное общество. Хотя дождь прекратился и на небе сияло солнце, но люди, пришедшие с зонтиками, не закрывали их и держали над головами с сумрачным видом.

Если бы мы пришли хоронить Байфильда, а не восхищаться им, мы, вероятно, интересовались бы больше бедным аэронавтом в эти минуты. Сам Байфильд стоял в корзинке под медленно покачивавшимся полосатым голубым с желтым шаром и с мрачной миной распоряжался. Вероятно, он в то же время высчитывал прибыль, которую мог дать ему сбор. Когда я пробирался к шару, помощники Байфильда завинтили трубку, проводившую в «Лунарди» водородный газ, и канаты шара натянулись. Кто-то из зрителей шутливо вытолкнул меня на свободное пространство подле корзины. Тут меня окликнули, чьи-то руки повернули меня. Передо мной стоял мой веселый чудак Дэльмгой. Он держался за один из двенадцати канатов, привязывавших корзинку к земле. Он был, несомненно, так величественно пьян, что я невольно покраснел за мою жалкую подделку, которая помогла мне добраться до «Лунарди». Я взглянул вверх и увидел, что Байфильд, наклонившись, высунулся из-за борта корзины. При виде моего костюма и поведения он сделал самое естественное заключение и сказал:

– Подите вы прочь, Дьюси! Неужели мне недостаточно одного осла! Вы мне испортите все дело.

– Байфильд, – с жаром заговорил я, – я не пьян. Спустите мне поскорее веревочную лестницу. Я дам вам сто гиней, если вы меня возьмете с собой.

Среди толпы, футах в десяти за мной, мелькала рыжая голова человека в сером сюртуке.

– Оно и видно, что вы не пьяны, – ответил Байфильд. – Убирайтесь, или, по крайней мере, стойте спокойно. Я должен сказать речь. – Он откашлялся. – Леди и джентльмены!..

Я поднял связку банковских билетов.

– Вот деньги. Сжальтесь! За мной гонится полиция...

– Зрелище, которые вы почтили вашим просвещенным присутствием... Повторяю, я не могу вас взять (Байфильд окинул взглядом лодочку)... вашим просвещенным присутствием, не требует особенно долгих предисловий. Ваше присутствие доказывает, что вы заинтересованы им...

Я развернул перед воздухоплателем банковские билеты. Веки Байфильда дрогнули, но он решительно возвысил голос:

– Вид одинокого путешественника!..

– Двести! – крикнул я.

– Вид двухсот одиноких путешественников, качающихся в воздухе, благодаря изобретению Монгольфьера и Чарльза... Ну... я не оратор. Как, черт возьми!..

В толпе послышался шум.

– Хватайте пьяницу! – крикнул сердитый голос.

Мой двоюродный брат требовал, чтобы ему дали дорогу. Бросив мимолетный взгляд, я увидел его полнокровное, вспотевшее лицо; он был уже близ аппарата для добывания водорода... Байфильд спустил мне веревочную лестницу, прикрепив ее к корзинке. Я вскарабкался на нее быстро, как кошка.

– Режьте веревки!

– Остановите его, – кричал Алэн, – остановите шар. Это Шамдивер – убийца!

– Режьте веревки, – повторил Байфильд и, к моему бесконечному облегчению, я увидел, что Дэльмгой с увлечением исполняет это приказание. Какая-то рука схватила меня за каблук, я изо всей силы ударил ногой. Толпа ревела. Я почувствовал, что мой удар попал кому-то

прямо в зубы. В ту минуту, как шар стал подниматься, я перелез через край корзины. Мне удалось быстро прийти в себя и посмотреть вниз. Мне очень хотелось крикнуть Алену несколько насмешливых слов на прощанье, но они замерли у меня на губах при виде множества поднятых вверх искаженных лиц. Во вспыхнувшей внезапно звериной ярости толпы крылась для меня настоящая опасность. Я понял это ясно, и сердце мое упало. Впрочем, и Ален не был бы в состоянии выслушать меня. От моего удара сыщик в пуховом жилете свалился ему на голову. Теперь Ален лежал под тяжестью этого человека, уткнувшись в землю и раскинув руки как пловец.

Глава XXXIII

Неумелые воздухоплаватели

Я в несколько мгновений успел рассмотреть все, что делалось внизу. Рев толпы постепенно превращался в глухой, непрерывный гул. Вдруг раздался резкий, душераздирающий женский вопль. Все замерло, затихло. Потом послышались отдельные восклицания, вторившие этому воплю; один возглас следовал за другим, повторяясь все чаще и чаще; наконец крики слились в одно общее стенание, полное ужаса.

– Что еще там такое? – спросил Байфильд и перегнулся через борт корзинки со своей стороны. – Боже, да это Дэльмгой!

Действительно, под лодочкой аэростата, между небом и землей, висел несчастный безумец, прицепившийся за конец одной из веревок, которые недавно прикрепляли шар к земле. Он первый принялся освобождать «Лунарди» от привязи и, разрезав злополучную веревку, не выпустил ее из рук и даже с ослиным тупоумием дважды обернул ее вокруг своей талии. Когда были перерезаны и остальные канаты, шар начал подниматься и, конечно, увлек с собою безумца. Помутившийся мозг Дэльмгоя dokonчил дело: он ухватился обеими руками за веревку, и теперь шар уносил его, как орел ягненка. Все эти соображения пришли нам в голову впоследствии.

– Якорь! – закричал Байфильд. Веревка Дэльмгоя была прикреплена ко дну корзины и достать до нее из лодочки оказалось невозможно. Мы оба в один голос крикнули своему неосторожному приятелю:

– Ради Бога, постарайтесь схватить якорь! Если вы упадете, вы разобьетесь!

Веревка Дэльмгоя качнулась, из-за края корзинки показалась голова несчастного. Он поднял к нам свое бледное как смерть лицо. Якорь спустился на вырубку злополучного чудака, качавшегося как маятник. Дэльмгой постарался ухватиться за него, но промахнулся, полетел обратно, сделал ту же попытку, и опять неудачно. На третий раз он столкнулся с якорем и схватился рукой за его лапу, а затем перекинул через нее и ногу. Перебирая веревку руками, мы втащили в корзинку недобровольного воздухоплавателя. Он был страшно бледен, но не потерял своей обычной словоохотливости.

На полу корзинки подле моих ног лежала груда пледов и пальто. Из нее показалась сперва рука, державшая старую касторовую шляпу, потом негодующее лицо в очках и, наконец, очень маленькая фигура человека, в потертом черном сюртуке. Он стоял на коленях, опираясь кончиками пальцев рук о дно корзины, и с глубоким упреком смотрел на воздухоплавателя.

– Что же это такое, мистер Байфильд...

Аэронавт отер капли пота, выступившие у него на лбу.

– Дорогой сэръ, – пробормотал он, – все это просто случай... Я не виноват... Я сейчас объясню вам... – Потом, точно ухватившись за счастливую идею, он прибавил: – Позвольте мне представить вам этих господ: мистер Дэльмгой, мистер...

– Моя фамилия Шипшэнкс, – сухо произнес маленький человечек. – Но прошу извинения, я...

Дэльмгой прервал его речь, шутливо засвистав.

– Слушайте, слушайте, – говорил весельчак. – Его фамилия Шипшэнкс! Отец нашего спутника гонял в горах стада овец, стерег тысячи овец.

Дэльмгой поднялся и, держась за веревку, поклонился. Взгляд маленького человечка перебежал с предмета на предмет, когда его глаза встретились с моими, я сказал:

– Сэр, меня зовут виконт Анн де Керуэль де Сент-Ив. Я не имею никакого понятия, почему вы здесь и каким образом очутились в корзинке воздушного шара, но мне кажется, что вы драгоценное приобретение.

Шар был приблизительно на высоте шестисот футов, как объявил Байфильд, посмотрев на какой-то прибор и прибавив, что подобное расстояние от земли – чистый пустяк.

В тихом воздухе «Лунарди» поднимался почти вертикально, он пересек утренний туман и теперь свободно плавал в голубом эфире. Благодаря странному обману зрения, земля под нами казалось вогнутой; линии горизонта как бы загибались вверх, точно края чаши, наполненной в действительности морским туманом, а как нам представлялось – какой-то ослепительно белой пеной, блестящей как снег. Движущаяся тень воздушного шара походила на лиловатое пятно среди этой белизны, на легкое, красивое пятно, которое можно было сравнить с аметистом, лишенным всех своих грубых свойств и обладающим только цветом и прозрачностью. Иногда незаметное дыхание ветра или, может быть, действие лучей солнца заставляли пену вздрагивать и расступаться. Тогда через образовавшиеся расщелины проглядывала земля, с людской суетой и хлопотами, показывались корабли в гавани, часть города, похожего на улей, из которого ребенок выкурил наружу всех пчел. Чудилось даже, будто слышится их жужжание!

Я выхватил из рук Байфильда подозрную трубу и направил ее в один из этих просветов. Передо мной, как бы в глубине светлого колодца, явился зеленый склон холма и на нем три фигуры, что-то белое мелькало над одной из них. Туман закрыл картину. Платок Флоры! Благослови, Господь, руку, которая махала им в ту минуту, когда (как я слышал впоследствии), сердце девушки ушло в ее башмаки, или, вернее, в башмаки скотницы Джанет. Во многих отношениях Флора отличалась большой оригинальностью, но она разделяла недоверие всех женщин к людским изобретениям.

«Лунарди» продолжал подниматься совершенно спокойно, корзина почти не колебалась. Только смотря на барометр, или бросая за борт лоскутки бумаги, мы видели, что шар движется. Я не чувствовал более ни малейшего головокружения, так как теперь ничто не показывало, на какой мы высоте. «Лунарди» был единственным осязаемым предметом в этой воздушной пустыне, и мы как бы сливались воедино с ней.

У меня от холода заоченели руки. Мы поднимались плавно, и английский термометр Байфильда показывал 13°. Я выбрал из груды платья толстое пальто, в кармане которого, на мое счастье, оказались теплые перчатки, потом выглянул из-за борта корзины и одним глазком посмотрел на Байфильда, старавшегося, насколько было возможно, держаться от меня подальше.

Морской туман рассеялся, и юг Шотландии расстился под нами, точно географическая карта. Там дальше лежала Англия с заливом Сольуэ, врезавшимся в берег, точно светлое, широкое острие копья, слегка загнутое на конце; ясно виднелись также и Кумберлендские горы, казавшиеся маленькими бугорками на горизонте. Все остальное было плоско как доска или как дно блюдечка. Белые нити больших дорог бежали от города к городу. Промежуточные возвышенности сгладились, города сжались, втянув в себя свои пригородные участки, как улитка рога.

– Сколько времени может «Лунарди» продержаться в воздухе? – спросил я Байфильда.

– Я никогда не пробовал этого, – ответил он, – но рассчитывал его часов на двадцать или на сутки.

– Мы увидим это. Я замечаю, все еще дует северо-восточный ветер. На какой мы высоте? Байфильд взглянул на барометр.

– Около трех миль, – сказал он. Дэльмгой услышал его замечание и произнес:

– Эй, эй! садитесь завтракать. Тут сэндвичи, булочки и чистейшие напитки. Пир Эльшендера! Шипшэнкс достает виски! Воспряньте, Эльшендер! Заметьте, что нет миров, которые вы

могли бы покорить, пролейте слезу и передайте мне пробочник. Ну, Дьюси, ну, сын Дедала, – если вы не голодны, то я-то пить хочу, да и Шипшэнкс тоже!

Байфильд вынул из одного из ящиков паштет со свиной и бутылку хереса (мне кажется, по этому выбору можно было составить правильное суждение о человеке). Мы сели завтракать. Голос Дэльмгоя так и журчал как ручей. Он весело и беспристрастно называл Шипшэнкса то царственным сыном Филиппа Македонского, то божественной Клориндой, уверяя при этом, что избирает его профессором супружеской дипломатии в Крэмондский университет. Передавая Шипшэнксу бутылку, веселый чудаковатый обращался к нему с просьбой сказать тост, спеть песню.

– Пожалуйста, Шипшэнкс, – говорил Дэльмгой, – огласите небесный свод, – но маленький человек только сиял в ответ, он наслаждался вполне.

– Ваш друг обладает неистощимым капиталом остроумия, неистощимым, – повторял он.

Одно из двух: или мое остроумие истощилось, или холод заморозил его. Я не мог ни на минуту забыть, что на мне легкое бальное платье, кроме того, меня сильно клонило ко сну; есть мне не хотелось, но я с удовольствием выпил виски и, скорчившись, прилег под грудой пледов. Байфильд любезно укрыл меня. Не знаю, уловил ли аэронавт некоторую неуверенность в звуке моего голоса, когда я благодарил его; во всяком случае, он счел за нужное успокоить меня.

Я продремал весь день, в полусне я слышал, как Дэльмгой и Шипшэнкс что-то пели, как они шумели, а Байфильд старался уговорить их, но, по-видимому, безуспешно. Проснувшись, я увидел, что Шипшэнкс, свалившись на меня, жонглировал пустой бутылкой и показывал движения, какими бросают в море кабель.

Дэльмгой отер слезы, выступившие на его глаза от хохота.

Я, не подозревая, что безумие моих спутников могло быть опасным, перевернулся на другой бок и снова заснул.

Мне казалось, что я проспал всего одну минуту, когда меня разбудил страшный шум в ушах; голова моя болела и была так тяжела, точно ее наполнили свинцом. Кто-то громко звал меня по имени; я сел и увидел облитое ярким лунным светом, взволнованное лицо Дэльмгоя, указывающего пальцем на что-то. У моих ног лежал воздухоплаватель, раскинув ноги и руки, точно чудовищно большая марионетка. Через него наклонился Шипшэнкс и смотрел вверх с веселой, одобрительной улыбкой.

– Вот ведь дело-то какое вышло, – объяснил Дэльмгой со вздохом. – Этот Шипшэнкс невозможен... Он не переносит виски... Мы решили, что будет весело выбросить балласт. Байфильд вышел из себя. Одним я горжусь: меня легко заставить опомниться. Шипшэнкс же не унимался и продолжал выбрасывать мешки с песком. Байфильд кинулся на него. Но было поздно... Шар все поднимался, становилось трудно дышать... Байфильду сделалось дурно. Шипшэнкс решил, что необходимо позвонить, позвать на помощь, схватил шнурок, дернул и оборвал его... Теперь «Лунари» не может опуститься, черт возьми.

Я взглянул вверх. «Лунари» преобразился. Его покрывал налет инея, блестящий как серебро. Все веревки и канаты были также словно облачены серебряным покровом или слоем жидкой ртути. Посреди этой блестящей клетки висел шнурок от клапана, на такой высоте, что его положительно нельзя было бы достать. Читатель, вероятно, простит меня, что я только вкратце упомяну о двух-трех минутах, которые и теперь во время кошмара мерещатся мне. Я качался над бездной тьмы, сжимая обледенелые веревки, я лез вверх и чувствовал, что каждую минуту могу соскользнуть в бездонную пропасть. Мне кажется, страшная боль в голове и невозможность свободно дышать побудили меня отважиться на эту попытку, вроде того, как зубная боль заставляет человека обратиться к дантисту. Я связал шнурок и спустился в корзину, затем открыл клапан, а свободной рукой вытер холодный пот, проступивший у меня на лбу.

Минуты через две у меня стало не так сильно шуметь в ушах. Дэльмгой наклонился над воздухоплавателем, из носа которого шла кровь. Байфильд стал дышать сильнее. Шипшэнкс спокойно задремал. Я не закрывал клапана, пока мы не погрузились в полосу тумана; без сомнения, «Лунарди» вышел из нее очень недавно; на это указывала изморозь, которая превратилась в сырость, осевшая на шар и его снасти. Наконец, мы, не поднимаясь выше, очутились в чистой, прозрачной атмосфере. Луна освещала бездну под нами, кое-где блеснула вода, потом эта картина снова исчезла. Теперь перед нами то вспыхивали, то потухали огоньки, я все чаще и чаще видел дым над фабричными трубами. Посмотрев на компас, я понял, что мы идем к югу, но над каким местом были мы? Я спросил мнение Дэльмгоя, он сказал, что шар над Глазго. Байфильд продолжал храпеть.

Я вынул часы, которые забыл завести; они остановились, показывая двадцать минут пятого, следовательно, утро приближалось. С минуты поднятия шара прошло восемнадцать часов, а Байфильд одно время полагал, что мы делали по тридцать миль в час! Пятьсот миль с лишком... Впереди блеснула серебристая черта; во мраке вырисовывалась светлая лента с резко очерченными краями. Море! Минуты через две я услышал прибрежный рокот... Пятьсот миль... Я стал снова рассчитывать, и мою душу наполнило восхитительное чувство успокоения. «Лунарди» высоко плыл над тенистыми гребнями прибрежных волн. Я поднял Дэльмгоя, сказав ему:

– Море!

– Да, похоже. Но какое?

– Английский Канал.

– Да? Вы думаете?

– Что? – крикнул проснувшийся Байфильд и поднялся с изумлением.

– Английский Канал!²³

– Дудки! – сказал он также поспешно. – Который час?

Я ответил ему, что мои часы остановились. С его хронометром случилось то же самое. Дэльмгой часов не носил, мы обыскали все еще бессильно лежавшего Шипшэнкса. Стрелки его часов показывали без десяти минут четыре. Байфильд взглянул на циферблат и щелчком выразил свое отвращение.

– Прекрасно! – произнес он. – Однако я обязан поблагодарить вас, Дьюси, мы могли совсем погибнуть... Голова у меня трещит.

– Подумайте! – сказал Дэльмгой. – Франция! Это уже не шутки.

– Итак, вы теперь убеждены в том, что пора перестать шутить?

Байфильд стоял, держась за веревку, и всматривался в темноту. Я был подле него, и мое убеждение все крепло. Мне казалось, что проходят целые часы, между тем заря все еще не загоралась. Наконец Байфильд повернулся ко мне.

– На юге от нас я вижу береговую линию. Это Бристольский канал, а шар опускается; нужно выбросить часть балласта, если только эти дураки не выкинули весь песок.

Я нашел два мешка и опустошил их. Берег был совсем близко, но «Лунарди» перелетел через гряду скал, поднявшись на несколько сотен футов. Внизу бушевало море; мы только на одно мгновение взглянули на его валы, походившие на серое, страдающее лицо. Вдруг, к нашему величайшему отчаянию, шар коснулся поверхности склона черной горы. «Держитесь!» – крикнул Байфильд. Едва я успел схватиться покрепче за корзину, как она ударилась о землю, и мы все упали друг на друга. Бац! Толчок, который потряхнул нас как горошины в пузыре. Я поднял ноги кверху и ждал третьего удара, но напрасно: корзина закружилась и, медленно покачиваясь, пришла в равновесие. Мы поднялись, выбросили за борт пледы, пальто,

²³ Так англичане называют Ла-Манш (прим. перев.).

инструменты и поднялись еще. Хребет высокой горы, бывшей нашим камнем преткновения, ушел вниз, пропал. Мы плыли вперед в бесформенную тень.

Насколько мы могли видеть, нигде не замечалось жилья. Нигде не блестело ни одного огонька, к несчастью, и луна зашла. С добрый час мы плыли среди хаоса, под звук хриплых жалоб Шипшэнкса, говорившего, что у него сломан шейный позвонок. Вот Дэльмгой протянул руку к небу. Кругом «Лунарди» и под ним стоял полный мрак, но далеко-далеко наверху мерцал свет. Он все разливался, спускался, наконец тронул вершины отдаленных гор, и они внезапно загорелись ярким пурпуром. «Приготовьте якорь!» – крикнул Байфильд, схватил шнурок и открыл клапан. Бесформенная земля понеслась нам навстречу. Мы падали через полосу света, но лучи солнца еще не достигли земли. Она, окутавшись во мглу, надвигалась на нас, точно неведомое чудовище, спрятанное под покровом. Лес и кусты стояли на поверхности как щетина. Там в чаще блестела печальная река. С деревьев поднялась целая стая цапель и с криком пролетела под нами. «Ну, это не годится, – заметил Байфильд и закрыл клапан. – Нам нужно выбраться из леса». Недалеко впереди речка вливалась в залив, полный кораблей, стоявших на якорях. Берега залива окаймляли горы, в западной части этой подковообразной цепи поднимался серый город, расположенный террасами, точно места в амфитеатре; из его больших фабричных труб шел дым и несся к светлому небу. Террасы города загибались к югу, оканчиваясь круглым замком. Далеко в открытом море стоял бриг под белым парусом.

Мы на высоте сотни футов плыли к городу и тащили спущенный якорь точно рыбу, попавшую на крючок. Народ смотрел на нас с палуб кораблей. Экипаж одного из них спустил шлюпку, чтобы она следила за нами, но когда лодка очутилась в воде, мы уже улетели вперед на полмили. Что делать? Миновать ли город? По приказанию Байфильда мы сняли наши пальто и стояли, приготовившись выпрыгнуть из корзинки по его знаку. Переменившийся ветер нес нас к предместьям города и к гавани.

Мы спустились на несколько футов: в одно мгновение якорь упал на землю и, бороздя почву маленького огорода как плуг, двигался по нему, вырывая с корнем смородиновые кусты. Вот он высвободился из-под земли и зацепился за деревянный сарайчик. Нас сильно толкнуло. Я услышал страшный шум и, нагнувшись, увидел, что сарайчик упал, как падают карточные домики. Из-под развалин выскочила пара обезумевших свиней и понеслась через садовые грядки.

Наш канат тянулся через верх высокой каменной стены, и рвавшийся вверх «Лунарди» походил на прелестный цветок, покачивавшийся на очень тонком стебле над посыпанным гравием двором. Среди этого двора, окаменев от изумления, стояла толпа солдат в красных мундирах и смотрела на нас. Мне кажется, что первый же взгляд на эту ненавистную мне форму заставил мой нож перерезать якорную веревку. В две минуты дело было окончено и наш аэростат поднялся. Однако лица этих людей до сих пор стоят передо мною, точно изображенные на барельефе. Я так и вижу их круглые глаза, широко открытые рты, все черты этих детских, просто деревенских физиономий, рекрутов, выстроившихся перед сержантом. Сержант горизонтально держал трость. Он тоже взглянул на нас, и я ясно рассмотрел его чисто ирландские черты. Байфильд страшно бранился. Когда он на мгновение замолчал, я сказал ему:

– Мистер Байфильд, вы открыли не тот клапан. Нас несет к морю. В качестве хозяина шара я прошу вас опуститься на благоразумное расстояние от того брига. Вы видите, он обстенивает паруса, а это доказывает, что с судна за нами наблюдают и даже готовятся спустить для нас лодку.

Байфильд принял к сведению мои замечания и исполнил мое желание, хотя и не без ропота. Точно прибрежная чайка, «Лунарди» спустился к волнам, и, пролетев через бриг, ударился о воду. Я говорю «ударился», так как мы спустились совсем не так мягко, как следовало ожидать. «Лунарди» плыл по воде, но ветер топил его. Шар увлекал за собою корзину, напоминавшую наклонное ведро; несчастные, промокшие воздухоплаватели боролись с вол-

нами, хватаясь за сетку аэростата, стараясь впустить ногти в просмоленный шелк. Очувшись в новой стихии, шар проявил внезапное злобное коварство. Когда мы старались взобраться на него, он опускался под нами как подушка, скатывал нас с себя в соленую влагу, не давая времени оглянуться назад. Я заметил небольшой катер, шедший с подветренной стороны, и предположил, что капитан брига предоставил ему спасти нас. Я не ошибся. Вдруг сзади меня раздался крик, шум вынутых из воды весел. Чья-то рука схватила меня за ворот. Одного за другим нас вытащили из волн и спасли.

Глава XXXIV

Капитан Колензо

Шар осел, сморщился, и с ним стало легче справляться. Матросы привязали его к рымболту лодки и взялись за весла. Я так дрожал, что зубы у меня стучали; процедура спасения затянулась потребовалось также время на то, чтобы подойти к бригу, и мне стало очень холодно. «Мы точно кита поймали», – заметил гребец, сидевший сзади меня. Голосом, манерами, лицом и фигурой, он как две капли воды походил на матроса, правившего рулем. Между этими людьми существовало такое же сходство, как между Симом и Кэндлишем. Обоим морякам я мысленно дал лет по сорока, у обоих в волосах пробивалась седина, а под глазами были мешки. Вглядевшись в остальных троих гребцов-юношей, я подметил, что, несмотря на молодость, они тоже очень походили на своих старших товарищей. Сухощавый стан, длинное серьезное лицо, смуглый цвет кожи и задумчивые, мечтательные глаза! Передо мной был Дон-Кихот в различных возрастах! Я раздумывал об этом удивительном сходстве и не заметил, как мы подошли к трапу брига. Когда я быстро взобрался наверх, высокий человек в синей куртке и парусиновых панталонах подал мне с палубы руку. Передо мной стоял дряхлый, сгорбленный старик, державшийся с большим достоинством. Я решил, что он хозяин брига и родоначальник этой семьи. Старик приподнял фуражку и заговорил с нами очень любезным, вежливым тоном, но, как я теперь припоминаю, в его голосе звучала усталость. Мы поблагодарили капитана за его услугу.

– Я очень рад, что мог быть полезен вам. Едва ли лоцманский катер подоспел бы к вам раньше, нежели через двадцать минут, я дал ему сигнал, он подойдет к бригу и доставит вас обратно в Фальмут.

– Мои товарищи, конечно, с благодарностью воспользуются вашим предложением, – сказал я. – Я же не желаю возвращаться на берег.

Старик молчал, очевидно, взвешивая мои слова; по-видимому, они удивили его, но он из вежливости старался вникнуть в них. В его серых, честных, почти детских глазах было что-то немного тупое, немного рассеянное, точно никакие житейские дела не касались его. Путешествуя, я присматриваюсь ко всем встречным; такое выражение глаз, которое я видел теперь, я еще раньше подмечал на лицах каменщиков, коловших щебень.

– Я не вполне понимаю вас, – наконец произнес он.

– Если я не ошибаюсь, – сказал я, – я на палубе одного из знаменитых фальмутских почтовых пакетботов?

– Вы и правы, сэр, и ошибаетесь. Бриг был пакетботом и, могу сказать, превосходным. – Старик поднял глаза, осмотрелся кругом, наконец его взгляд устремился на мое лицо, кроткая покорность судьбе отражалась в чертах капитана. – Но старый вымпел спущен, как вы видите, теперь бриг служит только арматором.

– Мне это очень приятно слышать, капитан?..

– Колензо.

– Капитан Колензо, примите меня на палубу в виде пассажира. Я не смею назвать себя вашим товарищем по оружию, так как морская служба мне не известна, но ведь я заплачу вам... – Я нервным движением сунул руку в карман, бывший у меня на груди, и мысленно благословил Флору за ее непромокаемый мешок для денег. – Что же, сэр, возьмете вы меня в пассажиры?

– Вы не шутите?

– Клянусь вам, сэр, что я говорю вполне серьезно.

Старик колебался, он подошел к своим товарищам, потом закричал в каюту:

– Сюзанна, Сюзанна, прошу тебя, выйди на мгновение на палубу! Один из этих джентльменов желает сделаться нашим пассажиром!

Из каюты показалась голова темнолицей женщины средних лет. Незнакомка взглянула на меня. Таким взором могла бы окинуть прохожего корова, спокойно пережевывающая свою жвачку.

– Какое странное платье! – заметила она, взглянув на меня.

– Сударыня, это был бальный костюм.

– Тут вы не для танцев, молодой человек.

– Я вполне согласен с этим, сударыня. Я готов подчиниться всем вашим условиям. Какова бы ни была дисциплина на корабле, я...

– Отец, вы предупредили этого господина? – перебила меня Сюзанна.

– Нет еще. Видите ли, сэр, – сказал старик, – я должен объяснить вам, что мы не отправляемся в обыкновенное плавание. Я обязан предупредить вас, сэр, что мы, наверно, попадем в руки неприятеля. Я не могу всего объяснить вам, сэр. Последствия... я мог бы отчасти смягчить их для вас, но все же вам придется подвергаться опасностям. – Старик замолчал, потом снова принялся уговаривать меня вернуться на землю.

– Нет, – ответил я, охваченный ослиным упрямством. – Повторяю: я готов на всякую опасность. Если же вам непременно хочется, чтобы я вместе с моими друзьями сел в катер, прикажите вашему экипажу стащить меня, иначе я не уйду с палубы. Вот и все!

– Ах, Ты, Господи! Скажите мне, по крайней мере, вы не женаты?

– К несчастью, нет еще. – Я поклонился Сюзанне, но она повернула ко мне свою широкую спину, и заряд пропал даром. – Ваш вопрос, сэр, напоминает мне, – продолжал я, – что я должен еще попросить вас одолжить мне перо, чернил и бумагу. Я хотел бы отправить письмо на почту.

Сюзанна предложила мне последовать за нею, и я очутился в главной каюте, представлявшей комнату, отделанную заново. Мы с моей проводницей застали в ней двух довольно красивых девушек, занимавшихся делом. Одна из них вытирала рабочий стол из красного дерева, другая чистила медную дверную ручку. Они взяли свои тряпки, поклонились и по одному слову Сюзанны ушли. Дочь капитана предложила мне сесть за рабочий столик и снабдила меня всем необходимым для письма. «Почему на этом арматоре столько женщин?» – думал я, ощупывая палочку пера и собираясь начать писать мое первое любовное послание.

«Дорогая, пишу вам, чтобы выразить чувство моей преданности и сказать, что шар спустился счастливо, и теперь ваш Анн находится на палубе»...

– Кстати, мисс Сюзанна, как называется этот корабль?

– «Леди Непин», я же замужем и у меня шесть человек детей.

– Поздравляю вас, сударыня! – Я поклонился и продолжал писать:

«„Леди Непин“. Корабль этот идет из Фальмута в»...

– Простите, но куда мы пойдем?

– К берегам штата Массачусетса, как мне кажется.

«...к берегам штата Массачусетса. Надеюсь, что оттуда я счастливо доберусь до Франции. Боюсь, что мне еще долго не придется получать от вас известий. Тем не менее, даже если вам нечего будет написать мне, кроме слов: „Я люблю вас, Анн“, напишите их и вручите ваше письмо мистеру Робби, который передаст его мистеру Ромэну. Ромэн же, вероятно, найдет возможность переправить его в Париж, на улицу Фуар номер шестнадцать, на имя вдовы Жюпиль, для передачи капралу, хвалившему ее белое вино. Она вспомнит обо мне, да, по правде говоря, стоит напомнить о человеке, имевшем

мужество хвалить ужасный напиток. Мне кажется, второго такого вина не найдется в целой Франции. Если к вам явится юноша по имени Роулей – полагайтесь на его верность, но не на его ум. Итак, лодка ждет письмо, я целую имя „Флоры“ и остаюсь вашим пленником теперь и навек. Анн».

Лодка ждала подле брига; кроме того, еще одно обстоятельство заставило меня поспешно кончить это письмо и наскоро запечатать его. Бриг медленно, еле заметно качался, и от этого движения у меня начала кружиться голова. Я выбежал из душной каюты на палубу, пожал руки моим товарищам и передал письмо Байфильду, попросив воздухоплатателя отправить его на почту. Когда катер отходил, Дэльмгой весело сшиб шляпу с Шипшэнкса в виде прощания. «По местам!», – скомандовал Колензо, и вскоре «Леди Непин» медленно двинулась с места. Я стоял подле борта, смотрел на удалявшийся катер и старался убедить себя в том, что свежий воздух принесет мне облегчение.

Капитан заметил, что я страдаю, и посоветовал мне лечь; когда я стал противоречить ему, он нежно взял меня за руку, точно своенравного ребенка, и отвел меня вниз, в одну из кают, в которую вели двери из красного дерева.

Даже когда прошли невыносимые двое суток и ко мне отчасти вернулся аппетит, я все еще чувствовал себя не очень хорошо. Женщины, бывшие на бригае, ухаживали за мной, кормили меня самыми легкими кушаньями. Мужчины при виде меня сочувственно кланялись мне. На «Леди Непин» царила абсолютная тишина, мрак таинственности окутывал все и всех, порождая во мне всевозможные странные предположения. Начать с того, что на бригае было восемь женщин (вещь необычайная для арматора), все дочери или жены сыновей капитана Колензо. Мужчин я насчитал двадцать три, и те из них, которые не назывались Колензо, носили фамилию Пенджелли. Большею частью эти моряки двигались так неловко, были до того желчны, что страшно походили на постоянных жителей твердой земли, недавно оторванных от плуга; однако их лица не слишком загубели от полевых работ и жизни под открытым небом.

Весь экипаж, собираясь на корме, молился; по будням дважды в день, по воскресеньям – три раза. Если я скажу, что эти люди отдавались молитве с жаром, то употреблю слишком бледное и бесцветное выражение. Вначале обычно все шло довольно спокойно. Капитан читал какой-нибудь отрывок из Священного Писания, остальные чинно слушали. Затем, в особенности вечером, молящихся охватывал восторженный порыв, они с пламенной верой отвечали старику «аминь», доходили до экстаза. Через несколько минут члены молитвенного собрания разражались громкими изъявлениями благодарности Богу, ободряли друг друга, поощряли. То один, то другой из них взбирался на кафедру (на длинную девятифунтовую пушку) и принимался говорить о том, что пережила его душа; наконец голос оратора прерывался, слушатели со слезами увещевали его, кричали, даже подпрыгивали. Минут на десять корабль превращался в какой-то дом умалишенных, бедлам. Затем шум прекращался так же внезапно, как возникал. Старик распускал экипаж, все расходилось с лицами еще более непроницаемыми, чем прежде, но еще хранившими следы подавленного волнения.

Прошло дней двенадцать. Мы обедали в большой каюте. Капитан сидел во главе стола и, по обыкновению, крошил свой бисквит с видом человека в полузабытье. Дверь отворилась, и мистер Рьюбен Колензо, старший сын и главный помощник капитана, просунул в дверную щель свою голову с серьезным лицом и объявил, что на расстоянии четырех миль показался парус. Я пошел на палубу вслед за капитаном. Нам навстречу шла шхуна. На двухмильном расстоянии я заметил, что на ней были английские цвета.

– Но этот флаг не шит в Англии, – заметил капитан Колензо, смотревший в подозрную трубу. Его щеки, обыкновенно покрытые желтоватой старческой бледностью, загорелись слабым румянцем. Я заметил, что и весь экипаж также был взволнован, хотя и силился скрыть это; что касается меня, я готовился сыграть роль мишени в предстоящей схватке. Однако меня

очень удивило, что капитан не велел ни приготовить кортики, ни выкатить бочки с порохом, словом, не сделал никаких распоряжений для того, чтобы вооружить своих людей и поставить их в боевую готовность. Большая часть экипажа собралась подле переднего люка, бросив пушки, которые утром так усердно приводились в порядок. Мы ни на йоту не ускорили нашего хода. Шхуна, в виде предостережения, дала залп.

Я не спускал глаз с капитана Колензо. Неужели он думал сдаваться без сопротивления? Старик, оставив подзорную трубу, взялся за рупор и ждал. Холодное подозрение шевельнулось во мне. Неужели капитан намеревался изменить своему знамени? Я взглянул наверх. На мачте развевался английский флаг. Я повернул голову и скорей почувствовал, нежели увидел, внезапно вспыхнувший яркий свет, меня оглушил гром залпа. Без сомнения, корабль-американец тоже заметил наш вызывающий флаг и решил, что мы намереваемся пойти на abordаж. Не знаю, мой ли взгляд пробудил капитана Колензо или хор пушек вернул ему сознание, но когда клубы дыма наполнили все пространство между мной и им, он бросил рупор и с искаженным лицом кинулся к гакаборту. Предатель забыл спустить флаг!

Было слишком поздно. Пока он возился с флагом, на квартердек посыпался целый град мушкетных пуль. Колензо взмахнул руками, повернулся и упал к ногам рулевого. Отвязанный флаг медленно спустился на него, точно для того, чтобы прикрыть его позор. В ту же секунду выстрелы прекратились. Чувство сострадания боролось во мне с чувством презрения. Мне хотелось поднять жалкое тело капитана, но вместе с тем меня удерживало от этого отвращение к предателю. Вдруг Сюзанна пробежала мимо меня и с воплем упала на колени подле отца. Изпод красных складок флага показалась струйка крови, потекла вдоль палубы и остановилась подле скрепа досок, образуя лужицу. Я смотрел на нее, рисунок багровой лужи напоминал изображение Ирландии на карте. Я не отрывал глаз от крови, наконец чей-то голос вывел меня из задумчивости; я оглянулся и увидел худошавого американца с впалыми щеками, стоявшего сзади меня.

– Вы туги на ухо? – спросил он. – Или я должен вам еще раз сказать, что все это похоже на петушиный бой? Там капитан? Он убит? Тем лучше для него, хотя я желал бы, чтобы он объяснил мне смысл своего поступка. Я желал бы знать, зачем он привел сюда «Леди Непин»? Ведь командор Роджерс находится на Родосе! По-видимому, капитан Колензо был смел. Ну, а что вы-то делаете на этом судне? Господи, да сколько же у вас женщин на палубе?

Действительно, три женщины стояли на коленях возле мертвого капитана. Мужчины сдались, бросить оружия к своим ногам они не могли, так как были невооружены. Кордон янки окружал их. Один из матросов безжизненно лежал на палубе, человека три были ранены. Неприятельское судно сидело ниже нас над водой, а потому выстрелы шхуны мало повредили палубу «Леди Непин», хотя, быть может, сильно попортили ей корпус.

– Прошу извинения, капитан...

– Меня зовут Секомб, я капитан шхуны «Manhattan».

– Ну так вот что, капитан Секомб, я здесь только пассажир и не знал ни намерений этого брига, ни причины, почему он поступил так, что я невольно покраснел за его флаг, который имею полное основание ненавидеть.

– Ваши вкусы не мое дело. Скажите, капитан потопил почту?

– Мне кажется, и топить-то было нечего.

Секомб взглянул на меня с удивлением.

– Вы не похожи на англичанина.

– Полагаю. Я – виконт Анн де Керуэль де Сент-Ив и бежал из английской военной тюрьмы.

– Хорошо будет для вас, если вам удастся доказать справедливость ваших слов. Ну, мы доберемся до истины. – Секомб осмотрелся и громко произнес: – Кто старший офицер этого брига?

Рьюбена Колензо пропустили вперед. Пуля задела ему кожу на черепе, и кровь из раны текла на его правую щеку. Но Рьюбен довольно твердо держался на ногах.

– Отвести пленника вниз! – приказал капитан Секомб. – А вы, мистер, как вас там зовут, указывайте нам дорогу. Мы как-нибудь разберемся в этом деле.

Через два дня мы бросили якорь в большой Бостонской гавани, и капитан Секомб отправился со своими пленниками к командору Бэнбриджу, который пожелал слышать мнение командора Роджерса. Через несколько недель добровольных пленников отправили в Нью-Порт для того, чтобы Роджерс допросил их; к чести республики надо сказать, что оригинальную семью отпустили на честное слово. Не знаю, вернулись ли все эти Колензо и Пенджелли в Англию или сделались американскими гражданами по окончании войны. Я был счастливее. Командор сказал капитану Секомбу, чтобы тот задержал меня, пока французский консул не расследует моего дела. В течение двух месяцев я был гостем в доме капитана. Затем распрощился с мисс Амелией Секомб, очень образованной молодой особой, которая, как выразился ее отец, представляя меня ей, приобрела прекрасные познания во французском языке и с удовольствием могла бы обмениваться со мной мыслями на этом наречии! Однако мы с Амелией немного беседовали по-французски. Когда я заметил, что мисс Секомб почувствовала желание заменить разговоры на французском или английском диалекте более нежным языком взглядов, я, схватив быка за рога, поведал ей свою тайну и стал постоянно воспевать Флору. Вследствие этого в моей Одиссее нет Навзикая. Напротив, славная девушка приняла во мне большое участие. Она с таким успехом бомбардировала своего отца и консульство просьбами и письмами, что уже второго февраля 1814 года я, стоя на палубе шхуны «Шаумет», шедшей в Бордо, с увлечением махал ей на прощание рукой.

Глава XXXV В Париже

Десятого марта шхуна «Шаумет» прошла форт Pointe de Grave и вошла в устье Жиронды; на следующий день в одиннадцать часов она бросила якорь немного ниже Блэ. Мы причалили как раз вовремя: сюда со дня на день ждали британский флот, спешивший к берегам Франции, чтобы действовать заодно с герцогом Ангулемским и графом Линчем, который собирался сбросить со своего плеча трехцветную повязку и передать Бордо Берсфорду или, если вы желаете, Бурбону. Слухи об этих намерениях уже дошли до Блэ. Поэтому, едва моя нога коснулась земли дорогой для меня Франции, как я направился в Либурн или, лучше сказать, во Фронсак. Переночевав там, я на следующее же утро двинулся в столицу. Но мое путешествие шло медленно. Война забрала у страны всех лошадей, кучеров тоже было мало, вследствие этого мне пришлось употребить две недели на то, чтобы добраться до Орлеана; в Этампе (я приехал туда тридцатого) кучер дилижанса объявил, что он не двинется дальше. Париж окружали казаки и пруссаки. Императрица бежала из Тюильри. Император был в Труа, или вообще где-то близ Фонтэнбло; никто не знал наверно, где он. Из Парижа спешило множество беглецов, и я не мог найти ни одного экипажа, ни одного четвероногого животного ни за какие деньги, хотя ходил по Этампу несколько часов подряд.

Наконец вечером я натолкнулся на серую клячу, запряженную в наемный кабриолет. По билету на экипаже было видно, что кабриолет из Парижа. Лошадью правил совершенно пьяный извозчик. Я подошел к нему и заговорил с ним. Он сейчас же залился пьяными слезами и пустился в длинные объяснения. Двадцать девятого он привез сюда семью буржуа из столицы и целые три дня блуждал по Этампу, ночью же спал пьяным сном под своим экипажем. Я спросил его, за какую цену согласится он отвезти меня в Париж. Продолжая заливаться слезами, извозчик ответил, что он согласен на все. Через пять минут мы уже направлялись к Парижу, но нельзя сказать, чтобы быстро: серая кляча моего извозчика совсем выбилась из сил. Монологи моего возницы лились всю дорогу неудержимым потоком. Его анекдоты касались только трех дней, проведенных им в Этампе. Очевидно, это время так запечатлелось в его уме, что изгладило из него воспоминание обо всей его предыдущей жизни. Он не мог мне ничего сказать ни о войне, ни о каких-либо общественных событиях.

Резня кончилась. Я въехал в Париж с юга как раз вовремя, чтобы видеть, как с севера вступают русские под предводительством императора Александра. Вскоре я очутился в толпе, стремившейся к нему навстречу. Его величество двигался от заставы Пантен к Елисейским полям, где был назначен большой смотр. Я тоже решил идти туда же, но избрал путь через набережную. На площади Согласия, в группе аристократов я узнал Луи де Шатобриана, брата Талейрана, Аршамбо де Перигора, негодяя маркиза де Мобрейля... и моего кузена, виконта де Керуэль де Сент-Ива. Циничское, ничем не прикрытое бесстыдство этого человека поразило меня. Мне точно дали пощечину. Стоя в толпе чужих людей, я почувствовал, что мои щеки вспыхнули, и мне захотелось броситься бежать. Лучше сделал бы я, если бы убежал! Случайно Ален не заметил меня.

Он сидел на лошади с важным видом, от него так и веяло низостью; на его щеках играл яркий румянец, и своей позой и манерой держаться он напоминал первого тенора, выехавшего на сцену верхом. На конце его хлыста был повязан обшитый кружевами белый платок. Это мне сильно не понравилось; когда же он повернул своего гнедого, я увидел, что он, последовав примеру Мобрейля, украсил хвост лошади крестом Почетного Легиона; я крепко сжал зубы. Между тем роялисты кричали:

– Да здравствует король! Да здравствуют Бурбоны! Долой корсиканский сапог! – Мобрейль привез целую корзину, полную белых повязок и кокард. Всадники разъезжали в толпе и бросали в молчаливых бесстрастных парижан знаки подчинения королю.

Поднимая одну из кокард, Ален пробирался через небольшую группу, окружавшую меня; наши глаза встретились.

– Благодарю, – сказал я, – оставьте ее у себя до нашего свидания на улице Грегуар-де-Тур!

Его рука, державшая хлыст и кружевной платок, поднялась как ужаленная. Но не успела она опуститься, я нырнул в толпу, теснившуюся к нему, правда, ничего не понимая, но с враждебным чувством.

– Долой белые кокарды! – крикнули два-три голоса.

– Кто этот щенок? – долетел до меня вопрос Мобрейля, спешившего к нему на выручку, а вслед затем послышался и ответ Алана: – *Peste!* Это мой молодой родственник, желающий как можно скорее остаться без головы, тогда как я предпочитаю еще повременить!

Я принял эти слова за выражение ненависти и нашел их смешными. Но встреча с кузеном лишила меня желания идти любоваться смотром; я повернулся, снова перешел через реку и отправился на улицу Фуар, к вдове Жюпиль.

Улица Фуар, некогда очень известная, теперь сильно загрязнена, так как только один сток несет в Сену нечистоты, которые скапливаются в ней, а вдова Жюпиль, даже в те дни, когда она состояла маркитанткой сто шестого линейного полка и еще не сочеталась браком с сержантом того же полка, Жюпилем, не блистала красотой. Но мы подружились с нею, когда я был легко ранен в аванпостном деле при Альегде, и при воспоминании о том, как она прикладывала мазь к моей ране, я находил сносным ее белое вино; вот почему, когда Жюпиль был сражен при Саламанке, а Филомена славного сержанта получила винную лавку его матери, – она внесла мое имя в список своих будущих покупателей. Я, так сказать, чувствовал расположение ее фирмы и, пробираясь по нечистой улице Фуар, мысленно говорил себе: «Небо видит, что солдату империи следует и этим дорожить в нынешнем Париже. *Ed aliquid, quocunque loco, quocunque sacello...*».

Вдова Жюпиль тотчас же узнала меня и, выражаясь фигурально, мы бросились друг другу на шею. Ее лавка была пуста. Все ушли любоваться смотром. Смешав наши слезы (опять выражение фигуральное) и посетовав на изменчивость столицы, я спросил, нет ли у нее писем на мое имя.

– Нет, товарищ.

– Ни одного? – с изумлением спросил я.

– Ни одного, – госпожа Жюпиль лукаво посмотрела на меня и прибавила: – Барышня слишком осторожна.

– Ах! – я с облегчением вздохнул. – О, несносная женщина, что вы хотите этим сказать?

– Ну, дней десять тому назад сюда пришел незнакомый мне человек и спросил меня: знаю ли я что-либо о капрале, который хвалил мое белое вино. – «Знаю ли я что-нибудь, – ответила я, – об иголке в копне сена. Все его хвалят». (О, госпожа Жюпиль). – «Я говорю о капрале, – сказал он, – по имени Шамдивер». – «Как? – закричала я, – вы же не хотите сказать, что он умер?» И, право, товарищ, у меня на глазах навернулись слезы. – «Нет, не умер, – сказал он, – и в доказательство этого он скоро явится сюда и спросит, нет ли у вас писем на его имя. Скажите ему, что если он хочет получить письмо от...» – видите, я записала фамилию на клочке бумаги... – «от Флоры Гилькрест, пусть ждет в Париже, пока его друг не найдет возможности передать ему записку из рук в руки. Если он захочет узнать обо мне что-либо еще, скажите, что я пришел от...» – Погодите... я записала второе имя под первым... Да, вот оно: «от господина Ромэна».

– О, проклятая осторожность, – произнес я. – Что это был за человек?

– Очень степенный, вежливый. Его можно было принять за главного лакея или клерка нотариуса; он был одет просто, во все черное.

– И говорил по-французски?

– Отлично. Что еще?

– И он не возвращался?

– Конечно, зашел позавчера и, по-видимому, очень огорчился. – «Может быть, нужно передать капралу еще что-нибудь?» – спросила я. – «Нет, – ответил он, – или, погодите, скажите ему, что на севере все идет хорошо, но что он не должен уезжать из Парижа не повидавшись со мной».

Вы можете себе представить, до чего я проклинал осторожность Ромэна! Если на севере все шло хорошо, зачем он не оставил писем Флоры? Какое извинение было у него? И каким образом ее письмо могло быть опасным для меня здесь, в Париже? Мне почти хотелось закутить удила и отправиться в Кале. Однако мне было приказано ждать, и мой поверенный, конечно, имел причины действовать таким образом, скрывая их под этими досадными, скучными подходами. Вдобавок, его посланник мог каждую минуту вернуться.

Поэтому, хотя и без удовольствия, я заблагорассудил поселиться у вдовы Жюпиль и, скрепя сердце, ждать. Вы, вероятно, скажете, что мне было легко убить время в Париже между тридцать первым марта и пятым апреля 1814 года. Но ни вступление союзников, ни предательство Мармона, ни отречение императора, ни появление казаков на улицах Парижа, ни деятельность газетных контор, кипевших как ульи под руководством новых издателей, ни новые и противоречивые вести, с утра до ночи сменявшие одна другую, ни разноречивые слухи в различных кафе, ни стычки на каждом углу, ни ежечасный поток воззваний, плакатов, объявлений, карикатур и громадных листов с непристойными стихами, ни памфлеты не развлекали меня. Когда я шел по улице, занимаясь лишь своими собственными надеждами и тревогами, я слышал все как во сне. Я не считаю это простым себялюбием, глубокое отвращение внушала мне моя страна. Если этот Париж составлял действительность – я был призраком, выходящем с того света, а Франции, Франции, за которую я дрался, за которую мои родители пошли на эшафот – никогда не существовало, и наш патриотизм оказывался тенью тени. Не судите меня слишком сурово, если во время беспокойных бесцельных блужданий тех дней я мысленно перешел через мост, служивший дорогой между страной, в которой у меня не было ни родных, ни друзей, ничего, кроме моего призрачного прошлого, и той страной, где жило существо, хотя, может быть, и единственное, вызывавшее мое поклонение.

На шестой день, пятого апреля, я не выдержал; позавтракав и выпив бутылку Божоле, я принял решение: из ресторана я пошел прямо домой и там попросил госпожу Жюпиль дать мне перо, бумагу, чернил, готовясь письменно известить Ромэна, что к лучшему ли то будет или к худшему, но через сутки после получения моего письма он будет иметь возможность ждать встречи со мной в Лондоне.

Едва я составил первую фразу, как в дверь постучали, и вдова Жюпиль объявила, что какой-то господин желает меня видеть.

– Проводите его сюда, – сказал я, с замиранием сердца открывая дверь. Через мгновение на пороге остановился... мой кузен Алэн.

Он был один. С видом человека, понимающего все, он посмотрел на меня, на письмо, поставил свою шляпу на стол подле листка почтовой бумаги, а перчатки, в которые предварительно подул, положил подле шляпы.

– Кузен, – сказал он, – время от времени вы поражаете меня замечательной быстротой движений, но, в общем, вас легко отыскивать.

Я поднялся с места.

– Полагаю, вам крайне необходимо поговорить со мной, так как, несмотря на множество политических занятий, вы потрудились отыскать меня. Если я не ошибаюсь, прошу вас говорить кратко.

– Мне совсем не пришлось трудиться, – любезно поправил он меня. – Я все время знал, что вы здесь. Я поджидал вас еще до вашего приезда и прислал сюда моего Поля с поручением.

– С поручением?

– Да, относительно письма прелестной Флоры. Вам передали?.. То есть, мои слова?..

– Значит, это не...

– Да, не Ромэн, которому, – он снова посмотрел на письмо, – вы пишете, прося объяснений... А так как вы собираетесь спросить меня, каким путем мог я проследить за вами до этой неблаговоной берлоги, позвольте мне сообщить вам, что «а» и «б» – составляют слог «аб», и что, выслеживая преступника, полиция не забывает вскрывать его корреспонденцию.

Я почувствовал, что моя рука, сжавшая спинку стула, дрожит, но мне удалось овладеть своим голосом и ответить достаточно хладнокровно:

– Одну минутку, господин виконт, а потом я доставлю себе удовольствие: схвачу вас и вышвырну из окошка. Вы с помощью лжи на пять дней задержали меня в Париже. Пока все отлично. Не окажете ли вы мне еще одну милость и не объясните причины ваших действий?

– С величайшим удовольствием. Мои планы не были готовы: не хватало одной мелочи, вот и все. Теперь я знаю и эту подробность. – Он взял стул, сел к столу и вынул из кармана сложенную бумагу. – Может быть, вам еще неизвестно, что наш дядя, наш горько оплакиваемый дядя, умер три недели тому назад.

– Вечный покой его душе!

– Простите, если я прерву выражение этой благочестивой надежды. – Алэн замолчал и, собрав весь свой яд, излил его на память нашего дяди в отвратительном проклятии, которое только доказывало его бессилие. Овладев собой, он продолжал: – Мне незачем напоминать вам ту сцену, сознаюсь, слишком театральную на мой вкус, которую адвокат разыграл подле его кровати; незачем мне также говорить вам о содержании дядиногo завещания. Но, быть может, из вашей памяти ускользнуло, что я честно предостерегал Ромэна. Я обещал ему поднять вопрос о постороннем влиянии на старика и говорил, что у меня есть свидетели. С тех пор их число увеличилось, однако, заявляю, что мое дело станет еще лучше, когда вы подпишите документ, который я имею честь передать вам.

Я взял документ и прочитал:

«Я, виконт Анн де Керуэль де Сент-Ив, служивший под именем Шамдивера в армии Бонапарта, а позже – бывший под этой же фамилией военнопленным в Эдинбургском замке, заявляю, что я не знал моего дяди, графа де Керуэля де Сент-Ива, не ожидал от него ничего и не был им признан, пока мистер Даниэль Ромэн не отыскал меня в Эдинбургском замке, не снабдил меня деньгами для бегства и не привез ночью и тайно в Америке. Далее, что ни раньше этого вечера, ни позже, мои глаза не видели дяди, что когда я пришел к нему, он лежал в постели, по-видимому, в состоянии полного старческого истощения. У меня есть основания предполагать, что Даниэль Ромэн не сообщил ему всех обстоятельств, сопровождавших мое бегство, главное же, моего отношения к смерти одного из узников, Гогель, бывшего квартирмейстера двадцать второго полка»...

Достаточно этого образчика. Он весь состоял из искаженных фактов, вызывавших мысль о моей преступности. Я прочитал его до конца и бросил на стол.

– Извините, – сказал я, – но что, по-вашему, должен я сделать с этой бумагой?

– Подписать ее.

Я засмеялся.

– Еще раз извините, хотя вы и в подходящем костюме, но мы не разыгрываем оперетки.

– А вы все-таки подпишите бумагу.

– Ах, вы мне надоели! – Я сел и перекинул ногу через ручку моего кресла. – Не перейти ли нам к вашему следующему предложению, ведь у вас, конечно, оно наготове?

– Конечно, – весело согласился он. – Внизу стоит Клозель, а в гостинице «Золотая голова», там, подальше, на этой же улице, полицейский эскорт.

Мое положение было нехорошее. Но если бы вначале у Алена и была возможность напугать меня, чего я не признаю, он испортил бы ее, раздражив меня. Я не спускал с него глаз и думал; и чем дольше я думал, тем лучше понимал, что в его игре был какой-то слабый пункт, и что моя задача заключалась в том, чтобы отыскать это слабое место.

– Вы сказали, что предупредили мистера Ромэна. Нам, членам одной семьи, неприятно касаться обстоятельства, которое я сейчас затрону. Но, скажите, помните ли вы ответную угрозу Даниэля Ромэна?

– Пустяки, мой юный господинчик! Тогда она, правда, подействовала; я был неподготовлен. Низость, самая чудовищность и безосновательность его обвинений, все вместе поколебало мой рассудок.

– Значит, это была безосновательная угроза?

– Лучшее тому доказательство, что, несмотря на мое открытое презрение и полное невнимание к его словам, адвокат и рукой не пошевелил.

– Вы хотите сказать, что дядя уничтожил улику?

– Ничего подобного, – запальчиво ответил Ален. – Я говорю, что улики никогда и не существовало.

Глядя на него, я спокойно сказал:

– Ален, вы лгун!

Его лицо, покрытое белилами, потемнело от прихлынувшей крови; с проклятием он двумя пальцами вынул из жилетного кармана свисток и сказал:

– Довольно, не то я сейчас призову полицию.

– Хорошо, хорошо, окончим беседу. Вы говорите, что этот Клозель донес на меня?

Он утвердительно кивнул головой.

– В настоящее время солдаты империи не ценятся в Париже.

– Их так мало ценят, что общественное мнение не возмутилось бы, если бы все Шамдиверы перебили всех Гогела и были за это расстреляны или гильотинированы. Я забыл, что, полагается за ваше преступление, и вряд ли общество пожелает спросить об этом!

– А между тем, – заметил я, – до казни должно многое совершиться; например, произведут следствие, будет суд... в той или другой форме... но, конечно, со свидетелями. Возможно, что меня оправдают.

– Я даже допускал этот невероятный случай, но смотрю дальше. Откровенно говоря, мне не кажется вероятным, чтобы английские власти отдали имение графа де Керуэля де Сент-Ива беглому бонапартисту, подвергнутому суду за убийство товарища и, на свое счастье, оставшемуся под сомнением.

– Позвольте мне, – сказал я, – приоткрыть окно дюйма на два. Я не собираюсь выкинуть вас на улицу, по крайней мере в данную минуту; бежать я тоже не попытаюсь. Говоря правду, вы внушаете желание немного освежить комнату. А теперь, мосье, вы уверяете, будто держите в руках негодного Клозеля? Разыграйте же низкую роль. Раньше чем я разорву эту нелепую бумагу, дайте мне взглянуть на физиономию вашего союзника.

Я вышел за дверь и крикнул вниз:

– Госпожа Жюпиль, попросите моего второго гостя подняться сюда.

Потом я снова подошел к окну и стал смотреть на грязную сточную канаву, которая уносила к Сене следы красок из какой-то красильни. Стоя так, я слышал шаги, которых я ждал.

– Простите меня за это вторжение...

– Э! – (Если бы не прозвучал человеческий голос, а мне в спину попал заряд, я не мог бы повернуться быстрее). – Мистер Ромэн!

Действительно, в дверях стоял он, а не Клозель. Еще и до сих пор мне не известно, кто из нас двоих, Алэн или я, смотрел на него с большим недоумением, хотя, полагаю, в цвете наших лиц была заметная разница.

– Господин виконт, – подходя, сказал Ромэн, – совершил замену. Я решаюсь произвести другую, оставив господина Клозеля внизу; он слушает доводы моего доверенного клерка – Деджона, и мне кажется, я могу сказать (он слегка засмеялся), что эти доводы произведут известное действие. Судя по вашим лицам, господа, на мое появление вы смотрите как на какое-то чудо. Однако, по крайней мере, господин виконт мог бы понять, что это самая простая, самая естественная вещь в мире. Я дал вам слово, виконт, что за вами будут наблюдать. Ну, разве удивительно, что, узнав о ваших стараниях выменять пленника Клозеля, мы стали следить также и за ним; проследили за ним до Дувра, и хотя, по несчастью, опоздали на паром, все же попали в Париж вовремя, чтобы увидеть сегодня утром, как вы вдвоем вышли из вашей квартиры... Потом, зная, куда вы направляетесь, мы попали на улицу Фуар и успели понять все ваши намерения. Но я слишком забегаю вперед. Господин Анн, мне поручено передать вам письмо. Когда, с разрешения господина Алэна, вы его прочтете, мы возобновим наш маленький разговор.

Он передал мне письмо, подошел к камину и взял большую понюшку табака; Алэн все это время смотрел на него как крупный пес, готовый броситься на врага. Я развернул письмо и наклонился, чтобы поднять выпавшую из него записочку. Я прочел:

«Мой дорогой Анн, получив ваше письмо, оживившее меня, я была так счастлива, что написала вам ответ, которого вы никогда не увидите, потому что теперь он удивляет меня самое. Мистер Робби попросил меня показать ему ваше письмо; когда я дала ему в руки конверт, объявил, что он был вскрыт и снова заклеен; что, написав вам о том, что мы делаем для вас, я дам вашим врагам оружие в руки. Ведь мы заботились о вас, и мое теперешнее письмо (чисто деловое) докажет, что не следует приписывать успех нашего предприятия одному мистеру Робби или вашему мистеру Ромэну (между прочим, по рассказам мистера Робби, я вижу, что ваш поверенный, вероятно, очень скучный, хотя и расположенный к вам человек). Во вторник после того, как мы с вами расстались, я говорила с майором Чевениксом, и хотя мне было очень жаль его, понятно, мое сожаление не помогло ему, и я не скрывала этого от него; он повернулся, вызвав во мне невольное восхищение, сказал, что желает мне добра и докажет свое расположение; по словам Чевеникса, обвинение, взводимое на вас, касается только военной власти; затем он прибавил, что, по его мнению, это было делом чести, а совсем не тем преступлением, каким называли ваш поступок; что он не может ничего сделать, основываясь на своем доверии, но что ему достаточно знаком Клозель, которого он заставит сказать всю правду. И майор, действительно, скоро заставил Клозеля сознаться и подписать свои показания. У мистера Робби есть копия с этой бумаги, и он посылает ее в Лондон мистеру Ромэну. Вот потому-то Роулей (он – прямо милочка) явился и ждет в кухне. По его словам, майор хорошо сделал, что поспешил, так как Клозеля выменяли на английского пленника, и он отправляется обратно во Францию. Итак, пишу вам наскоро. Ваш искренний друг Флора.

Тетя здорова, Рональд ждет поступления в полк.

Р. С. Вы сказали, чтобы я написала известные три слова; значит, надо сделать это; вот:

„Я люблю вас, Анн“.

В записочке, написанной размашистым некрасивым почерком, говорилось:

«Дорогой мистер Анн, уважаемый сэръ, надеюсь, вы получите это в таком же добром здравии, в каком и я нахожусь теперь; все прекрасно, мисс Флора скажет вам, что двоюродный Клозель сознался. Хочу прибавить, что миссис М.-Р. здорова и надоедает всем с религией. Но кто осудит бедную вдову; конечно, не я. Мисс Флора говорит, что она вложит мою записку в свое письмо; можно бы прибавить, что тут произошло еще кое-что, но это большой секрет; поэтому мне нечего больше написать вам.

Уважающий вас Д. Роулей».

Прочитав эти письма, я спрятал их в жилетный карман, подошел к столу, торжественно передал Алену его бумагу, потом повернулся к адвокату, который громко защелкнул свою табакерку.

– Остается только, – сказал Ромэн, – обсудить условия, которые (лишь из щедрости или в честь рода) – можно предложить вашему... мистеру Алену.

– Вы, кажется, забываете Клозеля, – со злой усмешкой заметил мой двоюродный брат.

– Правда, я забыл о Клозеле.

Ромэн вышел на площадку лестницы и позвал: «Деджон!» Явился Деджон и постарался натянутым поклоном показать, что он никогда не кружился со мной в вальсе при свете луны.

– Где Клозель?

– Трудно сказать, помещаете ли вы трактир «Золотая голова» в верхнем или в нижнем конце этой улицы? Полагаю – в верхнем, потому что водосточная канава течет в противоположном направлении. Во всяком случае, господин Клозель минуты две тому назад исчез, убежав из трактира по течению канавы.

Ален вскочил, подняв свисток.

– Опустите его, – продолжал Ромэн. – Клозель вас обманул. Надеюсь только, – прибавил он с едкой улыбкой, – что вы уплатили ему недействительным векселем.

Но Ален не сдавался.

– По-видимому, или вы упустили из виду одно маленькое обстоятельство, мистер поверенный, или вы смелее, чем я думал. Теперь англичане еще не пользуются слишком большой популярностью в Париже, а этот квартал не отличается особенной совестью. Свист, восклицание: «Вот английский шпион», и двое англичан...

– Скажите «трое», – прервал его мистер Ромэн и пошел к двери. – Пожалуйста, мистер Берчель Фенн, пожалуйста сюда.

Тут позвольте мне сказать «довольно». На свете существуют такие жалкие положения (по крайней мере, я нахожу это), о которых нельзя писать; к их числу я отношу положение пораженного Алена. Может быть, британская справедливость Ромэна плохо мирилась с тем оружием, которое он так неумеренно пустил в ход. О Фенне я скажу только, что этот мошенник прошел в дверь с таким видом, точно собирался выполнить гражданский долг, которого не выполнил раньше только в силу неблагоприятных обстоятельств. Он склонился перед Ромэном, державшим его в руках и знавшим о всех его низостях, и с полной готовностью жаждал донести на своего сообщника – предателя. При таких условиях, я уверен, он донес бы на свою собственную мать! Я видел, что сильный рот Деджона двигался как челюсти бультерьера, стоявшего над хитрой мышью. Ален не мог ничего сделать, находясь между этими двумя людьми.

Не в первый раз в течение этой истории я невольно становлюсь на его сторону, движимый сознанием варварства нападения.

По-видимому, благодаря Фенну, Ромэн напал на след; мошенник скрыл часть улики и теперь, точно человек, вовлеченный в проступок другими, желал сказать все джентльмену, согласному забыть прошлое. И вот, когда мой кузен был совершенно уничтожен, я отпустил Фенна и перевел разговор на деловую почву. В конце концов, Ален отказался от всех своих притязаний и согласился получать по шесть тысяч франков в год. Ромэн взял с него обещание никогда не появляться в Англии, но ввиду того, что моего кузена арестовали бы за долги в первые же сутки его пребывания в Дувре, я нахожу, что это было напрасно.

– Хорошая работа, – сказал адвокат, когда мы вдвоем вышли на улицу.

Я промолчал.

– А теперь, мистер Анн, если вы сделаете мне честь и согласитесь пообедать со мной, например, у Тортони, не зайдём ли по дороге в мой отель «Четыре времени года», там, за ратушей, и не прикажем ли приготовить для нас коляску и четверню?

Глава XXXVI

Я еду просить руки Флоры

Теперь представьте себе, как я на крыльях любви летел к северу с балластом, который изображал собою Ромэн. Однако взбираясь в коляску, этот почтенный человек потерял свой сурово важный вид. Он сиял от торжества (что было так простительно) и, как я заметил в полусумраке, время от времени улыбался про себя, задерживал на мгновение дыхание, потом отдувался с воинственным видом. Заговорил он после Сен-Денийской заставы и, судя по его беседе, теперь никто не узнал бы, что он адвокат. Он откидывался на спинку коляски с видом человека, подписавшего европейский мир и славно пообедавшего по окончании дел. Помахивая зубочисткой, Ромэн критиковал укрепления и долго с насмешкой толковал об отречении императора, об измене герцога Рагузского, о намерениях Бурбонов и характере Талейрана, пересыпая все это анекдотами, может быть, не вполне исторически верными, зато очень забавными.

Мы мчались через Лашапель, когда он, вынув табакерку, протянул мне ее и сказал:

– Вы молчаливы, мистер Анн.

– Я ждал хора, – был мой ответ. – «Царствуй, Британия! Британия управляет волнами, и британцы никогда, никогда, никогда...» Начинайте же!

– О, – ответил он, – и я надеюсь, скоро эта песня станет для вас родной.

– погодите. Я видел, как казаки вошли в Париж, как парижане украшали своих пуделей орденами Почетного Легиона. Я видел, как они подняли на вандомскую колокольню негодяя, чтобы он ударил по бронзовому лицу героя Аустерлица. Я видел, как вся зала большой оперы аплодировала толстому малому, который пел хвалы пруссакам... на мелодию «Vive Henri Quatre!». Я видел на примере Алена, на что способны люди лучших родов Франции. Я видел также, как крестьяне-мальчишки, недоспевшая жатва последних наборов, падали скошенные выстрелами, все же поднимались на локтях, крича «ура» в честь Франции и в честь человека в сером. Без сомнения, с течением времени, мистер Ромэн, эти малые сольются в моей памяти с более благородными людьми, и я не буду отличать их матерей от дам, сидевших в зале оперы; со временем я увижу себя мировым судьей и депутатом от графства Букингем. Я выбираю себе новую отчизну, как вы мне напомнили и, клянусь, во Франции для меня нет места; но ради нее я бился и нашел нечто, что лучше ее... нашел в тюрьме моей новой страны... Итак, повторяю: погодите.

– Тс, тс, – был его ответ, когда я стал ошупью искать трут и серные спички, чтобы снова зажечь свою сигару. – Вы должны попасть в парламент. У вас есть дар слова.

Близ Сен-Дени Ромэн стал менее разговорчив, а немного позже, надвинул на уши свою путевую шапочку и уселся поудобнее, чтобы заснуть. Я сидел рядом с ним и не спал. Весенняя ночь веяла холодком. От наших лошадей шел такой пар, что туманная дымка стояла между мной и фореиторами. Там, вверху, над черными остриями тополей, стройно двигались войска звезд. Я отыскал Полярную звезду и под нею созвездие Кассиопеи, которое горело также над крышей Флоры, моего путеводного небесного светоча, цели моих стремлений.

Эти смягчающие размышления заставили меня задремать, но к своему изумлению и досаде я проснулся в крайне нервном расстройстве. Моя тревога все росла; мистер Ромэн провел со мной тяжелые часы между Амьеном и берегом. Вместо того, чтобы обедать или завтракать, я присутствовал при перекладке лошадей, я метался по коляске как рыба на сковородке. Я проклинал медленность нашего движения, насмехался над табакеркой адвоката и, когда мы подъезжали к пескам Кале, чуть не вызвал его на дуэль из-за его методической манеры нюхать табак. По счастью, судно уже приготовилось в путь, и мы поспешно взошли на его палубу.

Нам удалось занять две отдельные каюты на ночь и, очутившись в своем помещении, я точно погрузился в духовную освежающую ванну, в которой волны прилива смыли с меня раздражение. Я походил на чисто выстиранную, выбитую ветошку, повешенную на веревку сушиться под веянием ветра. Среди утренней мглы мы подошли к Дувру. Тут Ромэн приготовил для меня неожиданность. Когда мы причаливали к берегу, я в толпе носильщиков и зевак увидел Роулея. Уверяю вас, в эту минуту бледные утесы Альбиона приняли для меня розоватый оттенок. Я чуть было не бросился ему на шею. Честный мальчик в безмолвном восторге коснулся шляпы и широко улыбнулся. Впоследствии он мне сказал: «Я мог или совсем молчать, или кричать ура». Он схватил мой чемодан и проводил нас в отель, куда мы попали к завтраку. По-видимому, в ожидании нашего прибытия Роулей коротал время, трубя по всему Дувру о том, какие мы важные особы; хозяин гостиницы, низко сгибаясь, встретил нас на крыльце; мы вошли в отель среди такой почтительной тишины, которая могла бы польстить самому герцогу Веллингтону, слуги же, мне кажется, стали бы на четвереньки, если бы это не мешало им как следует выполнять их обязанности. Я наконец почувствовал себя «персоной» – крупным английским землевладельцем. Я даже постарался придать своему лицу выражение, присущее людям этого класса, когда, закусив, мы прошли мимо двух рядов склоняющихся слуг к двери, перед которой стоял наш экипаж.

– Стойте, – сказал я, завидев его, и оглянулся, отыскивая взглядом Роулея.

– Прошу извинения, сэр; я распорядился относительно цвета и надеялся, что это не слишком смело с моей стороны.

– Цвет малиновый с зеленым оттенком!.. Полный дубликат; не хватает только следа пули!

– Я не хотел заходить так далеко, мистер Анн.

– Мы под прежними цветами, мой друг!

– И на этот раз, сэр, победим, мне кажется.

Пока наша карета гроыхала, совершая первый перегон по пути к Лондону (мы с мистром Романом сидели внутри, Роулей же на козлах), я рассказал адвокату о памятном путешествии из Эйльсбери до Киркби-Лонсделя. Он взял понюшку табаку.

– «Forsitan et haec olim», этот ваш Роулей – славный мальчик и, по-видимому, не так глуп, как кажется. Когда мне придется в следующий раз ехать с нетерпеливым влюбленным, я куплю себе флажолет.

– Сэр, с моей стороны было неблагодарностью...

– Тс, мистер Анн! Я только что пережил маленькое торжество, и, может быть, жаждал небольшой похвалы, жаждал, чтоб меня, так сказать, погладили по головке. Я не часто нуждался в этом, всего два-три раза в жизни; значит, привычка не могла заставить меня сделать то, что делаете теперь вы, то есть своевременно жениться; а ведь только при таких обстоятельствах счастливец мог бы ждать от меня сочувствия.

– А между тем, я готов поклясться, что вы достаточно несебялюбиво радуетесь моему счастью.

– Почему бы нет, сэр? Получив наследство, ваш кузен через неделю отправил бы меня на все четыре стороны! Все же, сознаюсь вам, он нанес ущерб чему-то вроде собственных интересов; видя его, я испытывал тошноту, тогда как... (тут он с сухой улыбкой наклонился ко мне) ваше неблагоразумие было привлекательно... Словом, сэр, хотя вы иногда вызываете адскую досаду, служить вам все-таки удовольствие.

Уверяю вас, слова Ромэна не уменьшили моего уныния. Поздно вечером мы приехали в Лондон, и тут адвокат простился с нами. У него было дело в Амершеме. Роулей же разбудил меня после нескольких часов сна, спрашивая, каких фореиторов я выберу: в синих ли куртках и белых шляпах или в кожаных куртках и черных шляпах. Те и другие желали иметь честь везти нас до Барнета; решив в пользу синих с белым, удовлетворив оставленных деньгами на водку, мы снова двинулись в путь.

Теперь наша карета ехала по большой северной дороге, и Йоркские почтовые мчали наш экипаж со скоростью десяти миль в час под звуки сигналов рожка, темп которого, ради излюбленной флейты мистера Роулея, я намеревался со временем изменить. Но прежде всего, вернув юноше его прежнее место рядом со мной, я решил подвергнуть беднягу допросу о его приключениях в Эдинбурге, спросить у него последних известий о мисс Флоре, о ее тетушке, мистере Робби, миссис Мак-Ранкин и остальных моих друзьях. Оказалось, что мистер Роулей внезапно и окончательно сложил оружие перед моей дорогой Флорой.

– Она цветок, мистер Анн. Теперь, я думаю, благодаря мисс Флоре вы всегда будете приводить доводы в пользу «молниеносности».

– Объясните ваши слова, мой друг.

– Прошу прощения, сэр; я говорил о любви с первого взгляда. – На его лице горел румянец наивности, лежало выражение скромное и вместе с тем многозначительное.

– Поэты, Роулей, стоят на моей стороне.

– Миссис Мак-Ранкин, сэр...

– Королева Наварры, мистер Роулей...

Но он до того забылся, что перебил меня.

– Только через много лет миссис Мак-Ранкин, сэр, привыкла к своему первому мужу. Она сама сказала мне это.

– Только через несколько дней, помнится, я привык к ней. Конечно, ее кухне...

– Это-то я и говорю, мистер Анн: это не поверхностные вещи, и поверите ли, сэр?.. То есть, если вы сами не заметили этого... У нее хорошенькая ножка...

Он вынул куски своей флейты и, весь красный, как гребень индюка, стал их соединять. Я смотрел на него с новым и недоверчивым любопытством. Для меня было не ново, что я внушил Роулею желание завести модный лорнет и модное платье; я также знал, что традиции допускают, нет, требуют, чтобы во время сватовства господина мысли слуги принимали соответствующий поворот. Кроме того, вполне естественно, чтобы джентльмен шестнадцати лет избирал предметом своей первой пробной страсти пятидесятилетнюю особу. Но все же Мак-Ранкин!..

Я еле сдержался.

– Мистер Роулей, – сказал я, – если музыка питает любовь – играйте.

Роулей заиграл песню «Девушка, которая осталась там, позади»; сначала боязливо, потом «ужасно» выразительно. Он прервал мелодию со вздохом.

– Ох, – произнес Роулей и снова начал; я отбивал такт, а он мурлыкал:

«Но теперь я иду в Брайтонский лагерь;
Прошу тебя, благое небо,
Направляй меня и помоги
Благополучно вернуться к девушке,
Которая осталась там, вдали».

И с этих пор мы мчались под звуки этой вдохновляющей мелодии. Нам она не надоедала. Как только разговор замирал, Роулей, по молчаливому соглашению, собирал свою флейту и начинал ту же песню. Лошади применяли свой галоп к ее размеру, сбруя – свой звон, почтальон – хлопанье бича. И стоило слышать то presto, с каким она лилась, чтобы поверить в быстроту нашей езды.

Так, открыв окна для доступа бодрящего весеннего воздуха, открыв душу как окно, навстречу юности, здоровью и ожиданию счастья, я летел домой, полный нетерпения влюбленного, но все же наслаждаясь, что я еду как лорд, с карманами, полными денег, по той дороге, вдоль которой бывший Шамдивер так пугливо пробирался в крытой фуре Фенна.

А все-таки во мне горело такое нетерпение, что когда мы проскакали через Кальтон и по новой лондонской дороге спустились к Эдинбургу, чувствуя, как ветер обвеивает наши лица и приносит с собой ощущение апреля, я отправил Роулея с чемоданами в отель, а сам только вымылся, позавтракал и снова, на этот раз один, сел в почтовую карету и поехал в Суанстон.

«Когда мои стопы принесут меня обратно,
Она найдет меня по-прежнему верным.
И я никогда больше не уйду от девушки,
Которая осталась там, позади».

Завидя крышу коттеджа, я отпустил извозчика и пошел, насвистывая этот мотив, но я замолчал, подойдя к садовой стене, и стал отыскивать то место, где, бывало, перебирался через нее. Скоро нашел я развесистые ветви старого бука, склонявшегося над оградой и, не долго думая, взобрался на стену; тут я, как и прежде, мог бы скрыться и ждать. Но зачем? Всего ярдах в пятнадцати от меня стояла она, моя Флора, моя богиня, без шляпы. На нее падал утренний свет и зеленые тени; на ее туфельках-сандалиях блестела роса. В подоле своего платья Флора держала целый снопок цветов – красных, желтых и пестрых тюльпанов. Против нее, спиной ко мне, на которой виднелась памятная заплата, украшавшая его рабочую куртку, был садовник. Положив обе руки на рукоятку лопаты, он ворчал.

– Повторяю, я люблю брать тюльпаны целиком, с листьями, стеблями, – возразила Флора.

– А между тем это губит луковицы... Вот что я скажу.

Дальше я не слушал. Когда старик принялся снова копать, я обеими руками закачал ветвь бука. Флора услышала, вскрикнула.

– Что с вами, мисс?

Садовник выпрямился; она же повернула головку и посмотрела на огород.

– Кажется, ребенок забрался в артишо... нет, в клубнику...

Старик бросил заступ и убежал. Флора обернулась; тюльпаны упали на землю; раздалось радостное восклицание; восхитительный румянец залил ее лицо, когда она протянула мне обе руки. Все снова повторилось, только теперь я тоже протянул к ней руки.

– Странствия кончаются встречей влюбленных, каждый мудрый должен знать это.

Садовник пробежал ярдов двенадцать, но зашумел ли я, соскакивая со стены, или какое-нибудь воспоминание остановило его, во всяком случае, он обернулся как раз вовремя, чтобы видеть, как мы обнимаемся.

– Боже милостивый! – воскликнул старик, постоял как окаменелый, потом во всю прыть поковылял к задней двери дома.

– Надо сейчас же сказать тете. Она... Анн, куда вы идете? – И Флора схватила меня за рукав.

– Ну, конечно, в курятник, – ответил я.

Через мгновение мы с веселым смехом взяли за руки и побежали к коттеджу. И по дороге я вспомнил, что я впервые войду в Суанстон через парадную дверь.

Мы застали мисс Гилькрист в столовой. На волосяном диване лежала груда полотна, и милейшая тетушка, держа в одной руке складной ярд, в другой – ножницы, ходила вокруг Рональда, который с очень мужественным видом стоял на ковре. Поверх своих золотых очков тетушка посмотрела на меня и, переложив ножницы в левую руку, подала мне правую.

– Гм, – протянула она. – Здравствуйте, мосье. А чего вы желаете от нас теперь?

– Сударыня, – ответил я. – Надеюсь, это ясно!

Рональд подошел ко мне.

– От всего сердца поздравляю вас, Сент-Ив. А вы можете поздравить меня: я – офицер.

– Нет, – возразил я, – в таком случае, поздравляю Францию с окончанием войны. Серьезно, дорогой, желаю вам успеха. В каком вы полку?

– В четвертом.

– Командир Чевеникс?

– Чевеникс порядочный малый. Он поступал хорошо, право!

– Действительно, хорошо, – подтвердила Флора, кивнув головкой.

– Он человек с характером. Но если вы думаете, что за это я буду к нему относиться лучше!..

– Майор Чевеникс, – вставила тетушка своим самым радамантовским тоном, – всегда мне напоминает ножницы. – Она щелкнула теми, которые были у нее в руках, и мне пришлось сознаться, что движение, говорившее об остроте и негибкости, были замечательно хорошей иллюстрацией.

«Но, Боже мой, – подумалось мне, – вы могли бы выбрать другое сравнение!»

Вечером этого блаженного дня я шел обратно в Эдинбург по какой-то воздушной, обрамленной розовыми облаками тропе, не помеченной ни на одной карте. Она привела меня к моему помещению, и я ступил на землю, когда миссис Мак-Ранкин отворила мне дверь.

– А где же Роулей? – спросил я через минуту, оглядывая гостиную.

Хозяйка иронически улыбнулась.

– Он? – сказала она. – Бедняга опять принялся закатывать глаза, так что мне показалось, что он не совсем здоров. И теперь вот уже час, как этот юноша принял ложку перечной мяты и лежит в постели.

На этом месте я могу опустить занавес. Мы с Флорой обвенчались в начале июня и уже месяцев шесть жили в великолепном Амершеме, когда до нас дошли вести о бегстве императора с острова Эльба. Во время тревоги и смятения «Ста дней» (как граф Шамбор назвал это время) виконт Анн сидел дома и согревал руки у пламени домашнего очага. Конечно, Наполеон был моим господином, и я не питал слабости к белой кокарде. Но я сделался уже англичанином и, как выразился Ромэн, пустил корни в английскую почву, не говоря уже о том, что я все с большим и большим увлечением следил за новыми биллями и присматривался к местному судопроизводству. Словом, я попал в такое положение, которое затруднило бы казуиста. Но я был спокоен. Полагаю, что вы, друзья мои, взвесив все *pro* и *contra* и приняв в соображение, что Флора должна была скоро стать матерью, могли бы предвидеть образ моих действий. Как бы то ни было, я сидел в Амершеме и читал газеты. Раз пришло письмо от Рональда, извещавшее, что четвертый полк получил приказание двинуться в поход или, вернее, отплыть, и что через неделю корабль доставит его и товарищей к войскам герцога Веллингтона в Нидерланды. Моя дорогая непременно захотела проститься с братом, и мы отправились в Эдинбург в двухместной карете, с задним сиденьем для ее девушки и мистера Роулея. Прибыв в Суанстон, мы успели провести с юным Рональдом последний вечер. Юноше очень шел красный мундир, надетый им в честь дам и орошенный их слезами.

Рано утром мы проехали в город и проникли в толпу, собравшуюся у подножия замковой скалы, чтобы посмотреть на выступление четвертого полка. За стенами крепости послышался барабанный бой и первые ноты марша. Часовой, стоявший с наружной стороны ворот, отступил, сделал на караул, и под массивной аркой показались красные мундиры и блестящие медные инструменты музыкантов. Неумолимый звук барабана служил ответом веявшим платкам, приветственным возгласам мужчин, слезам женщин. За музыкантами ехал Чевеникс. Он увидел нас, слегка вспыхнул и торжественно поклонился. Я никогда не любил этого человека, но должен сознаться, что он был хорош в эту минуту. Мне стало даже немножечко жалко его, потому что он смотрел на Флору, а ее глаза, скользнув мимо него, искали третью роту. Там, рядом с первой колонной, шел Рональд с поднятой головой и ярким румянцем на щеках. Когда юноша проходил мимо нас, его губы дрогнули.

– Храни тебя Бог, Рональд!

– Левое плечо вперед!

Музыканты и майор повернули на улицу, ведущую к северному мосту. Задняя шеренга и адъютант направились к рынку. Наш кучер тронул лошадей. Ручка Флоры схватила мою руку, и я забыл о поднявшейся в моей душе буре противоречивых мыслей, чтобы утешить и поддержать ее.